

НИКОЛАЙ
ОСТРОВСКИЙ

Н. Осиповский

2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

НИКОЛАЙ ОСТРОВСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ТРЕХ ТОМАХ



Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1956

НИКОЛАЙ ОСТРОВСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ВТОРОЙ

РОЖДЕННЫЕ БУРЕЙ

Роман

СТАТЬИ И РЕЧИ



Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1956

*Издание осуществляется под наблюдением
Комиссии по литературному наслeдству Н. А. Островского
в составе:*

*А. Караваевой, М. Колосова, А. Котова, Р. Островской,
К. Пискунова, С. Потемкина*

*Составление, подготовка текста и примечания
А. ЕГОРОВА и Р. ОСТРОВСКОЙ*

РОЖДЕННЫЕ БУРЕЙ

РОМАН

КНИГА ПЕРВАЯ

Глава первая

Легкий стук в дверь. Людвиг отвела глаза от книги и прислушалась. Мягкий, но настойчивый стук повторился. Так стучит только старик Юзеф — осторожно и вкрадчиво, как бы заранее извиняясь за беспокойство. Людвиг невольно взглянула на стрелки старинных часов.

«Первый час... Что заставило старика прийти так поздно?»

Том Жеромского соскользнул по одеялу на ковер и, попав в круг света от настольной лампы, засверкал золотом букв на переплете. Едва ощутимый холодок не то от шелка кимоно, накинутого Людвигой на обнаженные плечи, не то от смутной тревоги заставил ее вздрогнуть.

— Это ты, Юзеф?

— Я, ясновельможная пани.

Уже по тому, что старик лакей вошел в спальню, позабыв низко поклониться, и по его растерянному виду Людвиг поняла: случилось что-то необычное.

— Пан граф Эдвард приехал, графиня...

— Что ты сказал?.. Эдвард?.. Где же он? — почти шепотом спросила Людвиг, хотя ей казалось, что она закричала.

Людвиг ожидала всего, только не возвращения мужа. Несколько мгновений она пыталась овладеть

голосом, но безуспешно. Не помня себя, она выбежала из комнаты. В огромной гостиной — тусклый свет от свечи, поставленной на рояле. Человек в серой солдатской шинели снимал с плеч вещевую сумку. Он быстро повернулся на стук открывшейся двери. Людвиг инстинктивно запахла кимоно — перед ней, заслоня свет, стоял незнакомый мужчина в надвинутой до глаз смятой папахе. Взгляд Людвиги с удивлением остановился на окладистой бороде незнакомца. Схватив Людвигу за руки, солдат притянул ее к себе. Она отшатнулась, но мужские руки держали крепко.

Когда чужое бородатое лицо приблизилось к ее глазам, испуг исчез так же мгновенно, как возник. Теперь ни папах, ни безобразная борода не могли обмануть. Глаза Эдварда она узнала бы среди тысячи других глаз — его чуть прищуренные глаза и тонкие, изогнутые брови над ними. И все же это не был ее Эдди, всегда такой элегантный, сверкающий золотом эполет гвардейский полковник.

Теперь от его усов и бороды, от грязной одежды несло едким запахом махорки, отвратительными испарениями мокрой шинели.

Могельницкий понял состояние жены. Поцеловав пушистый локон у виска, а не вздрагивающие пухлые губы, он отпустил ее. Рядом стоял вошедший Юзеф.

— Это он виноват, что я встречаю тебя в таком виде. Юзеф не должен был говорить тебе о моем приезде, пока я не вымылся и не переоделся, — тихо, как бы извиняясь, сказал Эдвард, снимая папаху. Устало провел рукой по спутавшимся волосам. Это знакомое движение пробудило в Людвиге чувство прежней близости к мужу. Ей стало больно, что грязная одежда и непривлекательная внешность дорогого человека на минуту возбудили в ней отвращение. Забыв о присутствии Юзефа, она прижалась к мужу и, охватив руками его голову, целовала родные, неизменившиеся глаза. И теперь уже он отодвигал ее от себя осторожно, но решительно:

— Потом, Людвиг, потом... Я должен снять с себя всю эту гадость, а главное — вымыться. Мне кажется, грязь насквозь пропитала меня: последние два дня я

ехал на паровозе и спал на угле, вернее — совсем не спал...

Когда через час Эдвард вошел в спальню жены, она снова удивилась: борода исчезла, но так же сбриты были и его выющиеся волосы. Крупная, правильной формы голова с твердыми углами лба казалась отполированной. Он вновь не походил на себя, так как никогда раньше не брил головы, зная, что это ему не шло. Серый костюм, добытый Юзефом из старого графского гардероба, напоминал Людвиге о первых месяцах ее замужества, проведенных в Ницце. Там впервые она увидела его в штатском.

— Ну, теперь меня можно не бояться, радость моя, и даже поцеловать, — сказал он.



Утро прокралось в спальню серой полоской света, пропущенного неплотно задернутой занавесью. Людвиг проснулась, но, боясь разбудить мужа, не шевелилась, рассматривая спящего. Эдвард глубоко дышал, и в такт его дыханию шелковая сорочка вздымалась на широкой волосатой груди. Упрямый, с жестокими складками в уголках, рот был полуоткрыт. Бессонные ночи, постоянное ожидание опасности — все сказалось сразу. Усталый, опьянев от крепкого вина, обильной еды и ее ласк, он заснул, едва успев рассказать ей о самом главном.

Он здесь потому, что она здесь. Конечно, никогда он ее не забывал. И этот длинный и опасный путь из Парижа через два фронта пройден ради нее. Правда, ему дали кое-какие поручения... Но разве он оставил бы Париж, работу в военном министерстве и подверг себя риску и лишениям, если бы его не ждала здесь самая красивая женщина Польши? Последние слова он произнес, засыпая. Из того немногого, что успел рассказать ей муж, Людвиг поняла, что назревают большие события, и уже сама догадалась, что надвигается какая-то опасность — разрушительная, страшная, грозящая раздавить весь уклад, все основы ее жизни! И все же она была счастлива. Что бы ни случилось, пока он

здесь, бояться нечего. Все, что нужно, будет решено и сделано им, как это всегда бывало прежде. За его широкие плечи она пряталась от необходимости разрешать самой какие-либо серьезные практические вопросы.

Эдвард проснулся так же неожиданно, как и заснул. Их взгляды встретились, и оба улыбнулись.

— Как ты думаешь, каково проснуться как раз в тот момент, когда чувствуешь, что тебя режут тупым ножом, и вдруг вместо бандитской рожи увидеть тебя?.. Но уже поздно, пора вставать.

— Закрой глаза, Эдвард, я сейчас оденусь.

Он снисходительно улыбнулся.

Поднял с ковра упавшую книгу, сделал вид, что читает. Жеромский. «Верная река». Романтика восстаний, самоотречения, верности... Она не изменилась. Все так же просит закрывать глаза. Взрослое дитя! Романтическое существо!..



В старинном палаццо¹ графов Могельницких, во всех его двадцати семи комнатах, начиналась обычная утренняя жизнь. Нижний этаж, часть которого занимала прислуга, уже давно проснулся. На кухне готовили завтрак. Две горничные и молодой лакей убрали вестибюль и большую гостиную. Наверху все еще спали. Горничная Людвиги, хорошенькая шестнадцатилетняя Хеля, внучка старого Юзефа, хотела убрать будуар своей хозяйки, но нашла дверь запертой. Она сказала об этом деду. Старик запретил тревожить пани графиню и производить сегодня уборку в ее комнатах.

Рассматривая знакомые дорогие безделушки на туалетном столике жены, Эдвард ожидал возвращения Людвиги. Она вскоре вошла вместе с Юзефом. Седая голова старика низко склонилась. Под синим казакином отчетливо обрисовались его худые лопатки. Юзеф служил Эдварду, когда тот был еще ребенком. Старик был предан графской семье, как бывают преданы лишь старые дворовые собаки, готовые броситься на каж-

¹ Дворце.

дого, кто попытается войти в хозяйский дом. Нельзя было представить себе палатцо без Юзефа. Могельницкие привыкли к нему так же, как к двум средневековым рыцарям в латах, стоявшим у входа в вестибюль. Фигуры рыцарей, как и Юзефы, переходили по наследству от поколения к поколению.

Старик был лакеем. И его сыновья и внуки, как бы по наследству, становились лакеями графов Могельницких. Пятнадцатилетним мальчиком Юзеф впервые стал служить деду Эдварда. Вот почему в отношениях с дворецким, которому Эдвард вполне доверял, он допускал известную близость.

— Ты все сделал, Юзеф, как я тебе сказал?

— Да, о приезде ясновельможного пана никому не известно. Я сам уберу комнаты графа. Вот, пожалуйста, ключ от той двери кабинета, что выходит в спальню ясновельможной пани. Со дня вашего отъезда туда никто, кроме меня и графини, не входил... Когда Хеля будет убирать комнаты, пусть ясновельможный пан побудет в своем кабинете. Конечно, внучка никому не скажет, но так будет лучше...

Юзеф говорил тихо, со старческой хрипотцой. Вглядываясь в его худое с длинными седыми бакенбардами лицо, Эдвард только теперь заметил, как постарел он за последние три года.

— Очень хорошо, Юзеф. Теперь расскажи мне об этом немецком майоре. Как его зовут?

— Адольф Зонненбург, ясновельможный пане. Майор занимает комнату гувернера. У него есть деньщик. Этот лайдак¹ всегда вертится на кухне и ночует вместе с Адамом в лакейской. Пан майор дворянского рода и, смею вам доложить, порядочный человек. Он запретил своим солдатам безобразничать на птичьем дворе, а то ведь они резали наших гусей, кур...

— Сколько немцев в имении? — перебил его Эдвард.

— Целый эскадрон. Уже месяц, как их кони едят наш овес. Его сиятельство сначала не разрешал, тогда немцы арестовали пана управляющего, и пришлось

¹ Лодырь.

открыть амбары. Теперь, когда у нас поселился пан майор, немцы хоть сено стали добывать в деревнях, а то все наше...

— Где размещены солдаты?

— На фольварке.

— Хорошо. Ты когда поедешь к отцу Иерониму? Я хочу сегодня же с ним видаться.

— Сейчас поеду. Больше никаких приказаний не будет?

— Нет.

У двери Юзеф задержался.

— Отцу Иерониму можно сказать о приезде ясно-вельможного пана?

Эдвард несколько мгновений колебался, затем утвердительно кивнул головой.

Могельницкие остались одни. Эдвард подошел к жене.

— Прости меня, Эдди, но я не понимаю, зачем тебе понадобился отец Иероним? Не могу же я в самом деле поверить, что ты решил исповедоваться ему в своих грехах! — Она звонко рассмеялась.

Эдвард нежно обнял ее.

— Разве тебе неприятен отец Иероним?

— Нет, но немного странно. О твоём приезде не знают ни отец, ни брат, ни Стефания.

— А отец Иероним получает особое приглашение. Пусть тебя это не удивляет. Я не мог ночью будоражить всех. Ведь в доме немцы, ну а я... французский офицер. Ты же понимаешь, Людвись? Завтра я должен выехать в Варшаву, и чем меньше будут знать о моем приезде, тем лучше.

— Как, опять уедешь?

— Я скоро вернусь, Людвись.

— И вот, вместо того чтобы провести со мной эти часы, ты зовешь противного иезуита.

Эдвард улыбнулся.

— Отец Иероним мне нужен для одного поручения. Это неинтересные для тебя дела. Ты прости меня, но, когда отец Иероним приедет, нам нужно будет поговорить с ним наедине. Он что-то там просил у кардинала. Так, церковные дела... Это его секрет, и ему будет

неприятно чье-либо присутствие. А пока разреши задать тебе несколько вопросов.

— Я слушаю, Эдди.

— Скажи, этот майор обедает вместе с вами?

— Да, папа и Стефания приглашают его к столу. Он ведет себя безукоризненно. Довольно хорошо говорит по-французски... Только иногда он приводит с собой еще одного офицера, обер-лейтенанта Шмультке. Такой грубый баварец. Если бы ты слышал его вульгарные, неуклюжие комплименты! И всегда дает понять, что не мы здесь хозяева, а они. Папа говорит, что Шмультке оказывает ему большие услуги, но мне он все-таки очень неприятен.

Эдвард угадывал за ее словами что-то большее, чем то, что она сказала, и брови его медленно сдвинулись. Людвиг уловила настроение мужа и прикоснулась кончиками пальцев к его бровям, сглаживая резкую поперечную складку на лбу. Это молчаливое прикосновение всегда мирило их без слов. Когда вслед за тем ее пальцы приблизились к его губам, он невольно засмотрелся на игру камней ее перстня.

— Людвиг, где ты хранишь свои драгоценности?

Ее пушистые ресницы удивленно взметнулись.

— Странно, Эдди! Ты не спрашиваешь о том, как жила я эти три года, а интересуешься...

— Ты ребенок, Лю... Я спросил об этом потому, что мне нужно знать, какими ценностями мы с тобой располагаем. Потом я скажу тебе, зачем это нужно. Ты не помнишь, сколько стоили раньше твои бриллианты в золотых рублях?

— Как-то мама говорила тете, что драгоценности, данные мне в приданое, стоят около ста семидесяти тысяч. А сколько стоят бриллианты, которые ты подарил мне, — это ты знаешь.

Эдвард быстро прикинул в уме: «Сто семьдесят плюс сто двадцать — двести девяносто тысяч. Бочонок с золотыми десятирублевками, зарытый в парке, — еще двести тысяч. Шестьсот тысяч франков во французском банке. Двенадцать тысяч фунтов на имя Людвиги в Лондонском банке. Да семнадцать тысяч немецких марок в моем кармане... Вот все, что можно

считать деньгами. Приблизительно около миллиона золотых рублей. Из этого Людвиге и мне принадлежит лишь половина. И это все, что осталось от семи миллионов моего личного состояния!.. Ведь трудно сейчас считать капиталом девять тысяч десятин земли, экономии и фольварки, паровую мельницу, кожевенный завод и тысячу шестьсот десятин леса, когда все трещит по швам и грозит развалиться. За все это еще надо бороться... А пока мы владеем полмиллионом золотых рублей, и это на худой конец лучше, чем ничего».

За дверью слышались чьи-то голоса и смех.

— Владек, научись, наконец, вести себя прилично! — уговаривал кого-то женский голос.

В ответ слышалось хихиканье.

— Это Стефа и Владислав, — тревожно зашептала Людвиге. — Юзеф передал им, что я нездорова, а они все-таки пришли.

Эдвард вошел в спальню жены, увлекая ее с собой. Быстро открыл дверь в свой кабинет.

— Пока ничего им не говори и постарайся поскорее выпроводить, — сказал он, закрывая дверь.

— Что с тобой, дорогая? Ты, говорят, нездорова? — тараторила Стефания, входя в комнату.

Вслед за ней, словно на коньках, вкатился Владислав Могельницкий.

— Но она, как всегда, очаровательна, клянусь честью! — закартавил он и, ловко обогнув Стефанию, подлетел к Людвиге.

Когда его липкие губы прикоснулись к ее руке, Людвиге, как всегда, ощутила чувство брезгливости. Она и сама не знала почему, но этот белобрысый юноша, по мере того как он вырастал из мальчика в мужчину, становился ей все более и более противен.

— Как видишь, Людвись, уйма денег, потраченных на воспитание нашего шурина, пропала даром. Он словно жокей на скачках, всегда стремится выскочить первым! — с полупрезрительной улыбкой сказала Стефания.

Владек самодовольно поправлял свой галстук-бабочку.

— Быстрота и натиск — девиз великих полковод-

цев! — И, переводя неприятный разговор на другую тему, Владислав предложил Стефании показать Людвиге только что полученное ею от мужа письмо.

— Что пишет Станислав? — заинтересовалась Людвиге и, обняв Стефанию за плечи, села рядом с ней на диван.

Владек уселся напротив и с видом знатока рассматривал полные, затянутые в шелковые чулки икры Стефании и стройные ноги Людвиге.

— «Милая моя Стефочка, — читала Людвиге нарочно громко, чтобы Эдвард в своем кабинете мог все слышать, — наш штаб находится сейчас в Киеве. Это большой и достаточно культурный город, есть недурная опера. Вчера, например, мы слушали «Фауста», и наш полковник, старикашка Беклендорф, удивлялся: «Со всем как в Мюнхене! А ведь варварская страна, кишашая бандитами». Я уже писал тебе, что, когда мы занимали город Острог, я получил двухнедельный отпуск и отправился в наше волынское имение в Малых Боровицах. Ты не можешь себе представить моей ярости от всего, что я там застал. Дом разграблен — комнаты пусты, стекла выбиты. Даже железо сорвано с крыш. Все машины расхищены. На фольварке лошади и скот забраны крестьянами, хлебные амбары разбиты. И ничего, кроме ободранных построек. Кругом грязь и запустение. Управляющий убит, служащие разбежались. При помощи взвода франкфуртцев, занимающих Боровицу, я произвел следствие и обыски. Отец Паисий, русский священник, у которого я остановился, рассказал мне, как и кем производился грабеж имения. По его совету мы сделали в деревне повальный обыск. Конечно, то, что мы нашли, — жалкие остатки. Все разместилось в трех комнатах. Я предложил франкфуртцам перебраться в наш дом. Начальник гетманской варты (помнишь сына корчмаря Мазуренко?) со своей семьей тоже переселился в наш дом. Я назначил его временным управляющим имением. Он оказался очень полезным и услужливым парнем. Он поклялся мне вернуть в имение все до последней щепочки. Лучшего управляющего за тридцать марок мне сейчас не найти. На селе он всех знает и все, что можно вернуть, вернет.

Франкфуртцам и ему удобнее жить в стороне от деревни,— здесь они все вместе, и, в случае нападения, им легче защищаться. Кстати сказать, кругом кишат партизанские банды. К сожалению, все, на кого мне указал священник, перед нашим приходом ушли в леса. Осталось только «быдло». Чтобы этим негодьям не повально было больше грабить, я приказал Мазуренко наиболее вредных выпороть. Конечно, я при экзекуции не присутствовал...»

— Какой ужас! — прошептала Людвигу, опуская руку с письмом на колени.

— Да, это совершенно разорило Станислава и Стефу. В Боровицах хоть постройки остались, а галицийское имение совсем сожжено. Я только не понимаю, чего он там разминдальничался? Я бы перевешал полсела, забрал бы весь скот, коней и хлеб у этих животных,— подхватил Владислав.

— Я говорю, что ужасно, когда избивают плетью людей, может быть ни в чем не повинных. И это делает Станислав! Я не знаю... Но это недостойно истинного аристократа,— взволнованно прервала его Людвигу.

— Тебе хорошо так рассуждать! У вас с Эдвардом все цело, а мы со Станиславом теперь почти нищие,— вспыхнула Стефания.

— Интересно знать, что ты хотела сказать словами «истинные аристократы»,— вскипел Владислав.— Неужели только вы, Чернецкие, достойны этой чести?

— Хватит, Владек, хватит! — замахала руками Стефания.— Я вижу, вы не хотите слушать письмо.

Она была дочерью лесопромышленника, которому его миллионы неплохо заменяли дворянский герб, и петушиная заносчивость Владислава, всегда казавшаяся ей смешной, сейчас раздражала ее.

Владислав еще что-то хотел сказать, но в дверь постучали; вошедший рослый слуга доложил, что его сиятельство желает видеть ясновельможную пани, и почтительно посторонился, пропуская тучного, обрюзгшего старика, который медленно, с трудом волоча ноги, вошел в комнату.

«Сейчас приедет Юзеф с отцом Иеронимом, а тут, как нарочно, все сошлись сразу и, повидимому, не скоро

уйдут. Надо предупредить Юзефа, чтобы он провел отца Иеронима прямо в кабинет Эдди. Да вообще как-то странно все это: Эдди приехал, а никто не знает! Неужели это так опасно для него? А тут еще этот противный мальчишка!» — подумала с раздражением Людвиг.

— Проклятая осень! У меня опять все разболелось, и я почему-то мерзну. Адам, укрой мне ноги и можешь идти. Приготовь постель, — с трудом выдавливая слова, прохрипел старик. Его душила астма, и он дышал тяжело, с присвистом.

Адам вышел.

— Мы читали письмо Стася, папа, — сказала Стефания, садясь рядом со стариком.

Бесцветные глаза графа оживились:

— Ну, что же там? Расскажите!

Первую половину письма пришлось повторить для старика. Затем Стефания продолжала чтение:

— «Я не могу писать обо всем, хотя письмо и посылается военной почтой. Ничего утешительного сказать, к сожалению, не могу. Украина стала походить на пчелиный улей, в который сунули несколько палок. И одна из этих палок — наша немецкая армия. Пчелы все чаще стали жалить. Без стальной сетки опасно выходить за ворота. Кто знает, может быть я скоро с вами встречу. Будем надеяться, что судьба не готовит нам трагедии и мы увидимся живые и невредимые. Что слышно об Эдварде? Все ли вы здоровы? Привет вам всем, дорогие мои Людвиг, отец и Владек. А тебя, Стефочка, целую и...» Ну, тут уж лично ко мне. — Стефания засмеялась. — Я очень рада, что Станислав придет. А то ведь смертная скука. Эта бесконечная война уже начинает надоедать, особенно последние годы. Всего было каких-то два небольших бала за весь сезон. Самые интересные люди на фронтах. Куда ни пойдешь, везде эта солдатчина. В особенности здесь, в мужицкой Украине. Я думаю, в Берлине и в Париже живут настоящей жизнью, а здесь от тоски можно с ума сойти.

— Не вижу, чему тут радоваться, — желчно сказал старик.

— Как чему? Стась ведь приедет.

Казимир Могельницкий недовольно посмотрел на Стефанию.

— По-разному можно приезжать. Письмо ясно говорит, что положение немцев крайне неустойчиво. И нетрудно себе представить, что получится, если они оставят Украину. Ведь за ними сюда придут большевики.

Владислав счел необходимым презрительно фыркнуть.

— Ну что ты, папа! На Украине триста тысяч немецких солдат. Это лучшая армия в мире, а большевики — это толпы мужиков, вооруженных винтовками, стадо, которое разбегается при одном виде броневедомоги. Шмультке мне рассказывал, как они гнали этот скот от Брест-Литовска до Ростова. Лейтенант убежден, что немцы скоро займут Баку, а затем и Москву.

Старик отмахнулся.

— Ах, замолчи ты, пожалуйста, со своим Шмультке! Он у себя под носом не может справиться с этими мужиками! Когда у Зайончковских крестьяне захватили сено на лугах, что сделали твои Шмультке и Зонненбург? Сказали, что с одним эскадроном туда ехать опасно. А на сахарном заводе Баранкевича что было? Смешно! Какая-то кучка мальчишек с пулеметом не подпускала их три часа к заводу. А тебе это кажется пустяками! Каждый день все мы можем проснуться в огне. Я не могу спать спокойно. Я знаю, на что эти звери способны, они уже научились убивать. Их может удержать только сила. Мне страшно подумать, что будет, если этой силы не окажется. Немцы — единственная наша опора. Если они уйдут, мы погибли!

Старик задыхался. На висках синими червяками набухли вены. Он мучительно закашлялся, сотрясаясь всем телом.

Все примолкли.

Людвиг подошла к окну.

У подъезда стояла коляска.

— Простите, я вас на минуту оставляю, — сказала Людвиг, направляясь к двери.



— Я весь к вашим услугам, пан Эдвард! — тихо произнес отец Иероним, когда Людвига оставила их одних.

Они сидели в глубоких креслах за письменным столом друг против друга. Маленькие черные блестящие глаза отца Иеронима осторожно ощупывали Могельницкого, скрываясь за прищуренными ресницами. Эдвард чувствовал это, хотя казалось, что отец Иероним просто устал и полудремлет.

— Вы немножко удивлены, отец Иероним, моим приездом? — Эдвард следил за цепкими пальцами своего собеседника, теребившими черную кисть крученого пояса.

— Удивлен? Хм... Возможно!

Их взгляды встретились. Это было молчаливое столкновение, длившееся несколько мгновений; Эдварду казалось, что он прикоснулся к острию бритвы.

— Я думаю, что мы с вами будем откровенны и перейдем сразу к существу дела, — прервал молчание Эдвард.

Отец Иероним испытующе посмотрел на него.

— Его святейшество, кардинал Камарини, просил передать вам привет и маленькую записочку. Вот она.

Отец Иероним несколько раз прочел клочок бумажки, на котором по-латыни было записано что-то вроде рецепта.

«А ведь из него мог бы выйти неплохой боксер», — пришло в голову Эдварду, наблюдавшему за отцом Иеронимом. Действительно, у отца Иеронима была крупная голова с мощной четырехугольной челюстью и толстая шея. Под черной сутаной угадывалось упитанное, крепкое тело.

— Насколько я понял, его святейшество желает, чтобы я помог вам, даже больше — выполнял все, что вы сочтете нужным мне поручить, — произнес, наконец, отец Иероним.

— Вы правильно поняли. Но для вас, как мне известно, не совсем ясна новая ориентация Ватикана¹.

¹ Резиденция папы римского.

Позже вы получите подробные объяснения на этот счет, а пока я вам расскажу, как обстоят дела,— ответил Эдвард.

— Да; это меня весьма интересует.

— Ну, так вот, отец Иероним,— почти шепотом начал Эдвард.— Вы, конечно, знаете расположение немецкой армии?

— Да, в общих чертах...

Эдвард вынул из бокового кармана географическую карту и развернул ее на столе. Оба наклонились над ней. Палец Эдварда медленно пополз от Черного моря к Балтийскому.

— Вот примерно граница немецкой оккупации: Ростов-на-Дону, Харьков, в общем вся Украина... сюда, к Польше, затем Белоруссия, Литва, Латвия и кончается Эстонией. Это почти в три раза больше территории самой Германии. Я говорю только о Германии,— продолжал Эдвард,— потому что Австро-Венгрия здесь играет второстепенную роль. По данным французского генерального штаба, вполне точным, австро-германское командование располагает на этом пространстве не менее, чем двадцатью девятью пехотными и тремя кавалерийскими дивизиями. Общая численность их армии — триста двадцать тысяч человек.

Отец Иероним чуть заметно улыбнулся.

— Я понимаю, почему вы улыбаетесь, отец Иероним: вы думаете, что не стоило покидать Париж для того, чтобы подсчитывать, сколько сотен тысяч солдат имеет Германия на территории, где Франция пока не имеет ни одного. Я говорю — пока, потому что война продолжается. А война, отец Иероним, не только создает новые границы, но и новые государства. Сейчас я открываю вам то, что является военной тайной и что вызвало мой приезд сюда. Во-первых, Германия уже проиграла войну.

— Проиграла войну? — не скрыв своего изумления отец Иероним.— Неужели Антанта разгромила ее на западном фронте?

— Нет, фронт еще держится, но это уже агония. Их гибель идет изнутри. Наша военная разведка сообщает о целом ряде выступлений рабочих и солдат в

Австрии, также в Берлине, Гамбурге. На одном из броненосцев вспыхнуло восстание. С каждым днем бунты учащаются, и кайзеровское правительство уже не в силах с ними справиться. Не может быть сомнений, что ближайшие дни принесут известие о революции в Австрии и Германии. Немцы выдохлись. Ничто им не помогло: ни захват плодороднейших областей России, ни вывоз хлеба и скота из Украины в изголодавшуюся Германию; нация не в состоянии больше продолжать войну, потому что ее тыл в огне. Австрия же вообще держится лишь при помощи Германии. Как видите, с Германией получается то же, что с Россией. Было бы неумно думать, что революционная зараза из России не проникнет в Европу. Она уже проникла. Сам Людендорф признал, что немецкие части, перебрасываемые из Украины на французский фронт, заражены большевизмом и небоеспособны, даже опасны, потому что разлагают другие...

— Скажите, пане Эдвард, это относится только к Германии? — перебил его отец Иероним.

Несколько секунд молчания. Эдвард только теперь почувствовал, что в нетопленном кабинете холодно. Было слышно, как в гостиной играла на рояле Людвига. Он тяжело подвинулся в кресле, помрачнел и, отгоняя от себя все теплое, нежное, навеянное музыкой, заговорил глухо и жестко:

— Большевизм может пожрать весь цивилизованный мир, если его не истребить в зародыше. — В голосе Эдварда звучала жестокая решимость и то, что лишь острым чутьем уловил сидевший перед ним иезуит, — страх. Эдвард встал, сделал несколько шагов и, остановившись перед отцом Иеронимом, продолжал: — Рушится все здание Германской империи... Что будет там дальше, трудно сказать. Если Берлин повторит Москву и создаст у себя союеты, то это будет страшной угрозой. Ведь вводить союзные войска в охваченную революцией страну — значит повторить судьбу немцев на Украине. Если же социал-демократы — я говорю о правых — удержат в своих руках власть, тогда демократическая курица сменит императорских орлов, и Германия на ряд лет перестанет играть роль великой державы.

В глазах отца Иеронима Эдвард угадал немой вопрос.

— Вы спрашиваете, зачем я приехал сюда, где немцы могут расстрелять меня, как французского шпиона?

— Я, кажется, об этом не говорил. Но, признаюсь, это меня интересует.

— Прекрасно. Простите за длинное вступление. Итак, почему я здесь?.. Как только в Берлине начнется пожар, немецкая армия на Украине и Польше развалится. Это несомненно. Немцы уйдут, и вся занимаемая ими территория перейдет в руки Красной Армии. Вы представляете себе, что тогда получится? Красная Москва — красный Берлин! Это — конец Европы. Ни Франция, ни Англия допустить этого не могут. Ситуация резко меняется. Раньше австро-немецкая армия служила барьером, отделявшим Европу от коммунистической России. Теперь этот барьер рушится. Если мы вместо него не построим другого, советы захлестнут все...

— Как же можно этому помешать? — спросил напряженно слушающий отец Иероним.

Эдвард взял в руки карту.

— Создать Польскую республику с национальной армией, которая преградит красным путь на Запад. Латвия и Эстония получают «самостоятельность» и вместе с Польшей и Румынией создадут вооруженный буфер между Россией и Западом, под протекторатом Франции. Англия же займется Мурманом и Архангельском. Союзные десанты будут теснить красных с севера, флот — с Балтийского моря. Вторая английская зона — Северный Кавказ, Баку, Средняя Азия. Французский же флот при первой возможности входит в Черное море и занимает Одессу и другие порты. Японцы захватили Владивосток и уже двигаются на Сибирь. В том же направлении действует русская белая армия и чехословацкий корпус. Польша в это время попытается занять правобережную Украину, Литву и Белоруссию, а если это не удастся — создаст там враждебные советам государства. Зажатая в это кольцо, Москва задохнется. Но нам, полякам, надо

спешить, пока хаос не охватил и наши края. Надо подготовить вооруженные силы, которые смогли бы прижечь огнем всех, кто вздумает после ухода немцев создавать в Польше советы или что-либо в этом роде. Нам важно выиграть время, собрать силы, вооружить их, создать органы власти, жандармерию. Франция даст нам в кредит амуницию, оружие, пришлет тысячи полторы офицеров. И тогда мы заговорим иначе. Но сейчас необходимо действовать, и притом самым решительным образом. Тем более, что ведь это вопрос не только общей политики, но и нашей с вами судьбы: если мы не истребим польских большевиков, то они истребят нас!

Эдвард смолк, взглядываясь в карту. Затем, словно вспомнив что-то, добавил:

— Кстати, его святейшество кардинал поручил мне передать вам, что если ваша работа окажется удачной, то более подходящего генерального викария¹ на Волини, чем вы, ему не найти.

Глазки отца Иеронима не изменили своего обычного выражения.

— Я жду ваших приказаний, пане Эдвард.

— Прекрасно, отец Иероним! — Эдвард сел.

— Итак, будем действовать... Дня через два я уезжаю в Варшаву на совещание. За это время ознакомьте своих коллег в округе с обстановкой. Делайте это осторожно. — Заметив нетерпеливое движение пальцев иезуита, Эдвард понял, что последней фразы не надо было говорить.

— О моем приезде и моей миссии — пока ни слова. Через три недели день рождения моей жены. Под этим предлогом мы соберем здесь лучшие фамилии округа и наиболее состоятельных людей, заинтересованных в наших действиях. Одновременно вы соберете у себя совещание ксендзов. Затем вы лично постарайтесь встретиться с местными политиканами. Кто у них там верховодит?

— Пепеэсовец² — адвокат Сладкевич.

¹ Заместитель епископа.

² Член польской партии социалистов.

— Он уже социалист? Скоро! Прожженная бестия! Вы с ним поосторожнее, отец Иероним! Пока ситуация выяснится, этот способен трижды продать нас немцам. Я привезу из Варшавы нескольких офицеров, которых надо устроить в порядочных семьях. Начнем отбор людей, будем потихоньку вооружать их... Пусть кто-нибудь из ваших коллег выступит в проповеди с призывом к борьбе за отчизну и великую Польшу. Если его даже арестуют — неважно, выручим! Я привезу денег. Пока вот пятнадцать тысяч марок. Кстати, предупредите, кого нужно, о скором крахе немецкой марки. В Варшаве я встречу с папским нунцием ¹ и попрошу совета, как вам дальше действовать. А сейчас основная задача — собирание сил... Вот, кажется, все, что я хотел вам сказать. Теперь я вас прошу поехать к князю Замойскому и передать ему это письмо.

Оба поднялись.

Глава вторая

Франциска засмотрелась на парня, рубившего дрова. Вот он замахнулся, ударил, и далеко в сторону отлетела половина чурбана. Второй удар, третий...

Быстро росла гора поленьев. И в том, как легко взлетал топор, чувствовалась уверенность и молодая сила.

— Ты бы передохнул немного. Куда торопишься? — проговорила Франциска, складывая выколоченный ковер.

Юноша недоумевающе взглянул на горничную. Глаза у него синие, над ними черные брови, словно крылья в полете. Непослушный завиток волос навис над глазами.

«Красив мальчишка, без спору, хотя этого еще не знает. Губы еще детские, нецелованные», — опытным женским взглядом отметила Франциска.

Улыбнулась ему. В этом парне, рослом и сильном, что-то хорошее, нетронутое. И странно, что голос у него не юношески ломающийся, а окрепший, мужской.

¹ Послом.

— Может, я вам мешаю?

— Да нет же! — возразила Франциска. — Но ведь ты с самого утра работаешь без отдыха, как будто тебя кто подгоняет. Ты обедал?

— У меня... того... обедать-то нечего. Да и не хочется.

— Ну да, рассказывай! Глупости! Помоги ковер внести, потом пойдем на кухню, покушаем. Я тоже не обедала.

Парень в нерешительности.

— Такого уговора не было... Старший ваш, в синем кафтане, что нанимал, про обед не говорил.

— Это мой свекор... Бери ковер! Поешь, там у них не только на тебя — на десятерых хватит. Не бойся, от этого не обеднеют! — Франциска нетерпеливо поправила передник.

Юноша, подняв ковер и, взвалив на плечи огромный сверток, пошел за горничной в палатку.



— Дай нам, Барбара, чего-нибудь поесть. Да побольше! Надо хлопца накормить, да и я проголодалась, — сказала Франциска, войдя в кухню. — С этим праздником в доме все вверх дном! А что будет, когда он наступит... Прием на сто гостей, оркестр из города... Матка боска! Такого уж давно не было, — говорила Франциска, усаживая парня за стол, на который Барбара уже ставила тарелки с борщом.

— Как тебя зовут? — наливая парню вторую тарелку, спросила Франциска.

— Раймонд.

— А фамилия?

— Раевский.

— Ты городской? У тебя есть отец и мать?

— Есть.

— Что же, видно, плохо живется, что на заработки ходишь? Отец на войне?

— Нет.

— А где же? — не унималась Франциска.

Юноша промолчал.

Франциска понимающе вздохнула.

— Бросил вас, наверное?

В кухню вбежала Хеля. Стрельнув глазками в незнакомого парня, зашебетала:

— Панство едет к Замойским... Графиня в коляске, а молодой граф верхом. Сейчас Анеля завизгает графиню Стефанию, а я бегу на конюшню, чтобы через час подавали лошадей.

Дверь снова открылась. Вошел Юзеф.

— В кухне опять посторонние? Я что говорил, Франциска? И потом — поскорее ешь, тебя звали наверх, — раздраженно сказал он.

— Да что это такое? Поесть спокойно не дадут! С утра до поздней ночи бегаешь, бегаешь — и все мало! Все еще чего-то придираются, — огрызнулась Франциска.

— Ну-ну, укороти свой язык! — прикрикнул Юзеф. — А ты, хлопче, кончай работу, потом прохладись, сколько хочешь. Тут тебе делать нечего. Дрова сложить там же, на заднем дворе, в сарае. Двор подмести. Тогда придешь за деньгами. Ну, отправляйтесь по местам! — повысил голос Юзеф.

Юноша поднялся так стремительно, что старик попятился.

— Спасибо за угощение, — обращаясь не то к Франциске, не то к Юзефу, сдавленно произнес Раймонд и быстро направился к двери.

Когда последняя охапка дров была сложена, двор подметен, Раймонд надел свою фуфайку, взял подмышку топор и пошел к парадному подъезду.

Палаццо стояло на возвышенности, у подножья которой текла река. К реке спускались две широкие гранитные лестницы. Там, где начинался крутой обрыв, дугой шли клумбы и проволоочная сетка в метр высотой. У лестниц — круглый бассейн заброшенного фонтана. В старину здесь был укрепленный замок графов Могельницких. Остатки крепости со стороны реки еще сохранились.

Лицевой своей стороной палаццо выходило в парк. У парадных подъездов — огромный полукруг, залитый бетоном. Широкая, усыпанная красным песком аллея

вела к главным воротам парка. Фруктовый сад оттеснил от палаццо флигели, конюшни и остальные службы.

У подъезда стояла открытая коляска. Здоровенный кучер едва сдерживал горячих лошадей. Застоявшийся красавец жеребец нетерпеливо бил копытом о бетон. Скосил на подошедшего Раймонда свирепый глаз и угрожающе захрапел.

— Ну, не балуй, черт! — прикрикнул на жеребца кучер, натягивая вожжи.

Послышались легкие шаги. Раймонд обернулся и встретился с глазами Людвиги. Они коснулись его лишь на миг. Но он продолжал, не отрываясь, смотреть на нее с изумлением, как смотрят дети.

Она легко поднялась в коляску.

— А где Стефания? И моя лошадь? Ян, беги в конюшню, чтобы мне сейчас же привели Ласку. Сколько раз я должен приказывать! — резко закартавил кто-то за спиной Раймонда.

Кучер тяжело сошел с козел.

— Коней надо кому-нибудь подержать, ясновельможный пане.

— Эй, ты! Как тебя там? Подержи лошадей! — повелительно крикнул Раймонду, надменно оттопырив толстую губу, молодой человек в кавалерийской куртке и крагах, нетерпеливо вертя в руке стек. Он был еще безуз, коротконог и толст.

— Я вам не лакей!.. — вырвалось у Раймонда.

Владислав на миг оторопел. Затем с бешенством взмахнул стеком, но не ударил: чутьем угадал, что за удар этот парень способен раскроить ему голову топором.

— Тогда пошел вон отсюда! Кто тебя сюда пустил? Эй, Юзеф, или кто там! Куда вас всех черт подевал? — кричал вышедший из себя Владислав, вырывая вожжи из рук кучера.

Раймонд медленно пошел в сторону от подъезда, направляясь в кухню за расчетом.

В это время вышла Стефания.

В нескольких шагах от сетки, отделявшей плато от обрыва, Раймонд остановился. Его внимание привлек

мчавшийся по аллее мотоцикл; им правил немецкий солдат с коротким карабином за плечами. Мотоцикл вынырнул перед самой коляской, и от оглушительной трескотни его мотора лошади рванулись в сторону. Жеребец взвился на дыбы, затрещало дышло. Владек, выронив вожжи, бросился к подъезду, спасаясь от его копыт. Солдат, избегая столкновения, дал полный газ и под острым углом повернул мотоцикл в сторону. От этого кони ринулись вперед и понесли к обрыву. Отчаянный крик Стефании только подхлестнул их. Еще несколько шагов — и все свергнется вниз. Лошади не чувствовали обрыва, замаскированного кустарником. Раймонд бросился наперерез взбесившимся лошадям и в тот же миг понял, что ему не остановить ослепших от испуга животных. Они растопчут его раньше, чем он что-либо сделает... И лишь в последнее мгновение он ощутил в своей руке топор. Вот она уже перед ним, дикая морда жеребца!.. Страшный удар топором в лоб свалил лошадь. И в тот же миг юноша сам упал под ударом кованого дышла. На него свалилась споткнувшаяся вторая лошадь.

На крики сбегалась вся дворня. Побледневшую Людвигу выхватили из коляски и лишь тогда бросились к бившейся на земле лошади, под которой лежал Раймонд. Когда его, наконец, удалось освободить, он не подавал признаков жизни. Его положили на землю. Без кровинки в лице, он, казалось, крепко спал.

Мужчины хлопотали около лошадей. Жеребец лежал с проломленным черепом так же неподвижно, как и тот, кто его сразил.

— Да ведь он разбил ему голову! Такого дорогого коня загубили, — заговорил пришедший, наконец, в себя Владислав.

— Благодарение богу, что графиня невредима! Езус Христус! Что б то было! И граф Эдвард уехал, — прошамкал пересохшими от волнения губами Юзеф.

Недавний испуг Владислава сменился бешенством, и он обрушился на окружающих слуг.

— Это все из-за вас, дармоедов чертовых! Разлепились, негодяи! Где вы все были, когда подали ко-

ляску? И как смеет всякая солдатня шататься здесь со своими трещотками?

Это уже относилось к только что вышедшему из дома Зонненбургу. Майор извинялся перед Людвигой за причиненную ей неприятность. Владислав быстро подошел к нему.

— Господин майор, я требую ареста этого балбеса, который едва не погубил графиню... Кроме того, лошадь стоит несколько тысяч марок, которых этот ваш идиот за всю свою жизнь не заработает. Потом вы должны разъяснить вашим солдатам, что здесь не заезжий двор,— по-немецки, коверкая слова, говорил Владислав.

Высокий, сухой, как вобла, майор вежливо откозырнул Людвиге и повернулся к Владиславу.

— Что вам от меня угодно, молодой человек?

— Я вам не молодой человек, а граф Могельницкий! Прошу не забывать этого, господин фон Зонненбург!

— Прекрасно. Но если вы будете продолжать в том же тоне, то я отказываюсь вас слушать. Мотоциклист выполнял свои обязанности и не должен отвечать за то, что вы бросили вожжи и оставили графиню на произвол судьбы,— отрезал Зонненбург и пошел с солдатом в дом, на ходу разрывая пакет с надписью: «Совершенно секретно, весьма срочно. Вскрыть лично».

В этой суматохе про Раймонда забыли. Людвига первая заметила это.

— О боже, что же вы оставили его без помощи! — вскрикнула она.— Сейчас же несите его в дом! Стефа, попроси майора послать за фельдшером.

Майор в своей комнате читал:

...Передаю шифрованную радиограмму—двоеточие... В Австро-Венгрии сильнейшее брожение... Его императорское и королевское величество отрекся от престола... Приказываю всеми средствами вплоть до расстрела агитаторов сохранить дисциплину в войсках... точка... Подчиняться только приказам верховного командования.
Л ю д е н д о р ф...

Дополнительные указания следуют... По прочтении сжечь... — шептал Зонненбург.



— Глубокий обморок. Это шок, переломов нет. Одевать его пока не надо. Сейчас мы впрыснем ему камфору, — говорил немец-фельдшер с повязкой Красного Креста на рукаве мундира.

Раймонд лежал на широком диване в курительной комнате, покрытый теплым одеялом. Ухаживали за ним лакей Адам и Франциска. Стефания тоже принимала деятельное участие в их хлопотах.

Когда Раймонд стал приходить в себя, в комнату вошла Людвиг.

— Вот... Пульс становится отчетливей... Молодой человек ведет себя хорошо. Сейчас ему нужен полный покой... Что это? Играют сбор? Я должен идти. Через час я вернусь. Но его не надо оставлять одного, — сказал фельдшер, вставая с дивана.

— Вы можете идти, — обратилась Стефания к Франциске и Адаму, — мы с графиней немного побудем здесь. Все благополучно, он приходит в себя, — тихо ответила Стефания на немой вопрос Людвиги, когда они остались одни. — Не находишь ли ты, Людвиг, что он красив?

— Стефа, как тебе не стыдно?!

Раймонд с трудом приподнял отяжелевшие веки. Сидевшая у его изголовья Стефания ласково наклонилась к нему. Юноша долго смотрел затуманенным взглядом на незнакомую нарядную даму, на ее лукавые глаза, на яркие от кармина губы, не понимая, где он и что с ним.

Стефания осторожно рассказала ему обо всем происшедшем. Он попытался приподняться, но Стефания удержала его:

— Лежите спокойно!

Людвиг, заметив его движение, подошла к дивану и взяла Раймонда за руку.

— Чем я могу отблагодарить вас? — тихо произнесла Людвиг.

За окнами снова затрещал мотоцикл, увозивший майора. Только теперь Раймонд вспомнил все. Ему стало холодно и неудобно.

— Где моя одежда? Я хочу уйти,— прошептал он.

— Сейчас вам принесут платье и помогут одеться. Но вы не должны уходить, пока к вам не вернутся силы,— сказала Стефания, выходя вслед за Людвигой из комнаты.

Шатаясь от головокружения, едва не падая, Раймонд одевался. Когда в комнату вошел Юзеф, неся суконный костюм, сапоги и охотничью куртку, он застал Раймонда уже одетым.

— Это тебе прислала ясновельможная пани.— И Юзеф положил принесенные вещи на стул.— Кроме того, она велела передать тебе двести марок,— протянул он парню пачку кредиток.— Также велено накормить тебя и отвезти в город.

Комната медленно кружилась перед глазами Раймонда. Он делал слабые движения рукой, чтобы сохранить равновесие.

— А за дрова сколько мне полагается? — спросил он.

— За дрова — три марки, как условились. Но ведь тебе же дали двести, чего еще?

Раймонд вынул из пачки кредиток три марки, остальные положил на стол и молча вышел.

За воротами парка оглянулся и долго смотрел на усадьбу. Затем медленно пошел к городу. Ветер хлестал его в лицо, забирался под фуфайку. А он все шел, спотыкаясь и покачиваясь, словно пьяный...



— Господин обер-лейтенант, у этих двоих пропуска не в порядке. Как прикажете? — взяв под козырек, рапортовал приземистый вахмистр.

Шмультке взглянул на задержанных. Один из них, сутуловатый, весь обросший колючей щетиной, в потрепанной форме австрийского солдата, зло смотрел на него, часто моргая, словно дым от папиросы офицера разъедал ему глаза. Другой, высокий, с длинными седыми, как пепел сигары, усами, в черной поддевке, в коротких солдатских сапогах, стоял спокойно, равнодушно поглядывая на выходящих из вагона пассажиров.

— Почему у вас нет визы на пропуске? — строго спросил Шмультке.

— Там уже есть три, а четвертую не поставили — некому. Все прут домой, им не до визы, — с каким-то злорадством огрызнулся первый.

— Как стоишь? Стать смирно! Я тебя научу, каналья, как разговаривать с офицером! Какого полка? Почему без погон и кокарды? Дезертируешь, мерзавец? — закричал Шмультке, найдя, наконец, на ком сорвать злобу за трехдневное бессменное дежурство на станции, где его эскадрон вылавливал в поездах дезертиров австро-венгерской армии.

— Какой я дезертир? Был в плену в России, теперь возвращаюсь на родину. Извольте посмотреть, — приглушая голос, ответил солдат.

Шмультке просматривал документы задержанных. На затасканном, грязном свидетельстве, выданном военнопленному Мечиславу Пшигодскому, стоял штамп киевской комендатуры с краткой пометкой: «Проверен. Инвалид. Разрешен проезд к месту жительства». Второе свидетельство было на имя Сигизмунда Раевского, монтера варшавского водопровода, которому также разрешался проезд к месту жительства его семьи.

— Что ты в России делал после семнадцатого года?

— Копал картошку, господин обер-лейтенант.

В ответе солдата Шмультке уловил скрытую издевку.

— Ничего, ты у меня посидишь, пока мы разберемся во всем этом... А у вас почему нет визы? — обратился Шмультке к высокому, невольно называя его на «вы».

— Я не говорю по-немецки, — ответил тот на польском языке.

— Он поляк и не понимает вас, — перевел солдат, — мы с ним ехали вместе. Он тоже ходил в комендатуру за визой, но там некому было ее поставить. Мы с ним земляки, здешние.

Объяснения не помогли. Все эти дни Шмультке был в таком раздражении, что с трудом удерживал себя от резких выходок. Сейчас ему очень хотелось дать по морде этому хаму, который еще неделю назад дрожал

перед каждым офицером, а теперь, когда в этой идиотской Австро-Венгрии заварилась каша, имеет наглость разговаривать таким тоном... Что же будет дальше? Сегодня снято с поезда пятьдесят семь дезертиров, из них одиннадцать с оружием. А телеграммы предупреждают, что начинается поголовное бегство. Если эта волна докатится сюда... Черт возьми!

— Отправьте их в комендатуру! Завтра проверим, действительно ли они живут в этом городе.



— Ну вот, приехали, называется! Парься в этом клоповнике всю ночь... Утром он разберется!.. Целый месяц ехал, домой добрался, а тут на самом пороге тебя под замок! Ну, не дай господь, чтобы вот такой мне в темном месте в руки попался! — скрипнул зубами Пшигодский, яростно швырнув свою котомку на деревянные нары, когда их заперли в пустой арестантской.

— Ты сам немного виноват, приятель: надо было полегче с ним. Ты где собственно живешь?

— Да здесь, недалеко от города, в имении Могельницких.

— А кто там у тебя?

— Да жена, отец, брат... В общем, народу до черта. Небось живут себе припеваючи! Наша порода вся у Могельницких спокон века на лакейском положении. Отец — дворецкий, брат — лакей, жена моя — горничная. А я у них конюхом был. В лакеи не взяли — рожей не вышел. Да я и сам бы не пошел. Собачья профессия! Стой на задних лапках и виляй хвостом, когда тебя хозяин по носу щелкает. С лошадьми куда приятнее.

Раевский постелил свою поддевку на нары, снял шапку и прилег, повернувшись лицом к солдату. Тот смотрел на серебристую от седины шевелюру соседа.

— Сколько вам лет, пане Раевский?

— Сорок пять. А что?

— Да вот, гляжу, седой весь. Отчего бы это?

Суровые мохнатые брови Раевского шевельнулись.

— Бывает, что седеют и в двадцать.

Несколько минут оба молчали.

— Скрытный вы человек, пане Раевский,— сказал, наконец, Пшигодский.— Я уже давно к вам приглядываюсь. Вот немцу сказали, что не понимаете, а ведь неправда это!

Раевский внимательно посмотрел на него. Пшигодский успокаивающе улыбнулся:

— Можете не беспокоиться, пане Раевский! Я хоть и из лягавой породы, но души еще черту не продавал. У меня тоже есть над чем подумать. Если бы эта колбаса немецкая знала, какую я «картошку копал» весь этот год, то он бы со мной иначе разговаривал. Если интересуетесь, могу рассказать кое-что из своей жизни. Все равно делать-то нам нечего. Так скорее время пройдет...

Раевский наблюдал за беспокойными движениями солдата.

— Знаете, что я вам скажу, Пшигодский? — не сразу ответил он.— Не всегда следует рассказывать все, что хочется рассказать. Вы мне кажетесь порядочным человеком. Но теперь не такое время, чтобы говорить лишнее там, где без этого можно обойтись. Вот, например, не наступи вы немцу на мозоль, мы с вами были бы теперь уже дома...

Солдат подсел к нему на нары.

— Что правда то правда! Но, знаете, бывает такой час, когда душе скучно. И надо кому-то рассказать об этом. Особенно, если чувствуешь, что он разберется во всем по-человечески. Вот я сейчас почти дома, а радости большой от этого нет у меня...

— Почему?

— Да вот как все это получается. Расскажу сначала, издавека... Женился я перед самой войной. Нашел себе на деревне дивчину хорошую, красивую даже, правда озорную немного. Зажили мы с Франциской на фольварке, что рядом с графской усадьбой... Началась война. А у графов так получилось: самый старший сын, Эдвард (у него имение под Варшавой), служил в русской гвардии, а средний, Станислав (у него имения в Галиции и на Украине), по мобилизации стал

австрийским офицером. Когда немцы заняли наши места, он стал адъютантом здешнего начальника гарнизона. Выходило так: кто бы войну ни выиграл, а Могельницкие не проиграют. По просьбе отца граф Станислав взял меня в денщики. И все бы ничего. Да вот как-то заприметили господу Франциску. Понравилась им, сделали ее горничной. Жить она перешла во флигель около палаццо. Пристроили ее ухаживать за старым графом. Тот все хворает. Целые ночи за ним надо присматривать. Тут я стал замечать за ней что-то неладное. Ничего она мне не говорит, но вижу — мучит ее что-то. Приходил я к ней из города каждый вечер. Смотрю я раз утром (она еще спала), на груди у нее синяки, словно ее покусал кто. Запалило у меня сердце. Чуть не задушил! Тогда она призналась, что пристаёт к ней старый граф. Истерзал всю. Нет ей от него спасения. Когда она отбиваться стала, пригрозил ей, что на другой же день меня на фронт погонят, а ее со двора вон... И такое мне рассказала, что я совсем одичал. Ему, гаду старому, сдохнуть давно пора! Мешок с требухой! Ни на что не способен... Но хоть не может, а к бабе лезет. Зубами грызет... Целый день ходил я как помешанный. Ночью пришел — ее нет. Кинулся в дом. Стал ломиться в дверь к старому. Что потом получилось, черт его знает! Не помню... Но все сбежались, не пустили, хоть я и дрался, как бешеный! Граф Станислав так двинул меня револьвером по голове, что меня замертво выволокли на двор. Арестовали «за буйство в пьяном виде». А на другой день — в эшелон и на фронт. Тут я при первой возможности и сдался русским. Загнали нас в Сибирь, в концентрационные лагеря. Было это в конце пятнадцатого. Натерпелись мы там беды! Тридцать пять копеек на солдатскую душу в день! А офицерам — семь рублей. Солдаты гибли от тифа и голода, а офицерье и в ус не дуло... Тут пришла революция. Семнадцатый год мы проболтались ни туда ни сюда. А вот как большевики взяли кого следует за жабры, тут и мы, пленные, тоже зашевелились. Нашелся среди офицеров отчаянный парень — венгерец, лейтенант Шайно. Так он нам прямо сказал: «Расшибай, братва, склады, забирай продукты

и обмундирование!» Мы так и сделали. Только большевистская революция туда еще не дошла. Нас и распатронили. Шайно и нас, заводил из солдат, упрятали в тюрьму, собрались судить военно-полевым. Но тут началась заваруха! Добрались большевики и до наших лагерей. Всех освободили. Пошли митинги. И вот часть пленных решила поддержать большевиков. Собралось нас тысячи полторы, если не больше, — венгерцы, галичане... Все больше кавалеристы. Вооружились, достали коней. Захватили город. Открыли тюрьму. Нашли Шайно и сразу ему вопрос ребром: «Если ты действительно человек порядочный и простому народу сочувствуешь, то принимай команду и действуй». Лейтенант долго не раздумывал: «Рад стараться. Давайте, говорит, коня и пару маузеров!» И пошли мы гвоздить господ русских офицеров. И так это мне понравилось, что я целых полгода с коня не слезал. Лейтенант Шайно с военнопленными остался партизанить на Дальнем Востоке, а меня потянуло ближе к дому. Перекочевал я на Украину. Здесь для меня тоже нашлась работа. Воевал, пока не попался немцам в лапы. Послали разведать в деревню. Наскочил разъезд. Хорошо что не взял оружия. Сошел за военнопленного — старые документы выручили. Мотали меня, мотали. Наконец, отпустили домой...

Пшигодский замолк и сидел неподвижно, устало свесив голову.

— Зачем ты мне про свои дела у большевиков рассказываешь? Человек я для тебя чужой, только что едем три дня вместе. Нарвешься ты когда-нибудь с такими разговорами на негодя и сам себя к стенке поставишь, — тихо сказал Раевский.

— Это я для вас, чтобы не косились...

— А что тебе до меня? Смотрю я, чудной ты какой-то. Подъезжаешь ты будто не с той стороны. Давай бросим и ляжем спать.

В арестантскую прокрались сумерки. Утихал гул людских голосов за стенами. Слышно было, как по стеклам хлещет дождь...

— Я вас, товарищ Раевский, только теперь узнал, когда шапку сняли. Три дня думал, где я вас видел?

Очень вы похожи на комиссара сводной интернациональной бригады. Только место вам здесь неподходящее и фамилия другая — того звали товарищ Хмурый. А приглядеться к вам — выходит одно и то же... Вот я и рассказал, чтобы не косились. Видите, не такие уж мы чужие.

Раевский усмехнулся в седые усы.

— Бывает же такое сходство. Только это сходство опасное, — могут вздернуть на перекладине ни за что ни про что...

Пшигодский положил руку на плечо Раевского.

— Можете быть уверены, товарищ Хмурый... извиняюсь, товарищ... то есть пане Раевский. Я недаром провел полгода в Красной Армии — кое-чему научился...

За стеной послышался грохот подходившего поезда. Снова гул людских голосов. Кто-то отпирал дверь. В коридоре — резкие выкрики команды. В арестантскую ввалилась толпа австрийских солдат всех родов оружия. Когда комната наполнилась ими до отказа, немецкие драгуны закрыли дверь. Сразу стало шумно и тесно. Солдаты размещались на нарах, на полу, на подоконнике, на ящике, заменявшем стол.

Бравый кавалерист с орденом Железного креста на груди подмигнул Пшигодскому:

— Тоже отступаешь, камрад? Ты что, погоны сам снял или тебе их этот обер, сукин сын, пооборвал?

— Я военнопленный. А вы что, ребята, домой? — невольно улыбаясь, спросил Пшигодский.

За кавалериста ответил крепыш с ефрейторскими нашивками.

— Да, в бессрочный отпуск.

Кругом засмеялись.

— Домой карасей ловить.

— Жены ультиматум предъявили: если не вернемся, то получим отставку. Вот мы и торопимся.

Из угла кто-то недовольно буркнул:

— Видно, что поторопились. Говорил полковой совет — двинуться целым полком! Тогда бы от этих драгун только мокрое место осталось.

— Не унывай! Наши подспеют — выручат.

— Когда плотину прорвет, дыру шапкой не заткнешь...

— Навоевались, хватит!

Совсем стемнело. Солдаты зажгли свечу, раскрыли сумки и принялись ужинать.

— Подсаживайтесь, камрады! Небось голодны? — пригласил Раевского и Пшигодского кавалерист, открывая ножом банку консервов.

Раевский поблагодарил. Пшигодский охотно согласился: он уже два дня не ел.

— Так ты из России, камрад? Ну, как там? Говорят, жизнь невозможная. Правда? — спросил его пожилой пехотинец.

— Кое-кому там действительно жарко — фабрикантам, помещикам и всем, кто при царе верхом ездил на таких, как мы с тобой. Их большевики прижали так, что они еле дышат. Ну, а рабочие и крестьянство, так те воюют. Сам знаешь, лезут на них со всех сторон, — забывая, где он находится, ответил Пшигодский.

— А это верно, что большевики у помещиков землю забрали и роздали крестьянам?

— А как ты думаешь, без этого пошел бы крестьянин воевать за советскую власть?

— А верно, что над пленными большевики издеваются?

— Бабы сказки! Офицерские выдумки. А про то, что у большевиков целые интернациональные бригады из пленных есть, вам не рассказывали?

— Говорили про изменников разных там... Нас этот обер тоже изменниками назвал.

— Как вы думаете, нам в Венгрии тоже землю дадут?

— Получишь... два метра глубины...

— То есть как не получу? А за что же я воевал?

— Скоро же ты воинский устав забыл! «За императора, за...»

— Ну, императора, положим, уже наскипидалири! — весело хмыкнул кавалерист, отправляя в рот солидную порцию хлеба.

Пшигодский не отставал от него и все время довольно улыбался, слушая солдатские разговоры. Когда

банка опустела, Пшигодский вытер рукавом усы, поблагодарил кавалериста и, ни к кому собственно не обращаясь, спросил:

— А почему вы, камрады, без оружия домой едете? Так вас кучками жандармы всех переловят. Двинули бы несколько эшелонов вместе, без офицерья. Тут один камрад об этом говорил уже. Винтовка дома всегда пригодится, когда надо шевельнуть кого следует. А то вот...

Раевский незаметно потянул его за рукав.

— Немного полегче,— по-польски шепнул он.



На рассвете их разбудила ружейная перестрелка. Все вскочили, тревожно переговариваясь.

— Что это? — спросил Пшигодский Раевского.

Тот недоумевающе пожал плечами. Минут через двадцать все выяснилось. В дверь, выбитую прикладами, втиснулось несколько солдат, и со всех сторон послышались радостные крики:

— А-а-а! Да ведь это наши — тридцать седьмого стрелкового!

Здоровенный артиллерист с тесаком на поясе загремел густым басом:

— Собирай ранцы, камрады! Быстро! Едем дальше. Мы этих драгунишек пощипали немножко. Чуть было не проехали мимо, да узнали, что вы здесь. Ну, ну, поторапливайтесь!



На городской площади они расстались. Пшигодский крепко сжал руку своего спутника.

— Всего доброго! Если я вам на что-нибудь пригожусь, то вы знаете, где меня найти. Всего доброго, пане Раевский!

Отойдя несколько шагов, он оглянулся и приветственно махнул рукой.

Раевский ответил кивком головы...

У знакомого входа в подвал Раевский остановился. Он чувствовал, что волнуется. Одиннадцать лет назад

его вывели отсюда трое жандармов. Вот здесь, на ступеньках, стояла Ядвига, держа за ручонку Раймонда. Четвертый жандарм преграждал ей путь... Что с ними? Живы ли они? Как странно — нет решимости спуститься вниз и постучать в дверь.

Но вот она открылась. По ступенькам быстро поднимается девушка в простеньком вязаном жакете. Дверь вновь приоткрылась. Выглянула детская головка.

— Тетя Сарра, конфетку принесешь?

— Конечно, мой рыженький, принесу! Закрой дверь.

— Скажите, здесь живет Ядвига Раевская? — стараясь говорить спокойно, спросил Раевский.

Девушка остановилась.

— Раевская? Нет... То есть она жила здесь несколько лет назад. Теперь здесь живет сапожник Михельсон. А Раевские живут в Краковском переулке.

— Значит, она и ее сын живы?

— Ядвига Богдановна и Раймонд? Конечно, живы. А вы что, давно их не видели?

— Да, давно... Вы не скажете номер их дома?

— Если вы к ним, то идите вместе. Я всегда по утрам захожу за Ядвигой Богдановной — мы с ней в одной мастерской работаем. Пойдемте...



Рядом с собой Раевский слышит стук каблучков.

Он шел, не глядя на нее, но краем глаза уловил ее любопытный взгляд. Он запоминал людей сразу, а эта девушка, которую малыш назвал Саррой, запоминалась ярче других. Особенно огромные темные глаза, в которых выражение холодного безразличия мгновенно исчезло, как только она заговорила с малышом. Если бы она не была так молода (ей, наверное, не больше семнадцати), — можно было бы подумать, что это мать карапуза.

Ему хотелось узнать о Ядвиге и сыне больше, чем она сказала, но привычная осторожность не позволяла расспрашивать. Хотя самое тяжелое свалилось с плеч — он знает, что они живы, но волнение от предстоящей

встречи нарастало. Какой у него сын? Ведь мальчику сейчас восемнадцать лет. Это уже настоящий мужчина... А Ядвига? А что, если у нее другой муж? Ведь прошло одиннадцать лет! Как это давно было! Невозможно снять с плеч тяжесть этих долгих лет, как не уйти от седины...

— Ну, вот мы и пришли!

Голос девушки мелодично певуч.

Он еще раз взглянул на нее. Серая, под цвет жакета, вязаная шапочка одета без кокетства. Правильный носик, решительная линия красивого рта.

Она улыбалась, смутно о чем-то догадываясь.



— А, Саррочка! Сейчас иду...

— Я не одна, Ядвига Богдановна, к вам гость. Добрый день, Раймонд.

Раевский почти касался головой потолка низкой крошечной комнаты. Единственное окошко выходило в стену какого-то сарая. Было темно и тесно.

Ядвига, надевавшая пальто, оглянулась.

Сигизмунд снял отяжелевшей рукой шапку и сказал тихо:

— Добрый день, Ядзя!

Несколько секунд Ядвига смотрела широко раскрытыми глазами.

— Зигмунд!..

Она рыдала, судорожно обняв его, словно боясь, что его опять отнимут у нее.

— Зачем же плакать, моя дорогая, зачем? Вот мы и опять вместе... Не надо, Ядзя... — уговаривал ее Раевский.

Раймонд, не отрываясь, смотрел на отца. Это о нем рассказывала ему мать длинными вечерами с глубокой нежностью и любовью. В своем воображении Раймонд создал прекрасный образ отца, мужественного, сильного, справедливого и честного.

В сердце мальчика вместе с любовью к отцу росла ненависть к тем, кто его преследовал, заковал в кандалы, сослал на каторгу.

Мальчик не мог ясно представить себе, что такое «каторга».

Он чувствовал только, что это что-то мрачное, безысходное. Мать говорила о далекой, где-то на краю света, стране — Сибири, где лютый холод, непроходимые леса или мертвые поля, покрытые снегом. На сотни километров кругом — ни единой живой души. И вот там, в этом мрачном краю, люди в кандалах глубоко в земле роют золото для царя. Их сторожат солдаты. Это и есть каторга. И там его отец.

Сколько слез пролил мальчик, слушая печальные повести матери о том, кто хотел лишь одного — счастливой жизни для нищих и обездоленных...

Кому, как не сыну, могла рассказывать мать о своем незаживающем горе, о молодой искалеченной жизни, о том, кого она не переставала любить и ждала все эти долгие годы? Всю свою неистраченную нежность перенесла мать на сына.

Мальчик рос чутким и отзывчивым к чужому страданию и горю. Он был для матери единственной радостью, она только им и жила. Годы шли. Мальчик вырос в сильного мужчину. Часто глядя на него, она вспоминала свою молодость, то время, когда Сигизмунд приходил на свидания с ней, такой же молодой и красивый. Как надругалась над ней жизнь...

Самые лучшие годы прожить без друга, зная каждый час, что он страдает... И вот он вернулся, отец и муж. Седой и суровый. На лбу, словно два сабельных шрама, глубокие морщины...

Отец выше его. Он сильный. Раймонд чувствует это по руке, обнявшей его за плечи.

— Тато, милый! — тихо шепчет он.



Сарра смущенно наблюдала за происходящим. Ей было неловко за свое невольное присутствие. «Так вот он какой, этот таинственный отец Раймонда!.. А ведь я это почти угадала», — радуясь за своих друзей, думала она.

— Ядвига Богдановна, я побегу, а вы оставайтесь.

Я скажу, что вы заболели,— тихо сказала она.

Ядвига пришла в себя.

— Ах да, мастерская... Подожди, Саррочка! Мне нельзя оставаться — сегодня ведь Шпильман приказал нам с тобой ехать к Могельницким. Если я не приду, он меня выгонит... — Она повернулась к мужу и прошептала, словно оправдываясь: — Прости, Зигмунд, я должна уйти. Мне нужно самой примерить и сдать дорогой заказ. Я постараюсь вернуться пораньше... Ну... Раймонд тебе все расскажет... Господи! Неужели это правда, что ты вернулся?

На пороге она еще раз обняла мужа и закрыла дверь.

— Эта девушка — ваша приятельница? — быстро спросил Сигизмунд сына.

— Да, отец.

— Догони их и скажи матери, чтобы о моем приезде ни она, ни эта девушка никому не говорили.

Раймонд понял и быстро вышел из комнаты.

Когда он вернулся, отец задумчиво сидел у стола, склонив на руку седую голову. Он посмотрел на сына и улыбнулся с суровой нежностью. Раймонд стоял перед ним, не находя слов.

— Вы, наверное, есть хотите? — тихо спросил он, наконец.

— Хочу. Только не говори мне «вы».

Опять наступило молчание. Они всматривались друг в друга. Сын знал об отце многое, но отец о сыне — ничего. Сигизмунда Раевского тревожила эта неизвестность. Чем жил и к чему стремился этот рослый юноша? Как сложатся их отношения? Будет ли он его другом и соратником, или останется чужим, посторонним, от которого надо скрываться, как и от обывателей-соседей? Как всегда, Раевский повернулся лицом к опасности:

— Садись, сынок, расскажи, как вы жили...

Раймонд сел за стол, смущенно улыбаясь. Отец смотрел на его красивое, с девичье-нежными чертами лицо и хмурился. Он искал мужества в этом лице и только в синих глазах на миг уловил что-то желанное.

— С чего начинать, отец?

— Ты учишься?

— Нет, уже три года, как я окончил городскую школу. Дальше учиться не мог — у нас не было денег. Мама хотела, но я не мог согласиться, чтобы она шила по двадцать часов в сутки. И я стал работать на сахарном заводе Баранкевича...

Тихо в комнате. Слышно только, как отбивают свой размеренный шаг часы.

— Ты из-за меня не пошел сегодня на завод?

— Нет... Я уже несколько месяцев там не работаю...

— Почему?

Раймонд тревожно шевельнулся.

— Меня прогнали с завода.

— За что?

Глаза Раймонда сузились.

— Они выдали мне свидетельство, что я уволен за участие в грабеже складов...

Раймонд замолчал, увидя, как резко сдвинулись брови отца.

— Но это неправда, отец! Это подлая ложь! Мы только требовали уплатить нам за шесть месяцев работы. Рабочие выбрали депутацию к Баранкевичу, молодежь послала меня. Баранкевич кричал на нас, как на собак, и выгнал. Перед конторой нас ждал весь завод. Мы рассказали, как принял нас хозяин. Ну, здесь и началось. Когда немецкая охрана стала нас разгонять, мы разоружили ее и отняли пулемет. Заставили кассира выплачивать жалованье по спискам. Когда денег в кассе не хватило, то открыли склад и приказали кладовщику выдавать по три мешка сахару каждому вместо денег. Никакого грабежа не было! Мы со старыми солдатами защищали улицу от немецких драгун. Баранкевич успел вызвать их из города по телефону. Когда мы расстреляли все ленты, то разбежались. Но пулемет немцам не достался, мы его спрятали в надежном месте...

Раймонд умолк. Отец задумчиво теребил седой ус и улыбался.

— Что же было потом?

— Потом немцы сахар у всех отобрали. Многих арестовали, а остальных Баранкевич прогнал, не

заплатив ни копейки. Мне и другим, кто был в делегации, администрация завода выдала волчьи билеты. Но я, отец, не взял ни фунта сахара. А Баранкевич не заплатил мне сто восемьдесят марок. Это за целые полгода...

— Ладно, сынок. Ты меня с этими твоими пулеметчиками как-нибудь познакомишь. А теперь давай поедим, если есть что.

— Прости, тато, только селедка...

Глава третья

Огромные чугунные ворота парка не закрывались — в них один за другим въезжали экипажи. У подъезда ярко освещенного палаццо Могельницких непрерывное движение — прибывали приглашенные. В вестибюле лакеи снимали с них верхнее платье.

У входа в гостиную приезжающих встречали Стефания и Владислав. Черное бальное платье облегало полную фигуру Стефании, оставляя обнаженными плечи и руки. Ее лицо было радостно возбуждено. Она встречала гостей с такой приветливой улыбкой, с такой любезностью, что мелкие шляхтичи, в первую минуту робевшие перед величием графского дома и блестящим обществом, становились смелее и увереннее.

Владислав — красен от волнения и желания производить впечатление настоящего аристократа, чтобы эта мелкая сошка, допущенная сюда из политических соображений, сразу почувствовала в нем графа Могельницкого. Мелкопоместным дворянам он небрежно протягивал два пальца, крупным помещикам — говорил несколько приветственных слов. И только когда появился князь Замойский с семьей, он кинулся навстречу.

Из большого зала доносились звуки настраиваемых инструментов.

— А вот и пан Баранкевич с супругой! — шепнул Владислав Стефании.

К ним подходил огромного роста человек, столь же толстый, сколь худа была его супруга, которую он вел

под руку. Из-под тесного крахмального воротника выпирала жирная шея. Его рачьи, выпученные глаза с кровавыми жилками остановились на Стефании.

— О-о-о! Вельможная пани сегодня ослепительна! Будь я на десяток лет моложе... гээ... умм... да!.. — загрохотал он пропойным басом.

Его жена, пани Анеля, кисло улыбалась. Владиславу казалось, что пуговицы жилета сахарозаводчика сейчас отлетят, не выдержав напора огромного живота.

Баранкевичи прошли в гостиную. Лакей доложил Стефании, что прибыл автомобиль с господами немецкими офицерами. Владислав многозначительно посмотрел на Стефанию.

— Ты не забыла, Стефа, что Эдвард просил тебя не упускать немцев из виду? Их надо устроить в малой гостиной. Собрать там паненок, говорящих по-немецки, а главное — не жалеть вина, — быстро проговорил он.

— Знаю... Вот и они. Я их встречу, а ты иди наверх к Эдварду и предупреди об их приезде... И пусть Людвиг придет мне помочь. Все уже спрашивают о ней...

Владислав исчез. Стефания встретила немцев очаровательной улыбкой. Рядом с Зонненбургом шел не старый еще полковник, начальник гарнизона города. За ними — три офицера, среди них — Шмультке. Зонненбург представил их Стефании.

Полковник прикоснулся холеными усами к ее руке.

— Чрезвычайно признателен, графиня, за любезное приглашение и весьма рад встретить в вашем лице жену одного из офицеров немецкой армии, — сказал он.

— Надеюсь, ваше превосходительство, вам не будет скучно в нашем обществе?

— О, что вы, что вы! — запротестовал полковник.

Стефания, окруженная офицерами, направилась в зал.

Зонненбург задержал Шмультке.

— Господин лейтенант, вы поставили караул во круг усадьбы?

— Так точно, господин майор!



В кабинете Эдварда сидело несколько человек. Здесь были: Эдвард, накануне возвратившийся из Варшавы, отец Иероним, князь Замойский, Баранкевич, викарный епископ Бенедикт и еще трое молодых людей в штатском.

У входа в апартаменты Людвиги сидел Юзеф. Когда, поддерживаемый лакеем, появился старый граф Могельницкий, Юзеф почтительно раскрыл перед ним дверь и сейчас же закрыл ее перед самым носом лакея.

— Можешь идти. Я позову, когда понадобится.

Сын недоумевающе пожал плечами и стал спускаться с лестницы.

— А где этот бродяга, Мечислав? Ты за ним приглядывай, Адам. Вот еще наказание господне!..

Адам остановился и невесело посмотрел на отца.

— Со вчерашнего вечера, после того как он побил Франциску, я не видел его. Говорят, что пошел на фольварк к солдатам.

При появлении отца Эдвард поднялся.

— Ну теперь, кажется, все в сборе. Пока там, внизу, будут веселиться, мы кое о чем успеем поговорить. Познакомься, отец,— сказал Эдвард, когда Казимир Могельницкий остановился перед поднявшимися ему навстречу незнакомыми молодыми людьми.

— Капитан Врона,— отрекомендовался один из них, бледный, с воспаленными глазами.

— Лейтенант Варнери,— произнес другой, стройный, голубоглазый.

— Поручик Заремба,— угрюмо пробасил третий, коренастый, с коротко подстриженными усами.

В комнату торопливо вошел Владислав.

— Эдвард, приехали немцы — полковник, несколько офицеров... Людвиги сошла вниз. Слышишь, играют туш? Все твои приказания выполнены. Ты разрешишь мне остаться здесь?

— Нет. Иди вниз занимать гостей. Через полчаса придешь,— сухо ответил Эдвард.

Владислав сделал недовольную мину, но повернулся по-военному и вышел. Сегодня утром он был «произве-

ден» в подпоручики и назначен командиром взвода в формируемом Эдвардом польском легионе.

— Итак, если панство разрешит, я начну,— произнес Эдвард, когда все уселись.

Снизу доносились звуки мазурки.

— Послезавтра мы решили выступить. Дальше медлить нельзя. Австрийцы бегут на родину, бросая все. Сегодня нам стало известно о революции в Германии. Наше положение необычайно трудное. Уходящих немцев преследуют партизанские отряды. Они скоро ворвутся сюда. Пан Зайончковский говорит, что у них на селах уже начинается... Как вам известно, седьмого ноября в Люблине организовано польское правительство с пепезовцем Дашинским во главе...

Баранкевич сделал резкий жест рукой.

— Это не так страшно,— успокоил его Эдвард.— Правда, Дашинский наобещал в своих декларациях всеобщее, прямое, тайное и равное избирательное право, восьмичасовой рабочий день и даже передачу земли крестьянам,— с издевкой продолжал Эдвард,— но все это необходимые на сегодняшний день декорации. Их нам легко отшвырнуть, когда мы будем иметь силу. Пока что благодаря декларациям Дашинского мужики сами охраняют имения: народное достояние, как же. Важно одно: чтобы вооруженная сила была в наших руках. Мы пока что располагаем сотней людей. Этого достаточно, чтобы занять город. Австрийский гарнизон города растаял. Единственная сила — эскадрон немецких драгун... Но с немцами мы договоримся. Тем более что у них самих вскоре не останется ни одного солдата.

— Откуда вы взяли эти сто человек? — заинтересовался епископ, высохший, как мощи, старичок, машинально перебиравший пальцами четки.

До сих пор он придерживался немецкой ориентации и теперь хотел выведать, насколько реальна вся эта затея, в которую его так усиленно тянул отец Иероним.

— Это — часть солдат расформированного польского легиона австрийской армии и члены местной польской военной организации. Ну, потом — молодежь из хороших семей... На другой день после занятия города у нас будет втрое больше... Пан Дашинский

обещает прислать в случае нужды отряд организованной им народной милиции.

— Гэ... умм... да! — угрожающе откашлялся Баранкевич. — Ненавижу всех этих социалистов и прочих мазуриков!.. «Народная милиция»! Скажите пожалуйста! Что до меня, то мне приятнее слово «жандарм».

— Благодарю за комплимент, — отозвался из своего угла капитан Врона, исказив лицо гримасой, заменявшей ему улыбку.

Когда Врона улыбался, казалось, что мертвец скалит зубы, — до того неподвижны были его лицо и мутные глаза. После переворота Врона должен был стать шефом жандармов.

— Кто же будет городским головой? — спросил епископ.

Эдвард снисходительно улыбнулся.

— Власть будет у нас, у штаба округа. А в магистрате будут сидеть марионетки вроде адвоката Сладкевича... Недели через три мы соберем полторы-две тысячи солдат. Это будет уже маленькая армия...

Епископ мягко перебил его:

— Вы думаете, что этого достаточно?

Капитан Врона тихо шепнул Варнери:

— Эта сушеная глиста не так уж глупа...

Старик Зайончковский резко поднялся со стула.

— Мне кажется, его преосвященство не понимает всей серьезности момента. Если вы, живущие в городе, где всегда стоит какой-нибудь гарнизон, чувствуете себя в сравнительной безопасности, то нам в наших имениях приходится буквально не спать ночами! Ведь кругом мужики. На десяток украинцев — один поляк... Эти хлопы спят и видят, как бы им соединиться с партизанами...

— Вернее, отнять у нас землю, — добавил Замойский, — национальный вопрос здесь только впридачу.

— Земля — крестьянам, заводы — рабочим, панов — к стенке, а ксендзов — на виселицу... Кажется, так у них? — спокойно произнес Врона.

— Не будем отвлекаться, панове! — остановил его Эдвард. — Итак, послезавтра мы занимаем городскую комендатуру, управу и вокзал. Объявляем военное

положение и набор добровольцев. А потом посмотрим, как обернутся дела.

Епископ ядовито улыбнулся.

— Пусть пан граф меня извинит, что я его перебиваю. Но я хочу кое-что уточнить,— тихо проговорил он и, оставив четки в покое, вонзился своими крысиными глазками в Эдварда.— Только что пан Зайончковский сказал, что я не учитываю всей серьезности положения...— Во вкрадчивом тоне, каким были сказаны эти слова, было немало яда.— Но я думаю, что этим грешу не я. Я тридцать пять лет служу богу в этом крае, и мне пора знать истинное положение вещей. Я не воин, а только смиренный проповедник божьего слова. И мне с отцом Иеронимом даже не место на этом совещании. Но служители церкви приходили иногда на военные советы, чтобы предупредить горячих воевод об опасности, которая перед ними встанет в их походах... Вы все ревностные католики. Я, как ваш пастырь, обязан сказать, что я думаю обо всем этом.— Епископ сделал многозначительную паузу.— Не забывайте, панове, что мы с вами живем на самой русско-австрийской границе. Сейчас эта граница стерта. Те украинцы, которые находились в России, уже знают, что такое революция. Вы, надеюсь, не забыли, как они жгли своих помещиков? Немецкая оккупация на время придавила их. Другие украинцы, которые живут тут же рядом, в Галиции, не сделали этого лишь потому, что божьей милостью властвовал австрийский император и у него была армия, поддерживающая порядок... Теперь же нет ни императора, ни армии. Вы собираетесь взять в свои руки власть в крае, где девять десятых населения — украинцы. Пан Эдвард читал мне письма графа Потоцкого и князя Радзивилла. Их поместья и заводы разбросаны по всей Волыни и Подолии. Они тоже создают свои отряды и собираются захватить власть. Они ожидают вашей помощи... Что это значит, панове? Это значит, что польское государство, еще не родившись, уже думает о войне с Украиной и Белоруссией. Ведь вам там придется воевать со всем населением, которое будет бороться против вас, как против иноземных оккупантов и как против помещиков... Теперь судите, может

ли молодое государство пойти на эту, простите за резкое слово, авантюру, не рискуя погибнуть? Если мы в самой Польше имеем национальное большинство, которое можно поднять на защиту своей отчизны от москалей и хлопов, то как вы поднимете украинцев и белорусов против украинцев и белорусов, за польских помещиков? Видит бог, моя мечта — это победа католической церкви во всем мире! Но, панове, мы не дети. И мы должны знать, что немцам для оккупации Украины понадобилось триста двадцать тысяч солдат! А вы только через месяц надеетесь иметь две тысячи... Я думаю, панове, что нам надо пожертвовать интересами Потоцких, Радзивиллов, Сангушко и других пятишести магнатов и укреплять Польское королевство там, где у нас есть опора...

Князь Замоиский, имя которого епископ дипломатично не назвал в числе магнатов, зло прикусил губу.

— Гэ... умм... да!.. — прохрипел Баранкевич, стукнув себя кулаком по колену (он едва сдерживал свою ярость). Баранкевич обычно пугал собеседников своим оглушительным прокашливанием, которое он неизменно заканчивал восклицанием «да». — Прошу прощения, ваше преосвященство! Значит, вы мне советуете бросить свой завод и бежать в Варшаву? И то же самое сделать всем нам, здесь сидящим? Оставить наши имения, все имущество, приехать нищими в Варшаву и «укреплять» там Польское королевство? Спасибо! Но мы думаем иначе! Мы будем бороться до последнего вздоха... Но чтобы мы добровольно отдали все свое состояние взбесившейся серой скотине! За кого же вы нас тогда считаете?

Епископ презрительно сжал губы.

— Пан Баранкевич смотрит на происходящее с высоты своей заводской трубы, с которой видно только на пять километров вокруг, и интересы Польши, как нации, ему чужды.

— Но разве не идеал каждого шляхтича — великая Польша от моря до моря? — крикнул Заремба, вскакивая на ноги.

Епископ даже не обернулся в его сторону.

— Плохой пример, господин поручик! Великая

Польша тысяча семьсот семьдесят второго года, когда она владела частью Украины, Литвой и Белоруссией (кстати, границы Польши даже тогда были далеки от Черного моря) и погибла оттого, что каждый уезд думал только о себе, каждый воевода захватывал как можно больше земель, чтобы прирезать их к своим владениям, потому что ни один магнат не думал о государстве как о таковом, а только о собственных интересах... Нечто подобное вы собираетесь повторить,— холодно ответил Зарембе епископ.

— Странно, но его преосвященство не возражал, когда немцы оккупировали Украину,— сердито буркнул князь Замойский.

— Это была реальная сила... Сейчас рушатся империи, падают короны... Россия в огне. И нам, если мы не хотим погубить себя, надо быть осторожными. Я за то, чтобы укрепляться там, где есть опора! Я — за осторожность! Видит бог, что если бы у вас была сила, то я благословил бы вас на истребление проклятых большевиков не только в Польше... Я уйду, но пусть панство помнит, что у нас тут, у себя дома, есть немало людей, которые уже роют нам могилу. Помните, что даже в Польше, кроме правительства Дашинского, есть кое-где уже и советы!

Епископ поднялся и, сделав общий поклон, вышел. Не проронивший за все время ни одного слова отец Иероним тоже встал и вышел вслед за ним. Они спустились по черной лестнице, стараясь быть незамеченными. Молча прошли в парк, где стояла закрытая коляска епископа, молча сели в экипаж. Только когда подъезжали уже к городу, епископ повернулся к отцу Иерониму и тихо сказал:

— Вы, конечно, вернетесь туда, отец Иероним? Ну, так вы завтра заезжайте ко мне и расскажите обо всем. Старайтесь подействовать на графа, чтобы он не увлекался предложением Замойского и Потоцкого. Все созданные им отряды должны оставаться здесь, а не двигаться вглубь Украины. Потом я слышал, что вчера у вас были местные ксендзы... Я думаю, в другой раз вы соберетесь при мне. Я пробуду в городе дней десять. Вы, конечно, знаете, что я перевожусь в краковское

епископство? Но, пока я здесь, прошу без меня ничего не делать... Помните, отец Иероним, если вся эта затея провалится, вам не быть викарным епископом. Поэтому не надо пренебрегать моей помощью и советом... Не забывайте, что осторожность — сестра мудрости!

Отец Иероним кусал губы. Он чувствовал себя в положении школьника, которого дерут за уши, поймав на месте преступления. «Откуда эта старая лиса все знает? Да, с этим дьяволом в сутане надо быть осторожнее!»

Экипаж остановился около дома местного ксендза. Отец Иероним открыл дверцу, помог епископу выйти.

— Да благословит вас бог! — сказал тот, прощаясь. — Кучер отвезет вас обратно.



А в столовой лилось вино, звенели бокалы.

Тут много пили и ели. Говорили все сразу, не слушая друг друга. Горячились, спорили, доказывали.

Лакеи сбивались с ног.

Юзеф скрепя сердце смотрел, как съедаются пятнадцать тысяч марок, выданные графом Эдвардом.

Пожилые дамы расположились на диванах в гостиных и неумоимо перемывали косточки своим ближним.

В спортивной комнате вокруг Владислава собралась мужская молодежь. Поручик Заремба, после речи, полной патриотических призывов, приступил к записи добровольцев. Все кандидаты были заранее намечены. Каждый из завербованных получал назначение и инструкцию. Ящики с оружием были уже привезены, и завтра вечером все оружие должно было быть роздано. Кое-кто трусил, но вида не показывал. Владислав хвастался вынутым из шкафа мундиром с офицерскими нашивками, переделанным для него из мундира брата. После записи спелй для поднятия духа «Еще Польска не сгинела» и гурьбой повалили в зал.

Немцы играли в карты в кабинете старого графа. Их усердно угощали вином. Стефания часто появлялась там, чтобы проверить, достаточно ли на столе вина и по-прежнему ли увлечены офицеры игрой. Заметив, что вина оставалось немного, она сказала Владиславу:

— Вели подать в кабинет бургундского.

Владислав уже много выпил и был сильно возбужден. Первая служанка, попавшаяся ему на глаза, была Хеля.

— Беги скорей в погреб и принеси корзину бургундского! Быстро!

— Я не понимаю в винах, ясновельможный пане. Я попрошу отца, он принесет.

Несколько секунд Владислав скользил взглядом по фигуре девушки.

— Надо сейчас же! Пойдем, я сам выберу.

Спустившись в погреб, Владислав осторожно закрыл дверь погреба. Хеля, шедшая впереди со свечой, ничего не заметила.

Наполнив корзину бутылками, она наклонилась, чтобы поднять ее. Но Владислав резким толчком повалил девушку на пол.

Празднество наверху продолжалось...

Владек осторожно приоткрыл дверь погреба — никого. Он вытащил корзину с бутылками на лестницу, прихлопнул дверь и, трусливо озираясь, стал запирать ее на ключ. Наверху ему почудились чьи-то шаги. Через боковую дверь он проскользнул во двор, оставив ключ в замке. Как нашкодившая собака, он пробрался в буфетную и залпом выпил стакан портвейна.

В углу буфетной сидели двое гостей, чувствовавших себя на этом вечере не совсем в своей тарелке. Это были: владелец швейных мастерских Шпильман, маленький, вертлявый человечек, и директор коммерческого банка Абрамахер, флегматичный толстяк с солидной лысиной. Они не заметили Владислава и продолжали свой разговор:

— Вы понимаете, господин Абрамахер, как это все меня задевает? Когда мой Исаак захотел записаться, то ему сказали, что «жидов» не принимают! Это, видите ли, польская армия!

— Ну и что же?

— Исаак возмутился. Я поймал Баранкевича и говорю ему: «Послушайте, я дал на это дело десять тысяч марок, я дам еще триста комплектов военного обмундирования! Но разве Исаака нельзя пристроить каптенар-

мусом или на какую-нибудь офицерскую должность по хозяйственной части? Он, слава богу, окончил коммерческое училище и не глупее этих панков, у которых нет ни гроша в кармане. Разве, говорю, прилично так относиться к союзникам только потому, что они евреи?»

— Ну и что же?

— Ну, Баранкевич все устроил. Исаака зачислили по хозяйственной части. Только офицера они ему все-таки не дали. Пока он — сержант. Но это ничего! Исаак — умный мальчик, и если все пойдет хорошо, то он-таки да будет офицером! Пусть это будет стоить мне еще десять тысяч!

Абрамахер заметил Владислава и толкнул Шпильмана в бок. Они перешли на шепот.

— Так вы думаете, господин Шпильман, что они захватят власть?

— А как вы думаете, для чего все это делается?

— Ну, и как вы на это смотрите?

— А как мне смотреть, господин Абрамахер? Я думаю, и вы согласитесь, что лучше паны, чем советская власть. Ведь если голытьба побьет панов, то ни вам, ни мне она ничего не оставит. И, кто знает, может быть, и головы... Я узнал, что среди моих рабочих уже такие разговорчики были вчера: пусть только придет советская власть, мы этому кровососу Шпильману все припомним... Тьфу, паскудство! Я этих нищих кормлю, и в благодарность — «кровосос»! Есть, скажите, справедливость на свете?!

— Вы знаете, кто это говорил? — спросил Абрамахер.

— Ну, как же! У меня есть свои люди. Говорила Сарка, девчонка сапожника Михельсона. Он, кажется, живет в вашем доме? Я, конечно, эту дрянь завтра же выгоню! Но разве она только одна? И нужно было австрийцам заварить эту кашу! Кажется, порядочный народ, и на тебе — революция!

Абрамахер нетерпеливо перебил его:

— Так вы завтра заберете у меня иностранную валюту с вашего счета? Я думаю, все это надо спрятать подальше. Пока, к сожалению, ее нельзя никуда ни перевести, ни вывезти... Так вы поторопитесь, а то, кто

знает, что из этого выйдет! Имейте в виду, что этот Могельницкий может наложить лапу и на наш банк. Почему бы и нет?

— Вы золотой человек, господин Абрамахер! Вы видите в землю на четыре аршина. Верьте мне, если бы нашелся такой идиот, что купил бы у меня мои мастерские и дома, то я бы, не моргнув глазом, сегодня же продал! И за полцены, ей-богу! До того паскудное положение!



Возвращаясь в палатку все тем же черным ходом, отец Иероним услышал за дверью погреба заглушенные крики. Он остановился.

— Откройте! Ради бога! Я боюсь.

Это кричала женщина. Ключ торчал в замке. Отец Иероним повернул его. В темноте обезумевшей Хеле почудилось, что она увидела дьявола.

— Езус Христус! Свента Мария! Пощадите! — истерически вскрикнула она.

— Что с тобой, дитя мое? Не бойся! Разве ты не узнаешь отца Иеронима?

Бессвязные слова Хели сказали ему все. Он взял девушку за руку.

— Идем со мной...

На его стук дверь верхнего этажа открыла Стефания, как раз бывшая здесь.

— Что такое, отец Иероним? — испуганно спросила она, увидев искаженное лицо Хели.

— Простите, графиня, я должен поговорить с этим ребенком наедине. Разрешите пройти в ваш будуар?

— Пожалуйста, но что случилось?

Отец Иероним сделал ей предостерегающий жест рукой, ввел Хелю в комнату, усадил на диван и возвратился к Стефании, закрыв за собой дверь.

— Случилась очень скверная история. Нужно сделать так, чтобы она не стала известной. Пройдите в свою спальню и послушайте. Вы мне понадобится еще, — быстро шептал отец Иероним.

— Да, дитя мое, то, что ты рассказываешь, ужасно, если ты говоришь правду. Теперь послушай меня, дочь

моя. Ты хочешь рассказать об этом родителям? Не надо этого делать! Ты сама себя погубишь. Господа выгонят твоих родителей на улицу, а тебя посадят в тюрьму за клевету. Ведь ты сама сказала, что вас с графом никто не видел. Послушай меня, своего духовного отца. Сам бог велит прощать обиды врагам своим! И тебе многое зачтется за твой христианский поступок, если ты забудешь обо всем... Если ты дашь слово молчать, я скажу о твоей обиде графине Стефании. Она — добрая католичка и не пожалеет золота, чтобы хоть немного искупить перед богом вину твоего обидчика. Клянись же, дитя мое, именем пресвятой Марии, что ты никому об этом не скажешь. Поверь, что я хочу тебе только добра. Я вымолю для тебя благословение. Бесчестный же человек не уйдет от божеского возмездия!

Глаза отца Иеронима гипнотизировали Хелю, и она чуть слышно прошептала:

— Я не скажу.

Отец Иероним ласково положил свою тяжелую руку на ее голову, шепча слова молитвы.

В соседней комнате Стефания, сгорая от стыда, что ей, по милости отца Иеронима, приходится играть во всей этой истории двусмысленную роль, выбирала из своей шкатулки мелкие золотые вещи...



Весь вечер Людвиг была в приподнятом, восторженном настроении. Общее внимание, восхищение, сознание своей красоты, счастье от близости Эдварда, волнующее чувство, что она — первая в этом шумном обществе, кружили ей голову. Молодые люди лучших семейств считали за честь пригласить ее на мазурку или краковяк. И она танцевала до головокружения бурные национальные танцы, приводя в восторг и седых стариков и молодых панов.

— Она изумительна! — заметил Варнери, не отрывая восхищенного взгляда от танцующей Людвиги.

Он спускался с капитаном Вроной в зал, оставив Эдварда с князем Замойским. С последних ступенек лестницы был виден весь зал.

— Женщины — не моя стихия, мосье Варнери! Щепоть кокаина волнует меня больше, чем все эти патентованные красавицы, — безбожно коверкая французские слова, ответил Врона.

Варнери брезгливо поморщился.

— О вкусах не спорят... Как вы думаете, удобно будет, если я приглашу ее на тур вальса? Не скрою, я почти влюблен!

— Я думаю, пригласить можно, если вам уж так не терпится. Но только помните, для посторонних вы — гувернер младшего сына Замойского... Желаю успеха! Хотя это и безнадежно, — вяло произнес Врона.



Приземистый вахмистр настойчиво добивался от Юзефа вызова лейтенанта Шмультке. Старик, видя, что вахмистр войдет и без разрешения, пошел доложить.

Через несколько минут появился Шмультке об руку со Стефанией. Обер-лейтенант был навеселе. Увидев вахмистра, он сердито шевельнул усами а-ля Вильгельм.

— В чем дело, Зуппе? Я ведь сказал, чтобы меня по пустякам не беспокоили.

Шмультке не отпускал руки Стефании, и она не торопилась уходить. Вахмистр не решался говорить при ней, но усы лейтенанта так ужасающе шевелились, что он поспешил отпрапортовать:

— Смею доложить, господин обер-лейтенант, мною задержан на фольварке уже однажды арестованный вами Мечислав Пшигодский, называющий себя военнопленным и сбежавший вместе с другими арестантами при налете дезертиров на вокзал...

— Арестован — и прекрасно! Мог об этом доложить и завтра.

Вахмистр нерешительно переступил с ноги на ногу.

— Но этот человек смущал солдат... Кроме того, на фольварк пришел пьяный денщик господина майора и принес взятую откуда-то корзину с вином. Он стал рассказывать солдатам, будто он знает, что в Герма-

нии произошла...— вахмистр заикнулся и так и не произнес страшного слова.

Шмультке отпустил руку Стефании.

— Что такое?

— Тогда этот военнопленный стал подбивать солдат арестовать господ офицеров.

— Довольно! А где ты был? Простите, графиня, я должен уйти.

Встревоженная Стефания поспешила наверх к Эдварду. Бегло рассказала Юзефу, сидевшему у двери, об аресте его сына. Старик быстро спустился вниз.

Выслушав Стефанию, Эдвард спросил вошедшего Врону:

— Второй сын старого Юзефа завербован вами?

— Нет. Это странный субъект. Утром на мое предложение он ответил, что навоевался и с него довольно.

Не покидавший кабинета сына Казимир Могельницкий очнулся от полудремоты.

— Надо, чтобы Шмультке не упустил этого негодяя из своих рук... Кха-кха-кха... Вообще подозрительно, откуда он взялся.— Он опять закашлялся.— Ведь этот тип способен на любое преступление... Я только сегодня узнал, что он здесь. Он, оказывается, избил Франциску... Прошу тебя, Эдвард, прими меры!

— Успокойся, отец, немцы и без нас упрячут его, куда следует. Нам в конце концов вся эта история на руку... Денщик, видимо, почитывал у майора секретные бумажки, и хорошо, что солдаты знают о революции. Ничего, Стефа, все это пустяки! Пойдемте, князь, на хоры, посмотрим, как веселится молодежь,— оттуда все прекрасно видно.



Весь этот вечер Франциска работала в кухне. Ее не пустили прислуживать гостям из-за двух огромных синяков на лице. Когда Юзеф сказал ей об аресте мужа, она в первую минуту растерялась, а затем сердито загремела тарелками.

— Ну и пусть! Какое мне дело? Не муж он мне! Провались такая жизнь! Пусть его хоть повесят, мне не жалко.

Слезы мешали ей говорить. Ей было жалко себя, своей исковерканной молодости. Вспомнились все оскорбления, обиды, какие она терпела в этом доме. И самой большой все же была обида на Мечислава, побившего ее в день приезда. И какими только подлыми словами не называл он ее! Слезы потекли еще обильнее. Было жалко себя, жалко его. Что он там натворил? Чем это кончится? И оттого, что Мечиславу грозила беда, ей было тревожно. Она не хотела признаться, что ей страшно за его судьбу, что он ей все еще дорог.



Стефания с сожалением посмотрела на Франциску. Горничная, сдерживая слезы, смущенно теребила кончик фартука.

— Я вряд ли могу что-нибудь сделать. Старый граф очень не любит твоего мужа. И вообще сейчас такое время...

— Вы все можете, ясновельможная пани. Прошу вас! Вам стоит только поговорить с господином офицером, и он отпустит,— умоляюще шептала Франциска.

Стефания сделала отрицательный жест.

— Нет, я не могу сейчас говорить лейтенанту об этом! И притом ты меня удивляешь — человек тебя избивает, а ты...

— Ну что же! Бьет — значит, любит...

— Вот как! — Стефания догадывалась, какую роль играл старый граф в этом деле, и не сочла возможным продолжать разговор. Обнадежив горничную неопределенным обещанием, она из коридора, куда ее вызвала Франциска, вернулась в зал.



...Хеля в припадке озноба куталась в одеяло.

Встревоженная мать сидела рядом.

— Может, послать за доктором, дитятко?

— Ничего, мамуся, пройдет. Я немного остыла. Оставь меня одну...



— Ну, теперь ты от меня не уйдешь, каналья, как в первый раз! Так ты говоришь — арестовать офицеров? Пока что мы в состоянии сократить срок твоей собачьей жизни. Ну, отвечать на вопросы, иначе... — Шмультке стукнул дулом парабеллума о стол. — Имя, фамилия?

— Пшигодский Мечислав.



В большом зале танцевали мазурку. Лихо пристукивали каблуки панов, плавно скользили женщины.

— Я очарован вами, графиня!

Людвига улыбалась. Она смотрела через плечо Варнери на хоры, где стоял надменный и сдержанный Эдвард. А лейтенант думал, что она улыбается ему...

— Нех жие великая Польша от моря до моря! Нех жие великое дворянство польское! Смерть нашим врагам! — кричал Владислав, совершенно потерявший от вина голову.

— Виват! — отвечал ему зал, заглушая на миг оркестр.

Глава четвертая

— Татэ, смотри, солнышко в гости пришло! — Мойше ловит ручонками золотые блики на грязном полу. — Татэ! Я тебе принесу немножко солнышка... Оно удирает, не хочет...

Мойше жмурит глазенки. Одинокий луч заглянул ему в лицо. Он знает, солнце сейчас уйдет спать, тогда будет совсем темно. Сейчас дедушка и татэ быстро-быстро застучат молотками. Они всегда так делают, когда солнышко засыпает, потому что у них нет керосина. А им нужно делать сапоги. Завтра придет сердитый дядя с большим ножом на поясе и будет кричать на дедушку. Мойше не знает, о чем дядя говорит с дедушкой, а дедушка знает и тоже говорит ему что-то непонятное. Дедушка все знает. О чем бы Мойше его

ни спросил, всегда ответит... Вот бабушка уже зажигает щепки под треногой. Скоро будем кушать. Мойше вспоминает, что он уже давно голоден. Давно уже он не ел ничего вкусного. Все фасоль без масла. Когда бабушке надоест варить ее? Может быть, тетя Сарра принесет ему яблоко или конфетку? Мойше любит конфетки и тетю Сарру. Тетя Сарра ласковая, хорошая. Она всегда играет с Мойше, когда не шьет. Он видел этот дом, где много тетей что-то шьют... Глаза у тети Сарры большие-большие! Черные как вакса. И в них Мойше видит самого себя.... У Мойше тоже есть свой уголок — под столом. Здесь все его богатство — скамейка, лоскутки кожи, маленький молоточек, подарок татэ, деревянные гвоздики. Мойше тоже шьет сапоги, только игрушечные.

Под столом у Мойше хорошо. Здесь он никому не мешает, и мамэ не кричит на него, что он путается под ногами. Татэ и дедушка работают в другом углу, под окошком в потолке. Оттуда солнышко приходит в гости очень редко, но приходит на немножко. Мойше не успеет поиграть с ним, как его уже нет.

Еще в углу печь,— там мамэ и бабушка. Еще в углу кровать. Бабушка спит на печке. Тетя Сарра спит на сундуке. Дедушка — на ящике с кожей. Татэ и мамэ — на кровати, а Мойше со всеми по очереди. В доме четыре угла, а ему четыре года. Татэ вчера говорил дедушке... Мойше не успел вспомнить, что сказал татэ. Дверь скрипнула. А-а-а! Тетя Сарра! Мойше даже подпрыгнул от радости.

Он уже обхватил руками колени тети Сарры. Сейчас он узнает, принесла ли она ему гостинцев... Мойше знает, где лучше всего сидеть вечером,— на коленях тети Сарры! У нее длинные, тяжелые косы. Кончики их пушистые, и так приятно щекотать ими носик.

Быстро стучат молотки... Вечер скоро закроет окошко черной шапкой. Только огонек под треногой будет освещать комнату.

Мамэ режет хлеб. Татэ и дедушка моют руки.

— Что ты молчишь, Саррочка? — спросил татэ.

— Меня Шпильман выгнал из мастерской.

— За что? — крикнули все почти одновременно. Только Мойше молчит.

— За то, что я назвала его кровососом.

Мойше не знает, что такое «кровосос», но это, должно быть, страшное.

— Что же, ты думала, что он тебе за это жалованье повысит? — Голос у мамэ злой. Она не любит тетю Сарру.

— По-твоему, Фира, я должна была молчать? Он каждый месяц уменьшал нам заработок, заставлял работать по четырнадцать часов в день. Сам богател, а у нас гроши отбирал. Гадина противная!

— Как же теперь быть? Мы думали твоим жалованьем в будущем месяце за квартиру уплатить Абрамахеру, — испуганно сказал дедушка.

— Какое ей до этого дело? Она живет своей головой, у нее свой гонор... Чуть-чуть не вельможная пани! Она позволяет себе грубить хозяину, а завтра ей есть нечего будет. Или ты надеешься, что тебя брат с отцом прокормят? — кричит мамэ.

Мойше с испугом смотрит на нее. Она худая, нос у нее острый. Мамэ всегда болеет и всегда сердится.

— Не надо ссориться, Фира. Если в доме несчастье, то от ссоры оно не уменьшится.

Это говорит дедушка. Он любит тетю Сарру и Мойше. Дедушка старенький. Борода у него длинная, белая. Брови сердитые, а глаза добрые. Дедушка всегда сидит согнувшись, оттого спина у него кривая.

Кто-то стучит в дверь. Вот она открывается, и Мойше видит важного дядю Абрамахера. Все тоже смотрят на него и молчат.

Наконец, дедушка заговорил:

— Добрый вечер, господин Абрамахер! Садитесь, пожалуйста! Фира, зажги свечи.

Мойше хочется спросить дедушку: разве сегодня суббота? Но он боится важного дяди.

— Я зашел спросить вас, Михельсон: думаете ли вы уплатить за квартиру, или я должен принять другие меры? — сказал важный дядя.

— Вы уж подождите немножко, господин Абрамахер. Уплатим обязательно! Только денег сейчас нет.

Ни марки! Сами знаете, тяжело сейчас жить бедному человеку. Что заработаешь, то проешь. Вот думали, Сарра получит жалованье, но ее господин Шпильман уволил...— тихо отвечает дедушка.

Дядя посмотрел на тетю Сарру. Он похож на жирного кота, что сидит на заборе и высматривает воробьев. Хитрый кот! Кажется, что он спит, а он все видит! И только воробей сядет на забор, он его — цап лапой!.. И усы у дяди, как у кота.

— Меня все это мало интересует. Я спрашиваю: когда вы уплатите за квартиру?

Он надевает шапку. Скорей бы он ушел!

— Если завтра вы не уплатите за все четыре месяца, шестьдесят марок, то послезавтра вы уже будете квартировать на улице.

— Как на улице? Ведь там уже зима! Побойтесь бога, господин Абрамахер. Есть же у вас сердце! Ведь вы тоже еврей! — заплакала бабушка.

— Я прежде всего — хозяин дома. Для бога и нищих евреев я жертвую ежемесячно немножко больше, чем вы мне должны. Но если вы думаете, что еврей еврею не должен платить за квартиру, то вы очень ошибаетесь,— говорит дядя...

— Какая там квартира? Это же гроб! — закричал татэ так, что Мойше вздрогнул.

— Ха! Гроб? А вы за пятнадцать марок во дворце жить хотите?.. Ну, я все сказал. Завтра чтобы деньги были! Кроме того, вообще подыщите себе другое помещение. Я не намерен держать в своем доме неблагодарных грубиянов.— И дядя повернулся к двери.

Мамэ бросилась за ним.

— Подождите, господин Абрамахер! Не сердитесь на мужа за его слова. Мы люди необразованные, может и не умеем сказать, как надо. Вы уж простите, господин Абрамахер! Конечно, мы уплатим!.. А может, часть денег мы отработаем вам чем-нибудь? Вы, например, нанимаете же прачку? Так я могу вам стирать белье... Может, что-нибудь надо сшить госпоже Абрамахер и дочкам, то Сарра может это сделать,— жалобно упрасивала важного дядю мамэ.

Дядя еще раз посмотрел на тетю Сарру и ответил:

— Так и быть, я подожду несколько дней... Пусть она,— он указал пальцем на тетю Сарру,— завтра придет ко мне в контору. Может быть, для нее найдется работа... Но деньги вы все-таки готовьте...— И важный дядя ушел.

Мойше очень хочется высунуть ему вслед язык, но если мамэ увидит, она опять отдерет его за уши, как утром, когда он привязал к хвосту кошки коробку с гвоздиками.



Только глубокой ночью возвращался Сигизмунд Раевский в маленькую комнатку. Ядвига тревожно наблюдала за ним. Ночью, обнимая его, шептала:

— Я тебя так мало вижу... Опять, Зигмунд, все, как тогда! Нет покоя у меня на сердце — боюсь я за тебя! Так уж, видно, мне на роду написано... Когда вернулся, счастьем своему не верила. Ведь столько лет — пойми, Зигмунд, столько лет! — одна без тебя...

Сигизмунд молча положил свою большую руку на ее плечо. Это прикосновение было для нее дороже ласковых слов. Не умел он говорить этих слов и раньше. Но ей ли не знать, как горячо, как нежно может любить он. В ее памяти ожила их первая встреча на нелегальном собрании в Варшаве. У него уже тогда была партийная кличка — товарищ Хмурый. Она уходила с этого собрания членом социал-демократической рабочей партии Польши. До самого дома проводил нового товарища высокий слесарь водопровода, член комитета, товарищ Хмурый. С той ночи началась их дружба, а затем любовь...

— Мне страшно подумать, Зигмунд, что вас могут отнять у меня. Я говорю — вас, потому что мальчик стал твоей тенью. Он не сводит с тебя глаз... Я знаю, что иначе и быть не может. Но пойми, каково моему сердцу? Где бы я ни была, что бы я ни делала — всегда мысль о вас! Я так настрадалась, столько пережила, что я не перенесу этой потери...

Словно останавливая ее, Сигизмунд сжал пальцами ее плечо.

— Так нельзя, Ядзя! Я понимаю все. Я тоже знаю,

что такое боль. У матери это, конечно, сильнее. Потерять — это ужасно. Но как же быть? Ведь ты была в партии. Тебе ль не знать, что если уж начался бой, то цель одна — разгромить врага, чего бы это ни стоило, может быть самого дорогого! — Он почувствовал на своей груди ее голову и влажную от слез щеку. Она слушала его, растерянная и обезоруженная.

— Я не хочу сейчас осуждать тебя за отрыв от партии. Бывает, слабые не выдерживают тяжести борьбы. Не все в эти годы удержали в руках партийное знамя. Иные отошли — все свои заботы и мысли отдали семье. Для них гибель семьи — их собственная гибель. Но разве можно всю жизнь вмести́ть в эту комнату? Подумай, Ядзя! Ты вернешься к нам, моя дорогая, и в этом опять найдешь счастье... Что бы ни случилось с нами, у тебя всегда останется цель жизни, самая прекрасная, самая благородная, какую только знает человечество.

Губы Ядвиги нежно дотронулись до его груди, там, где стучит сердце. Охваченный большой человеческой нежностью, он притянул ее к себе...

А в другом конце комнаты, разметав руки, глубоко дыша, крепко спал сын. Ему снился сон. Они с отцом стоят на высоком кургане. Кругом необъятная степь. Ночь. А там, где восток, яркое зарево. И кажется, что степь пламенеет. Ветер доносит грозный рокот надвигающейся бури. Далеко, насколько хватает взор, волна за волной движутся людские множества. Залитые ярким светом, ярче пламени горят знамена. Сверкает сталь. Дрожит земля под конскими копытами. И над всем этим вьется и реет могучая песня. «Это, сынок, наши идут. Идем навстречу», — говорит отец и берет его за руку.

Раевские проснулись ранним утром. Было воскресенье. Сегодня в доме машиниста водокачки, в полукилометре от станции, в глубоком яру, у реки, должны были встретиться революционные рабочие. Все эти дни и вечера Раевский отыскивал их одного за другим по тем братским связям, что сохраняют люди, когда-либо боровшиеся вместе против своих угнетателей. Разыскал он и старых подпольщиков, отошедших временно от борьбы. И где бы он ни ступил, он чувствовал за своей

спиной сына, сторожко оберегавшего его. И теперь, когда в просторной комнате машиниста собрались рабочие, Раймонд сидел в пустой будке стрелочника на холме, у поворота в депо. Отсюда ему видно все кругом. Внизу, у реки, водокачка. В правое окошко видны железнодорожная насыпь и уходящие на север стальные рельсы. В левое видны подъездные пути и депо, за ними — вокзал.

Машинист Ковалло все время возился здесь, для вида починяя мостик. Когда внизу по тропинке, идущей вдоль реки, прошел четвертый человек, он взял топор подмышку и направился к будке.

— Теперь гляди в оба, паренек, — сказал он Раймонду сухо. — Приходить сюда некому. Если же кого по случайности занесет, то пропусти. А когда он начнет спускаться вниз, крутни шапкой. Я дочку пошлю со двора поглядеть. Она мне скажет.

И он пошел вниз.



— Олеся, пойди посмотри там по-хозяйству. Да не забудь, о чем я тебе говорил, — сказал Ковалло, входя в комнату и обращаясь к дочери. — Кажись, все теперь? Так что можно поговорить. — И Ковалло обвел присутствующих вопросительным взглядом. Он был похож на ежа со своей седой щетинистой бородкой и коротко стриженными волосами. Серые умные глаза его остановились на Раевском. — Так что слово за тобой, Зигмунд. Начинай, а мы послушаем, — сказал он, присаживаясь к столу.

И, обращаясь к остальным, спросил:

— Поди, познакомились? Мы-то с ним старые приятели. Как вы знаете, его прислали сюда шевельнуть стоячую воду. А то здесь здорово от народа отстали... В городе начинается заваруха, надо это обмозговать.

Григорий Ковалло говорил по-украински.

— Товарищи! — начал Раевский. — Местный революционный комитет поручил мне обсудить с вами кое-что.

— А кто в нем состоит, в этом комитете? — простодушно спросил худенький Воробейко, скромно

усевшийся в углу комнаты. Он был самым молодым из присутствующих. Раевский посмотрел на него и улыбнулся.

— Можете быть спокойны — люди надежные...

Воробейко смутился.

— Мы уже имеем партийную организацию,— продолжал Раевский.— Правда, нас немного — всего тридцать семь человек. Но это проверенные люди. В городе, повидимому, происходит переворот. Немцы уходят, а паны прибирают власть к рукам. Сегодня у нас нечем ударить по этим рукам. Значит, надо действовать, надо поднять железнодорожников, сахарников! А то это воронье укрепитя, и тогда не так легко его будет скovyрнуть.

Сидевший напротив Раевского Данило Чобот, неладно скроенный, но крепко сшитый человек, черный, как антрацит, которым он кормил топку своего паровоза, грузно шевельнулся, и старый табурет под ним жалобно скрипнул.

— Все понятно... А вот чем мы панков щупать будем? Народ мы поднимаем, это факт! А оружия нету. Кулаком много не навоюешь,— приглушая свой мощный бас, прогудел он.

Все невольно взглянули на его огромные кулаки.

— Если дело за оружием, так далеко ходить не надо — на седьмом пути в тупике стоит запломбированный вагон. Там ящики с винтовками. Сам видел, как грузили,— оживился Воробейко.— Ну, а патронов в артиллерийском складе, что около станции, хоть завались! Если на то пошло, то мы хоть сегодня ночью вагон этот загоним сюда, к водокачке, здесь в момент разгрузим и сложим в запасной камере. Водокачка на отшибе, этого никто и не заметит... Только зевать не приходится.



Раймонд следил за подходившим к будке парнем. Тот шел прямо по насыпи. Ветер доносил обрывки песни:

Ты навик моя, кохана,
Смерть одна разлучить нас!

Было холодно, но ватная куртка на парнишке широко распахнута. Он, видимо, был в прекрасном настроении. Рыжая шапочка сдвинута на самую макушку. Волнистый чуб цвета спелой ржи отдан ветру на забаву. Парень шел, заложив руки в карманы, и с увлечением пел.

Раймонд узнал его. Это был Андрий Птаха, кочегар из котельной сахарного завода.

Теперь Раймонда тревожило лишь одно — куда шел Птаха. Если в село, то он пойдет через переезд направо. Вот он на переезде... Нет, повернул сюда! Ясно, идет к водокачке! Больше некуда. Раймонд оставил свой пост.

— Эй, Андрюша!

Птаха обернулся, удивленно посмотрел на неизвестно откуда взявшегося Раймонда и пошел ему навстречу.

— Ты куда, Андрий?

— Я к Григорию Михайловичу. Вон внизу его домишко.

— А что ты там делать будешь?

— Делать? Хм... Да все одно и то же. Птичка у него есть занятная... Так вот, я всегда по воскресеньям хожу ее слушать. Хорошо поет, шельма! — лукаво улыбаясь, ответил Птаха и крепко сжал Раймонду руку. — А ты чего здесь?

— Я? Так... Случайно забрел. Никогда не был в этих местах... захотел поглядеть, — замялся Раймонд.

Птаха перестал улыбаться. Серые отважные глаза его недоверчиво смерили Раймонда. Он рывком нахлобучил шапку до самых бровей.

— Захотел поглядеть? Видал я таких рябчиков! — И, сердито насупившись, добавил: — Лучше будет тебе другое место выбрать. Здесь уже смотрено, понял?

— Ничего не понял!

— Ну, тогда не обойдется без драки!

— Драться? Из-за чего? Похоже, что ты выпил сегодня...

Но Птаха с недвусмысленным намерением вынул руку из кармана.

— Ты что придуриваешься! Думаешь, ваша власть теперь, так ваньку ломать можешь? Плевать я хотел на

все это! А вот начну штукатурить, тогда узнаешь, как с хохлами связываться. И приказ тебе не поможет! — угрожающе произнес Андрий.

— Брось, Андрий! Какая власть? Какой приказ? Если тебе уж так охота подраться, поищи себе кого-нибудь другого, — ответил Раймонд, которому стало надоедать поведение Андрия.

— Что, законтрапарил? Знает кошка, чье мясо съела! Все вы, полячишки, на один манер: сверху шелк, а в брюхе щелк! Привыкли ездить на хохлах, как на ослах.

Раймонд шагнул к нему. С трудом сдерживая себя, тихо проговорил:

— Если бы ты не был пьян, то я за такие слова поломал бы тебе ребра... Пристал, как злая собака! А я тебя еще за порядочного парня считал... За что ты весь польский народ оскорбляешь? Какой на мне шелк? На чьей я спине езжу? Эх ты, бревно!

Неизвестно, чем бы окончился этот разговор, если бы звонкий девичий голос не позвал снизу:

— Андри-ий!

Оба оглянулись. Внизу, у домика, на цементированной площадке водяной камеры стояла Олеся. Птаха несколько секунд постоял в нерешительности. Затем, вновь сдвинув шапчонку на макушку, стал спускаться. Отойдя несколько шагов, он остановился и, глядя не на Раймонда, а куда-то в сторону, сказал:

— А ты все же высматривай себе в другом месте. А то, хотя ты парень и свой, а морду набью, понял?

Олеся нетерпеливо ждала, когда Андрий подойдет к ней. Даже сюда, в яр, заглядывал бродяга-ветер, ступенный и сухой. Олесе приходилось бороться с ним, спасая свою юбку от его нескромных рук.

Теплый вязаный свитер плотно облегал ее грудь и плечи. Ей шел семнадцатый год. Это была черноокая смуглянка, жизнерадостная и порывистая. Женственная застенчивость и задор переплетались во всех ее движениях. И это противоречие особенно привлекало к ней.

Стройная, как горная козочка, она знала о своей обаятельности. Уже проснувшаяся в ней женщина

подсказывала ей самые красивые движения и ту неуловимую форму кокетства, к которой, сама того не зная, она прибегала из желания нравиться.

— Ты о чем с ним говорил? — в упор спросила она Андрия, не дав ему даже поздороваться.

— Так... о родственничках... Евойный папаша и моя бабушка — двоюродные знакомые... А ты что, с ним в гляделки играешь? Чего же на холоде, в хату не зовешь? Я хотел ему нагнать жару, да ты...

Андрий внезапно смолк. В сощуренных глазах девушки было столько холода, что ему стало не по себе.

— А еще что?

В этом вопросе Птаха уловил нескрываемую угрозу. Коса нашла на камень. Андрий не желал размолвки — не для этого он шел сюда. Но встреча с Раймондом и допрос Олеси, такой неприветливой и даже злой, испортили все.

— Еще что? — Олеся стукнула каблучком о бетон.

— Еще я сказал ему, чтобы он проваливал отсюда к чертовой бабушке, поняла?

Андрий решил, что день все равно испорчен, и шел напролом. Налетевший ветер настиг Олеся врасплох. Она яростно ударила рукой по взметнувшейся юбке. Андрий скромно опустил глаза.

— Какой осел! Какой осел! Что теперь человек по-думает? — шептала она.

Андрий с огорчением увидел в ее глазах слезинки.

— Ну, пускай я осел, но зачем же ты плачешь? Я ж тебе ничего такого...

— Я плачу? Не хватало, чтобы я перед каждым мальчишкой еще плакала. Ветер глаза режет, а он... Тоже ухажер! Соплей к земле примерзает, а туда же... Скажи ты мне, какого ты черта сюда ходишь? Сколько раз говорила, что видеть тебя не хочу!

— Я что-то этого не слышал.

— Уйди с глаз, противный.

Олеся отвернулась. Андрий не знал, как помириться с ней. Он чутьем понял, что Раймонд пришел сюда не на свиданье. Олеся тогда вела бы себя иначе.

— Закурить с горя, что ли? — грустно сказал он и полез в карман за табаком. Пальцы наткнулись на

сложенную бумагу. Он вынул ее, развернул и еще раз прочел: «Приказ командующего вооруженными силами государства Польского на Волыни...»

— Ты не знаешь, Олеся, твой батька читал эту штуковину? Что он делает? Может, мне к нему пойти, раз тебе не по душе пришелся?

— К отцу нельзя — у него гости. Дай сюда! — Олеся взяла из его рук листок.

Приказ был напечатан по-польски и по-русски. Быстро просмотрев его, Олеся повернулась к Андрию.

— Не ходи за мной, я сейчас вернусь... — И побежала к дому.

Андрій повеселел. Дела, видимо, поправлялись. Повернувшись спиной к ветру, он на радостях стал крутить огромную цыгарку.

В комнате напряженно слушали. Раевский медленно и отдельно читал:

Параграф первый. Волею польского народа с сегодняшнего дня вся власть в крае принадлежит штабу легионеров.

— Видали? Залез на Украину и командует именем польского народа! — возбужденно крикнул Остап Щабель, чернобровый красавец, молотобоец из депо.

— Интересно их спросить, когда они у польского народа спрашивались? — порывисто поднялся стройный Метельский, и в глазах его полыхнула ярость.

Параграф второй. Объявляю в городе осадное положение. Хождение по улицам после семи часов запрещается под страхом расстрела.

Параграф третий. Запрещаются всякие собрания, сходки, сборища без моего на то разрешения. Лиц, уличенных в агитации против командования и вновь организованной власти, приказываю расстреливать на месте.

— Ого!

— Сразу видать волчью хватку!

— Ничего себе «власть польского народа»!

— А этого самого польского народа бояться, как черта!

Параграф четвертый. Предупреждаю, что каждый насильственный захват кем-либо личных владений граждан Польского государства или их имущества будет считаться грабежом и с захватчиками будет поступлено, как с бандитами.

— Ага. Вот с этого бы и начинали!

— Народа что-то не видать, а вот помещичий арапник налицо,— прогудел Чобот.

— Про землю еще помалкивают, чтоб народ не бунтовать. Время терпит — зима...— сказал Воробейко.

— А владения что, по-твоему? — обернулся к нему Щабель.

— Продолжаю читать:

Параграф пятый. Объявляю набор добровольцев-поляков во внозь формируемые части. Каждый доброволец получает полное содержание, обмундирование и— пятьдесят марок жалованья в месяц.

— А дальше что там? — не терпелось Ковалло.

— Дальше?

Командование будет вести беспощадную борьбу с большевиками, как с самыми опасными врагами государства Польского. Уличенных в принадлежности к большевистской партии приказываю немедленно предавать военно-полевому суду с разбором дела в двадцать четыре часа.

— Это уж для нас специально!

— У них недолго проживешь на белом свете!

Чобот свирепо забрался всей пятерней в свои густые волосы.

— Кто это у них такой скорый? — спросил он.

Раевский посмотрел на подпись.

— Полковник Могельницкий.

На минуту в комнате стало тихо. Раевский положил приказ на стол.

— Я думаю, товарищи, что теперь все ясно?

Чобот угрюмо сопел, засмотревшись в окно.

Раевский обвел взглядом всех пятерых и не нашел ни страха, ни растерянности в их глазах.

«Хороший подобрался народ».

Серьезные рабочие лица. Немножко угрюмые. Щабель не по летам суров, Воробейко о чем-то грустно задумался. Щабель и Воробейко не знали, что Ковалло, Чобот и доктор Метельский являются членами ревкома. Для них только один Раевский был его представителем.

Раевский подошел к хозяину.

— Надо послать ребят в город проведать, что и как. Пусть Раймонд с твоей дочкой сходят.

— Добре, сейчас скажу.

— Теперь мы поговорим о том, что нам нужно делать,— предложил Раевский.



Олеся подбежала к Птахе.

— Идем, противный, в город! Погуляем, поглядим, что там делается.

Когда шли в гору, она сказала решительно:

— Ты с Раевским должен помириться, иначе я с тобой — никуда! Не был бы ты дурнем, рассказала бы, почему этот парень здесь.

И побежала к будке.

— Пойдемте в город, Раймонд. Батько сказал, надо посмотреть, что там творится. Ваш отец остался у нас, будет ждать. Сюда придет Воробейко.— И, пока подходил Андрий, добавила волнуясь: — Птаха вам наговорил cepухи, но он все же парень хороший. Вы на него не сердитесь! Ну, пошли!

Птаха шел и разговаривал, как будто между ним и Раймондом ничего не произошло. На вокзале раздалось несколько выстрелов. Тревожно загудел паровоз, но как-то сразу смолк, и стало тихо.

— Андрий, ты был в городе? Что там творится? — тревожно спросила Олеся.

— А черт его знает! Видал отряд кавалеристов. Около городской управы — кучка фендриков с винтовками. Одного узнал — Сладкевича, адвоката сынок. Нацепляли себе белых орлов на шапки... Все больше гимназистики. Потеха!

На железнодорожных путях было безлюдно. Дёповские ворота закрыты. Что-то угрожающее было в этом безлюдье. За несколько шагов до выхода на мост, перекинутый над станцией, из-за угла товарного склада навстречу им шмыгнула какая-то фигура. Это был австрийский полицейский. Он шарахнулся было в сторону, но вид троих его успокоил. Задышавшись и оглядываясь, он крикнул им на ломаном польском языке, махнув рукой на север.

— Вы там не видали вооруженных людей?

— Нет,— ответил Раймонд, единственный из троих говоривший по-польски.

Полицейский кинулся бежать к водокачке. Но Птаха вдруг подставил ему ножку, и солидный шуцман со всего размаху плюхнулся на землю. С такой же быстротой Андрий оказался верхом на нем. Как ни барахтался тот, но выбраться из цепких рук парня не мог.

— Раймонд, тягни у него левольвер! Да живее!

Раймонд наклонился к полицейскому и, торопясь и волнуясь, расстегнул кобуру и вытащил из нее револьвер. Птаха быстро отскочил от полицейского, не забыв выхватить из ножен широкий тесак, и встал в оборонительную позу.

Раймонд вертел в руках отнятый маузер, не зная, что с ним делать.

Все произошло настолько быстро, что Олеся не успела опомниться. Полицейский вскочил на ноги. От испуга и бешенства его нижняя челюсть дрожала. Но решительный вид Птахи не позволял и думать о сопротивлении.

— Ну, а теперь тикай! Нажимай на пятки! — И Андрий выразительно махнул в воздухе тесаком по направлению на север.— Не понимаешь? Ну, как там повашему — махен драпис к чертовой матери!

Раймонд спрятал револьвер в карман. Тогда полицейский стал поспешно уходить от них, поминутно оглядываясь. Пройдя несколько шагов, он расстегнул пояс и бросил ненужные теперь кобуру и ножны. Андрий пошел и поднял их. Засунув в ножны тесак и довольно улыбаясь, возвратился назад.

— Куда бы мне эту штуковину заткнуть?

— Ты что, с ума сошел? А если бы он нас всех перестрелял? — накинулась на него Олеся.

— Эх, если бы да кабы выросли в носу грибы! На кой ему черт пистолет? Все равно лавочка кончилась! А мне он пригодится.

— Ну, а штык-то на что тебе? Брось его и пойдем!

— Ну да! Из него два ножа важнецкие сделать можно. Я его вот сюда, под ступеньку, примощу. Здесь не видать.

На мосту он их догнал.

— Слушай, Андрий, если ты думаешь еще что-нибудь выкинуть, то не ходи с нами. У нас важное дело,— сухо сказал Раймонд.

— Ну, чего пристали? Все же в порядке! Давно мне хотелось пистоль иметь, а тут, гляжу, из рук добро уходит... А здорово я полиция напугал! Поди, десятую версту отжимает! Поте-ха! — И Андрий захохотал так выразительно, что Раймонд и Олеся не могли не улыбнуться.

К Андрию вернулось хорошее настроение. По мосту он шел слегка приплясывая и напевая:

Гоп, кумэ, нэ журыся,
Туды-сюды поверныся!

Так же вдруг ему пришла мысль завершить все благородным поступком.

— Знаешь что, Раймонд, дарю тебе пистоль! Бери! Знай мою дружбу! Я себе другой достану.

Олеся резко повернулась к нему.

— Ты что, опять думаешь на кого-нибудь накинуться? Не ходи с нами! Слышишь? Не ходи!

— Да нет же! Что ты мне сегодня настроение сбиваешь? Я от всей души, а она... Сказал, чудить не буду, чего же еще? Мало ли где я себе могу достать? Какое твое дело? На, Раймонд, кобуру и носи на здоровье... Что это бабье в военном деле понимает.

— Ты насчет бабья полегче!

Но Андрий уже не слушал ее. Обняв Раймонда за талию и улыбаясь, смущенно прошептал:

— Кто старое помянет, тому глаз вон, понял? А из этой штуковины мы с тобой по разу стрельнем в подходящем месте. Идет?

Вместо ответа Раймонд положил руку на его плечо.

Глава пятая

В это воскресное утро в палатки Могельницких проснулись очень рано.

В конюшнях одетые в форму польских легионеров вооруженные люди седлали лошадей. Во флигелях, где

жила многочисленная дворня, ожидали сигнала к выступлению пехотинцы.

Шмультке и Зонненбург только что окончили завтрак. В комнату вошел Юзеф и подал майору записку. Майор прочел и сказал:

— Графиня Стефания просит нас зайти к ней по очень срочному и важному делу.

Они недоуменно переглянулись, но тотчас встали из-за стола и, оправив мундиры, молча пошли за стариком.

На втором этаже Юзеф широко распахнул двери будуара Стефании и жестом пригласил немцев войти.

Но вместо графини их встретили несколько вооруженных офицеров в неизвестной им форме. Один из них закрыл за немцами дверь и остался сзади вошедших с револьвером в руке.

— Что это означает? — сухо спросил Зонненбург.

Шмультке инстинктивно протянул руку к поясу. Но револьвер остался в комнате майора.

В углу будуара в глубоких креслах сидели Баранкевич и старый граф.

— Садитесь, господа, — сказал один из офицеров, искривив в гримасе-улыбке бледное лицо.

Немцы продолжали стоять.

Баранкевич тяжело поднялся с кресла и подошел к ним. Он, как знакомый, протянул им руку, но оба офицера даже не шевельнулись. Баранкевич побагровел.

— Гэ... умм... да! — начал он. — Дело в следующем, господа. Поскольку вы оставляете наш край и не в состоянии больше охранять нас и поддерживать порядок, мы решили сами заняться этим.

— Кто это вы? — злобно скосил на него глаза Зонненбург.

— Мы — это штаб польского легиона. Честь имею представить! — И Баранкевич повернул свою тушу в сторону одного из польских офицеров. — Полковник граф Могельницкий, начальник легиона.

— Эдвард Могельницкий? Полковник французской службы?

— Почти верно, господин обер-лейтенант. Я собственно полковник русской гвардии, но всю войну провел во Франции как член русской военной миссии и после большевистского переворота в России стал офицером французской службы,— ответил Эдвард с холодной учтивостью.

— Тогда мы обязаны арестовать вас.

— Немножко поздно, господин обер-лейтенант. К тому же мы призывали вас сюда с совершенно иной целью. Для обеих сторон будет лучше, если мы спокойно обсудим создавшееся положение,— продолжал Эдвард.— Мы занимаем город. От вас мы требуем нейтралитета. Мы не будем препятствовать вашей эвакуации отсюда при единственном условии невмешательства в наши дела. Конечно, все склады оружия и обмундирования переходят к нам.— Шмультке сделал негодующий жест.— Вы сами видите, это не бунт черни, но вслед за вашими отступающими частями движутся красные. Они обрушатся на нас сейчас же по уходе немецких войск. Вот почему мы вынуждены, не дожидаясь, пока вы уйдете, заняться наведением порядка в округе и мобилизовать наши силы. Я обращаюсь к вам, господин майор и господин обер-лейтенант. Вы оба дворяне и офицеры. Правда, мы с вами находились во враждебных лагерях. Но сейчас у нас с вами общий враг — революция. Если вы с нами начнете борьбу, то это будет только на руку красным. Я не думаю, чтобы вы этого хотели!

Несколько секунд длилось молчание. Шмультке просительно посмотрел на Зонненбурга.

— Хорошо... Но как к этому отнесется его превосходительство начальник гарнизона? — растерянно пробормотал Зонненбург.

— Его преосвященство епископ Бенедикт уже договорился с господином полковником,— тихо произнес кто-то за его спиной.

Немцы оглянулись. Перед ними стоял отец Иероним, незаметно вошедший в комнату во время разговора. Он подал Зонненбургу запечатанный конверт, и пока немцы читали, он скромно прошел в угол и сел рядом со старым графом.

— Итак, господа офицеры, ваш ответ? — спросил Эдвард.

— Нам остается только подчиниться, — глухо ответил Зонненбург.

— Очень рад! Вы, господа, конечно, свободны. Отныне вы гости в нашем доме. Будьте добры, предупредите ваших солдат о том, как они должны себя вести. Поручик Заремба, спрячьте ваш револьвер. Подпоручик Могельницкий, передайте отряду мой приказ приготовиться. Господа офицеры, занимайте свои места.

Через полчаса небольшой отряд, состоящий из кавалерии и пехоты с тремя пулеметами, двинулся к городу.



В обширной камере было полутемно. Два небольших окошка с массивными решетками почти не пропустили света. Теснота. Вместо пятнадцати человек — здесь тридцать один. Дощатые нары завалены человеческими телами. Смердно и грязно здесь.

Лежавший прямо на полу богатырского телосложения крестьянин повернул к Пшигодскому свою большую голову и, забираясь пятерней, как гребнем, в широкую бороду, сказал:

— Что ты мне там квакаешь? Спокон веков ляхи нас мордовали! Привык пан считать нас за скотинку, так и зовет — «быдло». Не бывать меж поляком и хохлом миру до самого скончания веку!

Пшигодский сердито сплюнул.

— До чего же туп человек! Всего тебе дано вволю, а ума мало... Да возьми ты меня и себя, к примеру, медведь ты косолапый! Чего нам с тобой враждовать, скажи на милость? И тебя и меня помещик норовит в ярмо запрячь, да и гонять до седьмого поту. Выходит, поляк поляку — разница. Не все ж они помещики, черт подери! Есть и такие бесштаные, как ты!

Крестьянин слушал недоверчиво.

— Небось был бы помещиком, тоже гвоздил бы арапником не хуже пана Зайончковского. Сам, говоришь, беспортошный, а все в нос тычець — «дурак,

дескать, баран сельской, а я, мол, умный». Гнор свой показываешь...

Пшигодский приподнялся и сел на нарах. Несколько секунд угрюмо глядел на собеседника, затем улыбнулся.

— Чудило-человек! Я ж к тебе по-хорошему, а ты обижаешься.

— Это дурака-то да медведя по-хорошему считаешь?

— Брось, папаша! Ты за мои слова не цепляйся, ты в корень гляди!

Из-под нар высунулась бритая голова, и на Пшигодского взглянули лисьи глазки.

— Ну и упрямый же вы, пане Пшигодский! Хотите из этого быка скакового жеребца сделать! Хи-хи-хи! — И обладатель лисьих глазок выбрался из-под нар, где он спал.

— А какое твое собачье дело? — спокойно ответил ему крестьянин, поняв польскую речь.

Пшигодский тоже неприязненно покосился на вертлявого человека в почерневшем от грязи летнем костюме с измятым галстучком.

— У меня ко всему дело есть, на то я...

— Шулер и охмуряло! — закончил за него звонкий юношеский голос из угла камеры.

— Ты, щенок, потише там, а то... — И человек сделал выразительный жест рукой.

Лежавший рядом с Пшигодским пожилой рабочий с бледным худощавым лицом вмешался в перепалку.

— Осторожнее с кулаками, пан Дзёбек. Пшеничек верно сказал. Факт, что ты всех простачков в камере обобрал.

— Я? Обобрал? — И Дзёбек сунул руку в карман.

Камера давно проснулась, но лишь теперь пришла в движение. И в этом движении Дзёбек почувствовал явную угрозу.

— Как ты думаешь, Патлай, чего он руку в карман сует каждый раз, когда ему хвост прищемляют? На испуг, что ли, берет или у него такая поганая привычка? — спросил соседа Пшигодский.

— Я знаю, у него там безопасная бритва,— подсказал юноша из угла, надевая сапоги.

Затем он быстро встал и, шагая через лежавших на полу, подошел к Дзёбеку. Это был высокий белокурый парень с голубыми глазами, одетый в рабочее платье пекаря. Полиция арестовала его на работе за то, что он с ножом кинулся на хозяина, избивавшего десятилетнего ученика. Хозяин отделался легкой царапиной, но Пшеничека ждал суд.

— Покажи, что там у тебя! — крикнул он Дзёбеку.

Камера затихла. В это время по коридору пробежал кто-то из сторожей. Затем послышался топот тяжелых сапог.

Дверь камеры открыли. На пороге стоял офицер в не известной никому форме. Сзади него — несколько солдат. Перепуганный начальник тюрьмы перелистывал толстую книгу с аттестатами арестантов. Пшигодский быстро поднялся. В одном из солдат он узнал своего брата Адама, а в офицере — того пана, который предлагал ему вступить в польский легион.

— Здесь, господин капитан, крестьяне, арестованные за восстание,— бормотал по-немецки начальник тюрьмы.

— Это по делу о захвате сена Зайончковского? — спросил Врона.

— Да, да... Потом семь рабочих сахарного завода...

— Знаю.

— Еще несколько человек по разным делам. Среди них два поляка: Дзёбек — по обвинению в шулерстве и шантаже — и Пшигодский... Этот в особом ведении комендатуры.

— Знаю.— Врона уже нащупал глазами Пшигодского.

— Ну, остальные по мелким делам. Среди них один несовершеннолетний — Пшеничек.

Врона взял книгу, сделал отметку красным карандашом на полях против фамилии Пшигодского, сахарников и крестьян.

— Остальных выпустить. Нечего кормить дармоедов! Пойдемте дальше.

Пока открывали следующую камеру, начальник тюрьмы успел прочитать имена тех, кто освобождался.

Через двадцать минут в камере осталось шестнадцать. Патлай наскоро передал через Пшеничека несколько слов своей жене, Пшигодский же надеялся поговорить с братом.



— Пане капитане, смею просить вашей милости отпустить моего брата, Мечислава Пшигодского, что в девятой камере. Он против немцев агитацию вел, так его за это взяли...

Голос Адама дрожал. Он не отнимал руки от козырька конфедератки¹.

— Рядовой Пшигодский, я сам знаю, что делать. Отправляйся к воротам!

Адам замер на месте.

— Что я сказал? Кругом марш! Чего стоишь, пся крев?

Молчание. От удара кулаком по лицу он пошатнулся и едва не выронил ружье.

— Марш, а то застрелю, как собаку!

Адам тяжело сдвинулся с места. Медленно пошел по коридору, волоча по полу винтовку. Проходя мимо камеры № 9, он встретился с глазами брата. Тот все слышал.



Весть о перевороте и о том, что освобождают арестованных, мгновенно распространилась по городу. Вскоре на окраине у тюрьмы собралась толпа. Отряд легионеров не подпускал никого близко к воротам.

Раймонд, Андрий и Олеся тоже были здесь.

Освобожденных засыпали вопросами, окружив тесным кольцом, но никто ничего толком не знал. Когда из ворот выбежал молодой парень в пекарском платье, его сейчас же обступили.

— Ты что, тоже сидел?

— Да!

¹ Польская военная фуражка с четырехугольным верхом.

— Значит, всех освобождают? — спросил его Раймонд.

— Ну да, всех! Одних жуликов только... А которые честные, так тех еще на один замок.

— Выходит, ты — жулик? Раймонд, береги карманы! А то у него — один момент, и ваших нет!

Пшеничек яростно повернулся к Андрию.

— Это ты сказал, что я жулик? Сакраменска потвора!

— Сам назвался! — крикнул ему Андрий, готовясь к потасовке.

— Да чего вы сцепились, как петухи? Не дадут расспросить толком человека! — крикнула пожилая женщина, дергая Пшеничека за рукав.

— Так не всех, говоришь? А кого ж оставляют?

— Я ж сказал — которые за правду, те и будут сидеть! А ежели меня жуликом еще кто назовет, так я ему из морды пирожное сделаю... Я за правду сидел! А почему выпустили, черт его знает!

— Эй, ты! Что ты тут брешешь? Хочешь обратно за решетку? — угрожающе прикрикнул на Пшеничека хорошо одетый господин, известный всему городу владелец колбасного завода, и толкнул пекаря палкой в спину.

Андрий вырвал палку из его рук.

— Ты за что его ударил, колбаса вонючая? На, получи сдачи! — И Андрий ловко сбил с головы торговца котелок.

— Держите его! Поли-ци-я! — заорал тот, схватившись рукой за лысину.

По мостовой зацокали копыта.

— Это что за сборище? — С высоты коня Эдвард Могельницкий окинул презрительным взглядом столпившихся у тюрьмы. — Поручик Заремба, очистить площадь!

— Ра-зой-дись! — скомандовал Заремба.

Над головой его сверкнул палаш.

Толпа шарахнулась и побежала, опрокидывая все на своем пути.

Отряд легионеров у ворот тюрьмы взял ружья наперевес. Это могло служить и приветствием командиру и острасткой для толпы.

Пробежав два квартала, Раймонд, Олеся и Пшеничек остановились. Разогнав толпу, legionеры усакали.

— Где же Андрей? Вы его не видели? — волновалась Олеся.

От бега щеки ее покраснелись, она глубоко дышала.

Молодой пекарь посмотрел на девушку, затем на Раймонда и грустно улыбнулся.

Из переулкa вынырнул Птаха. Он бежал легкими скачками, вертя в руках палку.

— А-а-а! Вот вы где! Фу... А я отстал маленько... — Смех сверкал в его глазах.

Подбежав к друзьям, он прислонился к забору и захохотал.

— Эх, если бы вы видели, как он улелетывал! Умру! Когда все кинулись, я колбасника еще раз наддал палкой. Он как стрибанет! Да так быстро, что я его насилу догнал. Дал ему на прощанье еще раз! Он от меня, как от черта, в подворотню...

Пшеничек тоже смеялся.

Раймонду и Олеся, глядя на них, трудно было сохранить серьезность.

— Я с тобой никуда больше не пойду. Только осяраишь... Вот не знала, что ты такой хулиган...

— Что же, я не виноват, что сегодня день такой скаженный, — беспечно ответил Андрей.

— На, приятель, палку. Тебя ею били, так и возьми себе на память... А скажи, наших заводских ты там не видел? Патлая, Широкого? — спросил Андрей пекаря, подавая ему палку.

— Ну, как же! Я вместе с ними сидел. Хороший человек Василий Степанович! Все заводские вместе... С ними еще Пшигодский один. Тоже хороший человек, — с трудом подбирал украинские слова Пшеничек.

— А знаешь что? — подумав, сказал Раймонд. — Пойдем к жене Василия Степановича, ты ей все расскажешь.

— Да он и так просил передать ей кое-что.

— Ну вот и пошли. Давай познакомимся.



— Господин капитан, один из освобожденных хочет сообщить вам что-то важное.— Начальник тюрьмы показал на Дзёбека.

— Ну, что там? Быстро! — сказал Врона, войдя в канцелярию.

— Прошу позволения, ясновельможный пане, поздравить вас с победой! Я сам поляк, и я...— патетически начал Дзёбек.

— Короче!

Дзёбек глотнул конец фразы, угодливо осклабился и зачистил:

— Я, как поляк, обязан перед отчизной служить вам верой... В тюрьму я попал по недоразумению...

— Короче, пся крев! — гаркнул Врона.

— Считаю своим долгом сообщить, пане капитане, что в камере номер девять остались опасные люди... Особенно этот Патлай... Но и Пшигодский. Они все время ведут красную пропаганду... Особенно опасен Патлай. Это заклятый большевик, пане капитане! Вы изволили отпустить этого мальчишку Пшеничека. Это очень вредный мальчишка! Он все время с ними якшался. Патлай ему что-то шептал перед уходом. Если не поздно, прикажите задержать его. Если пану капитану угодно, я могу рассказать все подробно.

— Хорошо! Поговорим... Кстати, чем вы занимаетесь?

— Чем вам угодно, пане капитане.

— Что ж, попробуем! Авось из вас неплохой агент выйдет. Но только у меня без фокусов! А то пуля в лоб — и на свалку.

— О, что вы, пане капитане! Я оправдаю доверие.



Вечером Раевский с сыном осторожно подошли к своему дому. На окне зажженная лампа.

— Значит, все спокойно. Мама дома.

Отец вошел в квартиру, сын остался сторожить у ворот. Целый день юноша кружил по городу, выполняя поручения отца.

Через минуту из дома вышла мать. На ходу шепнула на ухо:

— Иду к жене Патлая. У нас Олива. Отца дождался.— И скрылась в темноте.

«Милая, родная мама! Как она изменилась! Какая-то другая стала — совсем молодая...»



— Все будет сделано, товарищ Раевский. У нас на складе в типографии стоит запасная «бостонка». Ручная. Сегодня ночью у нас срочный заказ от ихнего штаба. Приказы, мобилизационные анкеты и воинские книжки надо отпечатать. Я кстати и вам принесу всего этого понемножку. Может, пригодится. А это я сегодня ночью сам отпечатаю. Пятсот штук, больше не успею. Только под утро воззвания надо вынести из склада. И набор тоже, а то разбирать его мне некогда будет. А потом я вам шапирограф по частям притащу. Это штука полезная. А то ведь навряд ли придется печатать в самой типографии. Ведь они, когда прочтут, так все вверх дном перевернут... Это дело надо обтяпать основательно, а то и без головы останешься,— говорил Олива спокойно, рассудительно.

Старый наборщик понравился Раевскому. Все лицо в мелких морщинах. Большие очки в медной оправе, а за ними — голубые, добрые глаза.

— Скажите, товарищ Олива, там, кроме вас, никого больше нет, кому можно было бы доверить?

— Кто его знает? Есть, конечно, порядочные, но в петлю не полезут. Комнатный народ. Остальные еще хуже — два пепеэсовца, сионист и трое — куда ветер дует. Разве только Эмма Штольберг? Ее отец венгерец, но девчонка здесь родилась. Зелена, а так как будто ничего.

— Хорошо, товарищ Олива, действуйте.

Наборщик встал.

— Да, чуть было не забыл! Скажите, вы нам печать сделать не можете?

— Я, конечно, не гравер, но, пожалуй, сделаю. Вам-то ведь не очень фасонистую. Хе-хе...— Морщины

на его лице зашевелились, а в уголках глаз собрались веером.— Ну, всего хорошего. Присылайте ребят к пяти утра.

Раевский на минуту задержал в ладони черную от свинцовой пыли руку Оливы.

— Почему вы не в партии, товарищ Олива?

— Стар уж... Где мне! Пусть уж молодые. А я подсоблю. Меня если и повесят, так не жалко — свое прожил. Конечно, умирать никому не охота, но все же молодому это тяжелей.— Он посмотрел на Раевского поверх очков строго и, как показалось Сигизмунду, укоризненно.

Когда Олива вышел, Раймонд вошел в комнату.

— Вот что, сынок, мы поручаем тебе организацию коммунистического союза молодежи. Партии нужны сторожевые и разведчики, преданная молодежь. Ты сам видишь, мы в стане врага. От одного неосторожного шага, движения — может погибнуть вся организация. Молодежь иногда неосторожна по неопытности, вот почему прием в союз новых товарищей — весьма важное дело. Принимать можно только отважных, сознательных, готовых пожертвовать даже жизнью. Представь себе, что мы приняли труса и он почему-либо попадет в руки жандармов. Он ведь выдаст всех в надежде спасти свою шкуру. Его революционности хватит только до первого ареста. Есть такие любители опасных приключений. Наша борьба для них — не кровное дело. Они играют в революцию. Этим чаще всего страдают интеллигентки, начитавшиеся приключенческих книг. Когда дело от игры переходит к смерти, то они начинают трусить. Основное ядро будущей организации мы наметим вместе. Кого ты считаешь наиболее достойным?

Раймонд задумался.

— Я не знаю, отец. Это ведь так серьезно,— прошептал он, наконец.

— Хорошо, я помогу тебе. Что ты думаешь об Олесе Ковалло? Она из хорошего рода. Их двое — отец и дочь. Кровная связь — кровное дело. Она, кажется мне, смелая девушка.

— Да, мне тоже так кажется.

— Ну вот! Один товарищ уже есть. Дальше, кого ты знаешь?

Раймонд долго молчал, затем сказал:

— Сарра Михельсон. Ее Шпильман с работы прогнал, а хозяин дома сегодня выкинул их на улицу. Так и сидят во дворе на сваленных вещах. Я ее только что видел, им некуда деться... Как бы им помочь, отец?

Раевский что-то обдумывал.

— Пусть переезжают к нам.

— Но где же они поместятся? Здесь и так повернуться негде, а их шестеро. Потом вещи...

— Ничего, нам отсюда все равно надо уйти. Ты же знаешь, что по городу уже рыщут. Нас не сегодня-завтра нащупают. Пусть переезжают, с вещами распрягаются, как хотят. А нам придется расселиться в разных местах. Я поселюсь пока у Ковалло, мама — у тети Марцелины, а ты у кого-нибудь из товарищей... Ну, мы с тобой отвлеклись. Значит, Сарра. Хорошо. Кто еще у тебя на примете?

— Есть еще Андрий Птаха. У того отваги — хоть отбавляй. Только он озорной очень и может перестараться. По-моему, он сознательный, только очень горячий.

Раевский улыбнулся.

— А вы его будете придерживать пока. Осторожность придет вместе с сознанием, что он может погубить не только себя... Он что, твой приятель?

— Да... То есть не то чтобы совсем... Зато он очень хорош с Олесей... — И Раймонд заметно смутился.

— Ага. Что же, это неплохо. Дружба — огромная вещь... Еще кого ты думаешь?

— Еще есть тот парень, что в тюрьме сидел вместе с Патлаем. Чех Пшеничек. По натуре он — подходящий к Андрию.

— Добре. Завтра ты поговори с каждым в отдельности, не называя имен других. Расскажи о всех трудностях, чтобы ребята знали, на что они идут. И только после их доброго согласия можно считать их членами коммунистического союза. Первую группу утвердит ревком, а потом новых товарищей будете принимать

самостоятельно... Сейчас ты пойдешь на водокачку. Там ночью предстоит серьезное дело. Ковалло скажет. У тебя есть оружие?

— Да, револьвер, который отобрал у полицейского Андрий.

— Ты знаешь, как с ним обращаться?

— Нет.

— Давай я покажу.

Когда Раймонд освоил нехитрую механику оружия, отец сказал:

— Возьми. Не забывай: стрелять нужно лишь в исключительных случаях, когда иного выхода нет. Но если уж начал стрелять, то обороняйся до последнего патрона. За один или десяток выстрелов — расплата у жандармов одна. Иди, мальчик, и будь осторожен...

Впервые отец назвал его «мальчиком». Раймонду хотелось обнять отца, прижаться к груди, сказать: «Отец, уважаю тебя и люблю!» Но, заметив его нетерпеливое движение, Раймонд поспешно вышел.

По дороге к водокачке забежал к Сарре, чтобы обрадовать ее. Поговорить же с девушкой, как поручил ему отец, он не мог. Все время мешали.

У него оставалось еще часа два свободного времени, и он направился к заводской окраине, где жил Птах.

Андрий был дома. Он сидел на кровати и играл на мандолине попури из украинских песен и плясок. Он только что закончил грустную мелодию «Та нэма гиришныкому, як тий сыротини» и перешел к бесшабашной стремительности гопака. Играл он мастерски. И в такт неуловимо быстрым движениям руки лихо отплясывал его чуб.

Младший его братишка, девятилетний Василек, упершись головой в подушку и задрав вверх ноги, выделял ими всевозможные кренделя. Когда он терял равновесие и падал на кровать, то тотчас же, словно жеребенок, взбрыкивал ногами и опять принимал вертикальное положение.

Заметив Раймонда, Андрий закончил игру таким фортиссимо, что две струны не выдержали и лопнули, что привело владельца мандолины в восхищение.

— А ведь здорово я эту штучку отшпарил! Аж струны тенькнули! — вскочил он с кровати и положил мандолину на стол.

Матери Андрия в комнатушке не было — она ушла к соседям.

— Мне с тобой, Андрий, поговорить надо по одному важному делу.

— А что случилось? — обеспокоился Птаха. — Валий говори!

— Наедине надо.

Андрий повернулся к Васильку. Тот уже сидел на подушке, болтая босыми ногами, и деловито ковырял в носу.

— Василек, сбегай-ка на улицу!

— А чего я там не видал?

— Я тебе сказал — сбегай! Тут без тебя обойдемся.

— Не пойду. Там холодно, а сапогов нету.

— Надень мамины ботинки.

— Ну да! Чтобы она меня выпорола!

— Ты что, ремня захотел? Что ж я, по-твоему, от тебя на двор должен ходить?

— Зачем ходить? Я заткну уши, а вы говорите.

— Васька! — повысил голос Андрий.

Но Василек продолжал сидеть, не изъявляя желания подчиниться. Андрий стал расстегивать пояс. Василек зорко наблюдал за его движениями. Раймонд взял Птаху за руку.

— Пойдем, Андриюша, во двор. Там в самом деле холодно.

Они сели на ступеньках. Дверь из комнаты тихо скрипнула.

— Васька! Засеку! Я тебе подслушаю!

Дверь быстро закрылась.

— Ты что, его в самом деле бьешь?

— Да нет! Но стервец весь в меня. Я ему одно, он мне другое. А бить не могу — люблю шельму. Он это знает. Все сделает, только надо с ним по-хорошему. Не любит, жаба, чтобы им командовали...

Долго сидели они вдвоем, разговаривая шепотом.

Андрий проводил Раймонда до калитки. Там они стояли молча, не разжимая рук.

— Ты понимаешь, Андрий, об этом никто не должен знать.

— Раймонд, я ж сказал! Могила! Я сам не раз думал: да неужели же не найдется такой народ, чтобы правду на свете установил? А тут оно выходит, что есть.

— А может, ты раздумашь? Так завтра скажешь.

— Я?! Да чтоб мне лопнуть на этом самом месте, если я на попятную! Эх, Раймонд, не понимаешь ты моего характеру! Так, думаешь, горлодер... А ведь и у меня тоже сердце по жизни настоящей сучает...



Черная морозная ночь. Студеный ветер рыскал по железнодорожным путям.

На вокзале, на двери жандармского отделения сменили дощечку. Название осталось то же, но уже на польском языке.

Никто из находившихся в жандармской не знал, что маневровый паровоз на запасном пути как бы нечаянно натолкнулся на одинокий вагон, затем погнал его впереди себя, так же незаметно остановился и пошел обратно. А вагон уже катился сам туда, где его ждали десятка два человек. Под утро тот же паровоз увел его из далекого тупика, что у водокачки, на старое место.

Еще до зари Раймонд вынес из склада типографии завернутую в мешок пачку воззваний. Всю ночь он не спал. Но впереди предстояла еще самая опасная работа.

Наутро семья Михельсона переселилась в комнату Раевских. Хозяйкам дома Ядвига сказала, что она с сыном уезжает из города.

На водокачке прибавился новый жилец.



Врона трижды прочел свежеотпечатанную листовку. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Заголовок на русском, украинском, польском и немецком языках. Призыв к вооруженному восстанию! «Вся власть Советам!.. Долой капиталистов, помещиков... Земля крестьянам...» Ах, пся крев! А ведь отпечатано в типографии —

у нас под носом... Что скажет Могельницкий? А главное, черт возьми, подпись: «Революцио-о-онный комитет». Есть уже, значит, такой...

— Эй, кто там!

В дверях появился часовой.

— Дать сюда Дзёбека, пся его мать!

Дзёбек вбежал в кабинет начальника жандармерии, гремя палашом, который волочился по земле, как это водилось у австрийских гусар.

— Честь имею...— Дзёбек запнулся, увидев, как внезапно передернулось лицо Вроны.

Капитан поднялся из-за стола, держа в руках воззвание. Дзёбек не знал, смеется Врона или губы его конвульсивно дергаются.

— Это что такое?

— Честь имею доложить, пане начальник, мои агенты только что донесли об этом. Еще утром вместе с афишами кинематографа какие-то люди наклеили эти листки... Извольте видеть, пане начальник, на одной стороне ваш приказ, а на другой воззвание. Они так и расклеили: где было удобно — воззвание, а где — приказ... Потом, смею доложить, какой-то мальчишка лет десяти пробежал по центральным улицам с нашей газетой, раскидывал эти листки и кричал: «Читайте приказ штаба!» Когда постовые прочли и хватились, то его и след простыл... Также смею доложить, на заводе и на железной дороге эти листки распространялись неизвестными личностями... Я уже арестовал всю типографию. Но, кроме наших материалов, там ничего не найдено. Притом там есть два члена ППС, те головой ручаются, что никто у них не мог печатать. Не иначе как у тех собственная машина!

— А где они достали приказы?

— Смею доложить, не иначе как в управе. Они там просто свалены пачками в коридоре. Всякий, кто хотел, мог взять.

Врона сделал два шага по направлению к вахмистру. Дзёбек попятился на столько же.

— Слушайте, вы! Шулер! Я дал вам мундир и чин, но я вас повешу, предварительно приказав всыпать сто плетей, если вы мне не раскопаете всего этого! Вот вам

тысяча марок. Соберите весь ваш сброд и не являйтесь без тех, кто это напечатал... А сделаете — чин подпоручика и тысяча марок! Клянусь богом, я делаю преступление против чести! Такая хамская морда не достойна офицерских погон. Но вы их получите, если не предпочтете висеть... Не подумайте сбежать с деньгами — я вас найду и под землей. Марш!

Дзёбек схватил деньги и повернулся так быстро, что палаш не поспел за ним, отчего вахмистр едва не упал, споткнувшись. Подхватив палаш, он выскочил в коридор.



— Так вот за что твоего мужа на фронт послали, — прошептала Людвиг.

— Ясновельможная пани! Прошу вас! Ноги ваши целовать буду... Пан граф все для вас сделает... Спасите его! — рыдала Франциска, обнимая колени Людвиги.

— Хорошо, я все сделаю, только перестань плакать, — растерянно говорила Людвиг.

— Ради святой Марии, поспешите, ясновельможная пани! Сегодня ночью их расстреляют. Сам капитан сказал, — бормотала Франциска, с трудом поднимаясь с пола.

— Я сейчас пойду к графу. Успокойся, Франциска, — сказала Людвиг. Избегая умоляющего взгляда измученной женщины, она быстро вышла из комнаты.



— Кто там? Ах, это ты, Людвись! Прости меня, но я очень занят. — Эдвард положил на стол трубку полевого телефона.

Его кабинет был превращен в штаб. На столе — два телефона. На стене — карта края, утыканная красными и черными флажками. Палаш и револьвер лежали на диване.

— Эдди, на одну минуту... Я прошу тебя сделать для меня одну вещь...

— Говори, Людвись. Ты же знаешь, что я для тебя все сделаю.

Зазвонил телефон. Эдвард взял трубку.

— Да, я. Что? В Павлодзи восстание? Что такое? На вокзале стрельба? Сейчас же узнайте, в чем дело. Конечно... Поставьте всех на ноги... Сейчас приеду... Что? Немецкий эшелон?.. Пришлите взвод для охраны усадьбы. Да. Сейчас еду!

Эдвард в бешенстве швырнул трубку на стол.

— Что случилось, Эдди?

Могельницкий торопливо застегивал пояс, на котором висели палаш и револьвер. Лицо его было мрачно.

— Небольшие неприятности. Мы все это устраним... Вскоре здесь будет Владислав со взводом кавалерии. Не волнуйся, радость моя, все уладится. Но на всякий случай будьте готовы к отъезду. Я позвоню из штаба. Ну, прощай!

— Эдди, а моя просьба?

— Прости, ты о ней скажешь вечером...

— Но тогда будет поздно. Я прошу тебя, Эдди, умоляю... Сделай это для меня — освободи сына Юзефа! Мне страшно даже сказать, но его собираются расстрелять сегодня ночью.

Она преграждала ему путь.

— Ах, вот ты о чем? Ну, этого сделать нельзя! Это опасный человек. И вообще, моя дорогая, не вмешивайся в эти дела. Я спешу, Людвись.

— Умоляю тебя, Эдди! Сделай это ради меня... Слышишь? Умоляю!

Она обняла его за плечи и нежно прильнула к нему.

Но он разжал ее объятия и решительно отодвинул в сторону.

— Я не могу остаться здесь ни одной минуты. Меня ждут. На вокзале беспокойно... Прощай.

Она схватила его за рукав мундира.

— Эдди, ради нашей любви прошу тебя! Если ты не сделаешь, значит не любишь...

Он резко повернулся к ней, холодный, совсем чужой.

— Я прошу тебя, я, наконец, требую... да, требую не вмешиваться в дела штаба! Ты просишь невозможного. Что тебе до них? Эти люди готовы уничтожить нас, а ты их еще защищаешь... Твоя гуманность неуместна. Их надо истреблять, как бешеных собак!

Пожалуйста, без истерики! Вместо того чтобы мне помочь, ты только мешаешь...

Закрылась дверь. Быстро прозвучали по коридору твердые шаги и звон шпор. Через минуту трое всадников неслись вскачь к городу.

Глава шестая

Дзёбек твердо решил заработать золотые погонны подпоручика и тысячу марок, а в случае неудачи — скрыться подальше. И так уже давно пора было переменить место. Но сейчас, когда шла игра и лишь раздавались карты, шулер поборол в нем труса. Сначала «ударить по банку». Жди, пока опять настанет такое сумасшедшее время, когда так же легко стать генералом, как и быть повешенным. Только бы не сорваться! Большая игра бывает раз. И он действовал.

Захватив с собой двух капралов и сержанта жандармерии Кобыльского, еще недавно служившего швейцаром в «заведении» пани Пушкальской, Дзёбек устроился в рабочий поселок.

У дома, где жил Пшеничек, пролетка остановилась.

— Стоп! — Дзёбек соскочил на мостовую. — Кобыльский, за мной! Авось мы накроем эту стерву Пшеничека... — И, придерживая палаш, он вбежал во двор.

— Вот он, вот он! Стой! Стрелять буду! — с дикой радостью заорал Дзёбек, когда перед самым его носом шарахнулась назад в коридор высокая фигура пекаря.

Леон влетел в комнату, как бомба, и тотчас запер дверь на ключ.

— Езус-Мария! Что такое? — вскрикнула мать.

Но в дверь уже ломились.

— Кобыльский, вышибай, а то уйдет!

Сержант разбежался и всей тяжестью тела грохнулся о дверь. Он ввалился вместе с вышибленной дверью в комнату, не удержал равновесия и упал на пол. В то же мгновение Пшеничек ринулся к окну, высадил головой раму и выпрыгнул в сад.

Звон разбитого стекла, ворвавшиеся люди и бегство

сына ошеломили стариков Пшеничек. Они онемели от ужаса.

— Держи его! — бесился Дзёбек, которому выбитая дверь и поднимающийся Кобыльский мешали подбежать к окну.

— Опять ушел... Эх ты, тумба! Чего смотрел? Под носом был, сволочь!

Кобыльский, потирая ушибленное колено, мрачно огрызнулся:

— Он, пане Дзёбек, у вас тоже под носом был...

Дзёбек накинулся на старика:

— Ну ты, старая кляча! Собирайся! Мы там тебя подогреем, ты нам скажешь, где он скрывается.

— Пане военный, за что же меня? — мешая чешскую речь с польской, залепетал старик.

— Ты еще спрашиваешь, за что, каналья! Я тебе что говорил вчера, — как только придет, сейчас же заявить мне!

— Так где ж это видано, пане, чтобы на родного сына?..

— Ну так вот, мы тебя подучим. Ты за все это ответишь... Марш!

— Куда вы его ведете? — в ужасе закричала старуха.

— Цыц ты у меня, ведьма! Все вы одного поля ягода... Цыц, а то тут тебе и конец...

Старик шел между двумя жандармами без шапки, беспомощно опустив голову. Кругом стояли молчаливые соседи, недоумевая, за что арестовали честного колесника, всегда тихого, прожившего в этом доме без единого скандала почти двадцать лет.

Через полчаса четверо жандармов ворвались в домик, перепугав детей и жену Патлая. Их приезд сразу бросился в глаза. Здесь жили сахарники. Патлая знали все. Около дома через несколько минут собралась кучка рабочих.

— Что тебе передал мальчишка из тюрьмы? Говори! — как коршун, налетел Дзёбек на жену Патлая.

— Я ничего не знаю... — шептала маленькая, худенькая, испуганная женщина. Дети мал-мала меньше жались в угол за ее спиной.

— Ну, ты... — Дзёбек похабно выругался, — ты у меня заговоришь!

Он торопился. Чутье ищейки подсказывало ему, что именно здесь можно найти след, так или иначе ведущий к тем, кто напечатал воззвание.

— Ну, так вот... Вчера у тебя был этот Пшеничек... Он уже сидит у нас и все рассказал... Конечно, после того, как мы ему всыпали плетей... Так что отпираться бесполезно. Нам только надо сверить. Если же ты будешь отмалчиваться или крутить, то я с тебя шкуру спущу. Говори!..

Женщина попятилась в угол, ей было жутко.

— Я... ничего не знаю...

Дзёбек торопился.

— Кобыльский, дай ей для начала!

Четырехугольный Кобыльский, с бычьей шеей и низким лбом дегенерата, поднял руку, в которой держал плетеную нагайку.

И мать и дети вскрикнули сразу — мать от боли, дети от испуга.

— Замолчи, сука... Говори, что тебе передали! Говори! Кобыльский, дай ей еще!

Дикий крик женщины словно ножом резнул стоявших на улице.

— Что они с ней делают?

— Ой, хлопцы, что же вы стоите? Зайдите в дом.

— Может, там над женщиной знущаются, а вы рты пораззявляли...

— Мало того, что человека в тюрьме гноят, так еще бабу мордуют...

— Эй, мужики, пошли!

— Стой! Куда? — крикнул на рабочих капрал, стоявший у двери.

— А что вы с ними делаете?

— Чего они кричат?

— Пусти в хату!

— Почему без понятий?

Услышав эти гневные выкрики, Дзёбек подскочил к двери.

— Это что такое? Разойтись сейчас же!

Никто не уходил. Наоборот, со всех сторон на шум сбегались обитатели пригорода.

— Тетю Марусю нагайкой бьют! Я сам видел в окно...— кричал Василек, забравшийся на забор.

— За что бабу бьете? — глухо спросил у Дзёбека пожилой рабочий.

Толпа напирала. Дзёбек чувствовал, как страх холодной гадюкой ползет по его спине. Он знал: толпа сомнет его, если заметит этот страх. Он выхватил из кобуры револьвер.

— Разойдись, а то стреляю!

Передний ряд вогнулся, но отодвинуться далеко не мог, так как сзади напирали. Только бородатый рабочий, стоявший перед Дзёбеком, не сдвинулся с места.

— Ты этой штучкой не махай! Всех не перестреляешь... Убирайтесь-ка отсюда по-хорошему...

Выстрел ударил всех по сердцу.

Рабочий схватился за грудь, качнулся и повалился на бок. Толпа вокруг него сразу поредела. Жандармы вытащили из дома жену Патлая и швырнули ее в извозничью пролетку. Держа револьверы наготове, жандармы встали на подножки.

Дзёбек и Кобыльский вскочили во вторую пролетку и помчались.

А около убитого собиралось все больше и больше людей.



Слух о том, что польские жандармы убили слесаря Глушко, разнесся по переулкам пригорода. Он проник во все уголки и добрался до самых крайних землянок. Большинство людей устремилось к дому Патлая, чтобы собственными глазами убедиться в этом. Остальные горячо обсуждали случившееся у своих домиков.

— За что убили? — спрашивало сразу несколько голов того, кто приносил эту весть.

— За патлаеву бабѹ вступился. Так его той Кобыльский — знаете, что вышибалой у Пушкальской служил, — застрелил с револьвера.

— Не Кобыльский, а той, что рулетку на базаре крутил. А теперь он у их за вахмистра.

— А где же закон? Людей убивают ни за что ни про что.

— Закон один — кто палку взял, тот и капрал. Дожились до новых хозяев!

— Да, теперь так: день прожил, не повесили — скажи спасибо. Ну и житуха!

И только кое-где разговоры носили более решительный характер.

— Это о чем вы, хлопцы?

— Да так, языки чешем... Эти гады, что хотят, то и делают. А мы все больше на языки нажимаем. Потрепался — и до хаты! А ночью тебе придут кишки выпустят...

— Что ж ты, такой храбрый, здесь стоишь? Пойди к панкам да поговори с ними.

— Чего ты зубы скалишь? Тут людей стреляют, а тебе шуточки!

— Говорил я: не носите, хлопцы, немцам ружей. Теперь вот немцы тикают, а с панками нечем справиться. Так и оседлают.

— Кабы дружный народ, а то каждый за свою шкуру трусится.

— От то-то же! Покажет дулю в кармане и давай тикать, чтоб не поймали...

— Нас тут одних фронтовиков, почитай, человек триста найдется... Не верю я, что все винтовки сдали!

Но тут в разговор решительно вмешивается жена:

— Гнат, иди домой! Иди домой, говорю!



На заводе Баранкевича заканчивала работу вторая смена. У главных заводских ворот скопилась густая толпа пришедших на смену. Часть рабочих прошла через контрольную будку в заводские цеха, остальные, узнав об убийстве, задержались у ворот.

— Чего стоите? Проходите, говорю вам! — кричал старый заводской сторож.

— Успеет... Еще гудка не было.

Андрей кидал в топку последнюю порцию угля.

Стрелка часов подходила к трем. Кочегары сменялись на десять минут раньше других.

— Слышал, Андрюша, Глушко застрелили ляхи,— сказал, подходя к нему, его приятель, кочегар Дмитрусь.

В котельную входила новая смена, и Андрий уловил отрывистые фразы.

— А у ворот кутерьма начинается!

— Видал, охранники побежали туда?

За окном послышался выстрел. Кочегары переглянулись.

— Что там?

Несколько секунд все молча прислушивались, невольно ожидая следующих выстрелов. Андрий полез по лесенке на кожух котла. Наверху — три узких окна. Одно из них было открыто. Из него были видны заводские ворота. Там творилось что-то неладное. Вся площадь перед воротами запружена народом. Какой-то человек, взобравшись на ограду, что-то кричал в толпу. К воротам один за другим подбегали legionеры, охранявшие завод.

Из соседнего машинного отделения в котельную бежал младший механик, пан Струмил.

— Почему вы не даете гудка на смену? — кричал он изо всех сил.

— Где Птаха? Давайте же гудок!

Видя, что его никто не слушает, механик сам схватил кольцо, прикрепленное к канату, открывающему клапан гудка, и потянул его вниз.

Мощный рев ошеломил Андрия. Он забыл обо всем. Он видел только начинающуюся у ворот свалку, и вдруг — этот рев.

Из всех дверей на заводской двор повалил народ.

Среди рабочих — половина женщин.

Андрий быстро спустился на пол.

Струмил отпустил кольцо. Рев смолк. Только теперь механик увидел Птаху.

— Где ты шляется?

— Я в окно смотрел...

— А-а-а, в окно! Тогда получи расчет! Тебя нанимали для работы... Принимайтесь за дело! — крикнул Струмил кочегарам и выбежал в машинное отделение.

Андрей несколько секунд стоял неподвижно. Его захватила одна мысль.

Он колебался, отстранял ее. Но она уже завладела его волей. Сердце его замерло, как перед прыжком с высоты. И уже в следующее мгновение он ринулся к двери, запер ее, положил ключ в карман. Затем вернулся к котлам, схватился за кольцо и повис на нем. Рев возобновился.

— Ты что, с ума сошел, Андрей! — кинулись кочегары к Птахе. — Хочешь, чтобы нас всех поувольняли?

Но Андрей не слушал их. Он продолжал тянуть кольцо вниз.

— Брось, Андрюшка! Повыгонят же всех, — возмущился Дмитрусь.

Андрей схватил свободной рукой тяжелый лом, которым разбивали уголь, и закричал в лицо Дмитрусье:

— Скажи хлопцам, чтобы тикали отсюда! Через запасную... Пушай говорят, что я ломом их дубасить стал...

Но его не было слышно. Тогда Андрей отпустил кольцо. Рев мгновенно стих. Ухватив обеими руками лом, сверкая глазами, весь черный от угольной пыли, он кричал товарищам:

— Выбегай через запасную! Ребята, по-дружески прошу — выбегай сейчас же! Я гудеть буду, чтобы народ поднять... Пушай меня одного мордуют... Выскакивай, хлопцы, а то вдарю ломом! Живей! — Он замахнулся. Кочегары гурьбой бросились к запасному выходу.

Андрей набросил железные крюки на дверь, засунул свой лом между дверными ручками и опять схватился за кольцо. Вновь, потрясая воздух, заревел гудок, прерывистый, страшный вестник несчастья. Он заставил всех в городе выбежать на улицы. Он вздыбил редкие волосы Баранкевича. Он заставил побледнеть Врону и бросил в дрожь Дзёбека. В тюрьме напряженно прислушивались к этому реву. Из немецкого эшелона выскакивали солдаты и оглядывались вокруг. А гудок продолжал реветь...

В дверь котельной ломились охранники. Но окованная железом массивная дверь чуть вздрагивала под ударами их прикладов.

— Несите лестницу! Марш к окнам! Стреляй по нем, пся его мать! — кричал капрал охране.

Андрей узнал об опасности, лишь когда в окно грянул выстрел и пуля свистнула у его головы. Он невольно выпустил кольцо. Рев смолк. Спасаясь от нового выстрела, Андрей бросился к угольной яме.

Вытянув руки с карабином вперед, в окно втискивался легионер. Птаха метался в угольной яме, как пойманная мышь. Он чувствовал, что приходит конец его бунту. Его охватило отчаяние.

Окно было узкое, и легионер с трудом продвинулся в него одним плечом. Сзади его подталкивали. Тогда Андрей схватил кусок антрацита и, рискуя быть убитым, выскочил из ямы. Размахнувшись, с силой швырнул углем в окно и попал в лицо легионера. Тот взвыл. Лицо его вмиг окровавилось. Он уронил карабин и повалился на руки державших его снизу охранников. Карабин лязгнул о цементный пол котельной. Вновь бабахнул выстрел. Андрей ошалел от радости. Он бомбардировал окно каменным углем.

За окном послышались дикие ругательства. Люди с лестницы поспешно сползли на землю.

Андрею охватило неистовство. Он отстегнул свой пояс и привязал им кольцо к регулятору давления. Гудок вновь зарычал. Уже не прерывисто, так как Птаха прикрепил ремень наглухо.

Теперь руки Андрея были свободны. Боясь быть застигнутым врасплох, он непрерывно швырял углем в окно.

В пылу борьбы Птаха забыл, что в котельной есть еще два окна. Только когда из обоих нераскрытых окон вылетели стекла и со стен посыпалась штукатурка, Андрей с тоской понял, что с тремя окнами ему не справиться. Пули опять загнали его в угольную яму. В одном из окон появилось дуло карабина.

Андрей яростно швырнул туда камнем. Но выстрел из другого окна заставил его отпрянуть назад.

— Вот теперь конец, — сказал Андрей и чуть не заплакал. Его охватила апатия, расслабленность.

Он сразу почувствовал тяжелую усталость. И уже отказываясь от сопротивления, присел в углу ямы. Что-

то больно ткнуло его в бок. Птаха невольно схватился за предмет, на который наткнулся. Это был наконечник пожарной кишки, которой кочегары пользовались для смачивания угля.

В усталом сознании что-то сверкнуло.

— А-а, вы думаете, что меня уже взяли, сволочи, панские души! Сейчас посмотрим! — кричал он, хотя его никто не слышал из-за сумасшедшего рева.

Андрей бешено крутил колесо, отводящее воду в шланги. Пар с пронзительным свистом вырвался из брандспойта. Вслед за ним хлынула горячая вода. Угольная яма наполнилась паром. Андрию нечем стало дышать. Дрожащими руками он схватил брандспойт и, обжигая пальцы, страдая от горячих водяных брызг, направил струю кипятка в котельную.

И уже не думая о том, что его могут убить, хлестнул струей по окнам. Он плясал, как дикарь, от радости, слушая, как взвыли за окнами. Теперь, сидя между котлами, он ворочал брандспойтом, не высовывая головы, и поливал окна кипятком.

Сердце его рвалось из груди. Вся котельная наполнилась паром. По полу лилась горячая вода. Андрей спасался от нее на подмуровке котла. Ему было душно. Жгло руки. Но сознание безвыходности заставляло его продолжать сопротивление.

Рев несся по городу.



Могельницкий прискакал в штаб.

— Что у вас здесь творится? — резко спросил он Врону.

Капитан приложил руку к козырьку.

— Повидимому, серьезные беспорядки, пане полковник. Мой вахмистр пристрелил одного рабочего, оказавшего сопротивление. И вот на заводе отказались работать, митингуют. Я послал туда Зарембу... — внешне спокойно рапортовал Врона.

Эдвард зло кусал губы.

— Кто это гудит? Почему вы допустили до сих пор этот набат? Что, они захватили завод?

Врона немного опустил руку. Ему было неприятно

стоять навтыжку. Он ожидал разрешения стать вольно, как это всегда водилось между старшими и младшими офицерами из вежливости.

— Нет, на заводе наши охранники. Но один из кочегаров засел в котельной, и до сих пор его не удается выкурить оттуда.

Могельницкий со сдержанной яростью ударил рукой по эфесу палаша.

— Один человек, говорите? Послушайте, капитан, что это — насмешка? Один человек будоражит весь город, а вы спокойно наблюдаете.

За окном выл гудок, мощный, неустойчивый. Это выводило Могельницкого из себя.

Врона стоял перед ним неподвижно, как истукан, с застывшей на лице гримасой. Эдвард лишь теперь заметил свою оплошность.

— Вольно! Ведь вы же понимаете, что теперь не до этого,— раздраженно махнул он рукой.

Врона молча опустил руку.

За окном что-то затрещало, словно ломали сухие сучья, и смолкло. Могельницкий быстро подошел к окну.

— Это Заремба прокладывает себе дорогу,— объяснил Врона.

Могельницкий обернулся к нему.

— Как ведут себя немцы из эшелона?

— Пока ничего. В город ходят не меньше, чем взводом. Всегда наготове. К эшелону никого не подпускают... Их человек семьсот. Четыре орудия, броневомобиль. Разложения не заметно, офицеры на местах... В магазинах они забрали все продовольствие и расплатились расписками. Я приказал полицейским их не трогать, а магазины закрыть. Если будут ломиться силой, то придется что-нибудь предпринять.

— Да, да, их не надо трогать,— сказал Могельницкий уже менее раздраженно.— Скажите, как по-вашему, это все «их» работа?

Врона понял, о ком говорит полковник.

— Конечно. Одно воззвание чего стоит. Но все же не убей вахмистр этого хлопа, я думаю, было бы тихо.

— А вам что-либо удалось узнать?.. Кто это напечатал?

— Пока ничего.

Могельницкий прошелся из угла в угол, что-то решая. Затем подобрал палаш, сел к столу.

— Вот что, пане капитане,— сказал он решительно.

— Слушаюсь.— Врона опять вытянулся.

— Вы понимаете, пане Врона, если мы допустим такую обстановку в городе еще на один-два дня, то...

— Понимаю,— ответил Врона.

Могельницкий поднялся. Он поправил рукой высокий, обшитый золотым жгутом воротник шинели, словно ему было трудно дышать, и закончил свою мысль:

— Так будьте добры приступить к делу. Прежде всего — приказываю сегодня ночью расстрелять всю эту шваль в тюрьме. Выведите их за город куда-нибудь подальше. Пусть завтра об этом расклеят во всем городе извещение от моего имени.

— Слушаюсь.

— Затем, если кто-нибудь высунет нос на улицу после семи часов вечера,— расстреливайте! — Эдвард с силой натянул перчатку на руку.— Надо загнать скот в стойло. Стадо есть всегда стадо. На то и существует плетка.

За окном завывал гудок.

— И чтобы я больше не слышал от вас, пане капитане, таких ответов... Вроде того, что вы не могли справиться с одним человеком, который все-таки воет до сих пор.

— Там Заремба. Гудок должен прекратиться, пане полковник.

Могельницкий, не слушая его, пошел к двери.

— Вы поедете со мной.

Стоящий на часах жандармский капрал отдал им честь и, когда они сошли вниз, вошел в кабинет Вроны и сел у телефона.

Перед штабом выстроился взвод кавалерии.

Владислав Могельницкий ездил перед строем, прилипая толстым задом к седлу, то и дело поправляя обшитую серебром конфедератку. Увидев брата и Врону, дал шпоры коню и закричал, срываясь на визг:

— Взвод, сми-и-и-рно!



Эдвард сунул ногу в стремя, сделал усилие, чтобы «легко» вскочить в седло.

«Старею, что ли? Эти парижские лимузины отучили даже ходить,— с досадой подумал он и поморщился от боли.— А тут еще этот геморой! Совсем не для кавалериста...»

Врона подъехал к нему.

— Посмотрим, какие там «серьезные беспорядки»,— иронически сказал Эдвард и прикоснулся шпорами к бокам лошади.

Владислав взвизгнул команду, и сзади нестройно зацокали копыта.

Первую толпу они встретили у аптеки.

— В чем дело? — резко крикнул Эдвард, чувствуя, что у него запрыгала правая бровь.

Ближе всех к нему стояла полная интеллигентная дама, прилично, но бедно одетая.

— Сюда привезли троих раненых... Одной женщине глаз выбили,— ответила она по-польски и как-то виновато улыбнулась.

— Кто их ранил?

Дама смутилась и не нашла, что ответить.

— Тут на конях приезжали ваши же, господин офицер.

— Бьют народ ни за что ни про что...

Врона резко повернул лошадь в сторону, откуда слышались голоса.

— Кто это сказал?

В толпе началось движение. Из задних рядов уже удирали.

— Займитесь ими,— сквозь зубы процедил Эдвард и двинул лошадь вперед.

Толпа расплзлась перед ним, как мягкое тесто; в которое всунули кулак.

— Эй, вы! Марш по домам! Если еще хоть одна стерва появится на улице, то пусть простится с головой!

— Пане подпоручик, прикажите дать им плетей...— услышал Эдвард за своей спиной приказ Вроны.

Он резко дернул поводья и поскакал.

«А неприятная эта служба жандармская. Грязная работа!» — брезгливо поежился он. Такое же ощущение брезгливости испытал он впервые, когда поймал вошь у себя за воротом во время своих переходов через фронты.

Врона нагнал его.

— Я думаю, пане полковник, вам не следует одному далеко отъезжать от взвода. Сейчас пан Владислав справится там, и мы двинемся вперед.

— Ну, для этого стада хватит пока одной нагайки, — с презрением ответил Эдвард.

— Да, но если хоть один из них швырнет камнем...

Крики сзади стихли. Взвод приближался. Улица была пуста.

— Все это раньше делала полиция, а теперь, как видите, самим приходится очищать улицы от этого навоза.

Врона злорадно улыбнулся. «Привык небось жар чужими руками загребать, штабная крыса! Ничего, они с тебя спесь собьют немножко... Подожди, не то еще будет», — с каким-то удовольствием подумал капитан.

Врона всю войну провел в окопах. Был дважды контужен. С трудом дослужился до чина капитана. Он происходил из разорившейся помещицкой семьи. Неудачник в жизни, на войне он ожесточился до последней черты. Он ненавидел серую солдатскую массу, но ненавидел также и тех, кто за спиной фронта пьяно прожигал жизнь в далеких штабах, городах, наслаждаясь всем, что ему было недоступно. У него не было ни денег, ни связей, могущих вытащить его из окопной грязи, туда, в тыл, к угарной и веселой жизни. Попав в плен к австрийцам, он даже обрадовался, так как избегал опасности получить пулю в спину от своих же солдат, ненавидевших его за жестокость. В Австрии его как поляка завербовал в свой легион Пилсудский. И Врона опять принялся за ремесло профессионального убийцы, только уже по ту сторону фронта, сменив цвет мундира и кокарду. Когда немцы, не поладив с Пилсудским, посадили его в Магдебургскую крепость

(конечно, комфортабельно обставив это бутафорское заключение), а его легион расформировали, Врона сбежал в Варшаву, не желая больше драться в австрийской армии. В Варшаве его нащупали вербовщики польской войсковой организации¹, а затем вместе с поручиком Зарембой откомандировали к Могельницкому на Волынь.

— А вот опять сборище! — крикнул Эдвард.

Врона поднял голову. На перекрестке, где сходились две центральные улицы, у закрытой булочной действительно была густая толпа. Врона обернулся и махнул рукой. Взвод перешел в карьер и выстроился за их спинами.

Из толпы неслись крики:

— Почему хлеб не продают?

— Что это такое? Сдыхать, что ли, с голоду?

Чтобы освободить место для взвода, Эдварду надо было или отъехать в сторону, или пробиться через толпу. Он с силой ударил коня шпорами. Горячий конь вздыбился. Испуганный крик женщин и детей, возмущенные возгласы — все это не остановило Эдварда. Самолюбие не позволяло ему отступить. Кусая от бесшестства губы, он наехал на толпу.

— Да куда ж вы? Дети... смотрите, дети! — истерически закричала какая-то женщина.

Эдвард приподнялся на стременах, задыхаясь от нахлынувшей ярости.

— Са-а-абли!.. — взвизгнул Владислав.

Кто-то схватил лошадь Эдварда под уздцы. Это было последним толчком. Эдвард вырвал палаш из ножен. Еще секунда, и он разможил бы голову наглеца. Но резкий предостерегающий крик «Zurück!»² и мелькнувший у самой лошади красный околыш немецкой фуражки остановили его руку. Эдвард вырвал поводья. Только теперь он заметил в толпе нескольких немецких солдат, а в переулке военную повозку, повидимому приехавшую за хлебом.

Сзади Владислав доканчивал команду:

¹ Нелегальная военная организация Пилсудского.

² Назад!

— ...наголо!

— Отставить! — с бессильной злобой выкрикнул Эдвард.

Врона тоже заметил немцев. Они стояли теперь плотным рядом, преграждая ему дорогу, настороженно выдвинув вперед тяжелые винтовки с привинченными к ним короткими тесаками.

От толпы не осталось почти ничего. Она разбежалась, освобождая улицу. Только издали кое-кто из наиболее смелых наблюдал, чем окончится это неожиданное столкновение.

Гудок продолжал реветь. Он напоминал Эдварду о другой опасности. Кровь медленно отливала от его лица. Конечно, они могли смять эти несколько фигурок в темнозеленых мундирах. Но за ними стояли четыре орудия, броневедомость и семьсот штыков. Приходилось жертвовать самолюбием и идти на компромисс. Это было мучительно. Но расчет всегда побеждал в Могельницком.

— Что вам угодно? — сухо спросил он по-немецки того, кто схватил под уздцы его лошадь. Это был белобрысый лейтенант с голубыми близорукими глазами, которые настороженно следили за Эдвардом сквозь стекла пенсне.

— Мне угодно, чтобы вы вложили свою саблю в ножны.

Эдвард следил, как смешно подпрыгивал пучок усов под носом у лейтенанта, когда тот говорил.

— Если вас это нервирует, то я могу оказать вам такую любезность, — съязвил Эдвард и не спеша вложил палаш в ножны, слегка порезав при этом палец. Зажимая другим пальцем порез, Эдвард выразительно посмотрел на лейтенанта, затем на солдат.

Лейтенант уже застегивал кобуру, в которую только что вложил револьвер. Затем он обернулся к солдатам, и резкая, как лай, команда вскинула винтовки солдат на спину.

— С кем имею честь говорить? — задал в свою очередь вопрос немец.

— Полковник граф Могельницкий, — приложил руку к козырьку Эдвард.

— Полковник? Позвольте спросить, какой армии? Я что-то не видел такой формы,— еще более прищурился лейтенант.

— Польской армии,— медленно отчеканил Эдвард, чувствуя, что его опять охватывает ярость.

— Польской армии? — удивленно переспросил лейтенант.— Нам неизвестна такая армия.— Короткие усики его опять прикоснулись к носу.

— Неизвестна! Что ж, я думаю, в дальнейшем вы с ней познакомитесь,— со скрытой угрозой ответил Эдвард и подобрал поводья.— Поговорите с ним, пане Врона... Если хлеб нужен, пусть возьмут. Я не могу больше разговаривать с этим швабом. Еще несколько слов, и я разобью ему голову вместе с его дурацкими очками,— сказал он по-польски, и объехав немца стороной, поскакал вперед.

Владислав со взводом последовал за ним.



У тюрьмы все было спокойно. Возле ворот — кучка легионеров вокруг тяжелого пулемета.

— Вы помните, пане Врона, что я вам сказал?

— Я обязан помнить, пане полковник. Здесь вахмистр ведет последнее дознание.

Гудок ревел. Эдвард остановил коня, долго прислушивался к этому реву, и правая бровь его вновь запрыгала. Он пытался прекратить тик прикосновением руки, но это не помогло.

— Капитан, скажите, чтобы из тюрьмы позвонили в штаб и всех, кто там есть, послать к заводу... Видно, Заремба тоже не смог справиться. Приходится самому заняться этим. Я-то уж заткну ему глотку.— Он ударил коня.

Взвод едва поспевал за ним.

Люди бросались во дворы, едва завидя мчавшихся всадников. Не успевшие спрятаться жались к стенкам. Если где-либо они встречали кучку людей, то она сразу таяла. Только ближе к заводу эти кучки становились все гуще и рассеивались уже не так быстро.

Еще один поворот, и толпа запрудила все подходы к заводу. Здесь было несколько тысяч человек.

Гул толпы смешивался с ревом гудка. При виде этого огромного людского сборища Эдвард растерялся. Он не ожидал такого размаха. Невольно он остановил коня. К нему подскакали Врона и Владислав.

Надо было что-то предпринимать. Стоять неподвижно перед толпой было невозможно.

— Капитан, прикажите им разойтись. Немедленно же!

Пока Врона кричал в толпу, Эдвард отдавал приказания:

— Снять карабины! Стрелять только по команде!

— Займите вот тот переулочек... В плеть тех, кто там торчит!

Раздавая удары направо и налево, legionеры вытеснили людей из переулка и выстроились дугой.

— В последний раз,— кричал Врона,— приказываю...

Толпа, словно ее разрезали надвое, откатилась, оставляя открытой дорогу к заводским воротам, и застыла в неподвижности.

Эдвард отъехал в сторону. Владислав и Врона — в другую.

— Пока стрелять в воздух,— тихо сказал Могельницкий.— Передайте команду по взводу.

Легионеры вскинули винтовки на прицел. В толпе началась паника.

Но расстояние между толпой и legionерами увеличивалось медленно.

Стоящие сзади, не зная, что делается впереди, невольно сдерживали хлынувшую на них людскую волну. Спасаясь от гибели, передние валили с ног стоящих сзади, пробивали себе дорогу, увеличивая панику. Эдвард торжествовал: «Стадо есть стадо».

— Пли! — крикнул он.

Залп полоснул по воздуху, словно кто-то рванул надвое огромное полотнище. Толпа откатывалась уже стремительней, оставляя на земле сшибленных людей. Тем, кто еще стоял на ногах, казалось, что это лежат убитые и раненые.

— Пли! — крикнул Эдвард.

Он прекратил эту команду, лишь когда взвод расстрелял всю обойму.

Площадь была наполовину свободна. Человеческая лавина откатывалась все дальше, все стремительней...

Заводские ворота открылись. Взвод Зарембы, обнажив сабли, помчался за убегающими.

— Марш вперед! — крикнул Эдвард. — Загоните их в стойла!

Взвод Владислава ринулся вперед. Эдвард и Врона поскакали к воротам...

Полчаса гонялись за людьми оба взвода.

На улице не осталось ни души. Избитые и раненые сами уползали, спасая свою жизнь.

Вслед за Могельницким на заводе появился Баранкевич и городской голова Сладкевич. До сих пор они не осмеливались показываться.

На заводском дворе стояло человек восемьсот рабочих.

— Почему вы их не выпустили отсюда? — с недоумением обратился Эдвард к подпоручику Зайончковскому, которого Заремба оставил здесь в резерве.

Подпоручик, совсем еще мальчик, неумело козыряя, смущенно оправдывался:

— Так приказал пан поручик. Он боялся, что они соединятся с этими.

— Тоже политик! Завод надо было очистить сразу же. А то там, на улице, думали, что здесь их всех перевешали. Худшую провокацию трудно придумать! — раздраженно говорил Могельницкий, пожимая руки адвокату и сахарозаводчику.

— Что же это творится? Это же бунт! Надо положить этому конец!

— Не волнуйтесь, пане Баранкевич, все, что нужно, будет сделано, — успокоил его Эдвард.

— Но у меня завод завален свеклой. Она у меня сгниет! Я не могу допустить, чтобы завод стоял... Это каждый день мне стоит несколько тысяч, — раздраженно говорил Баранкевич.

Эдварду противен был этот толстяк, о жадности которого ходили анекдоты.

— Есть вещи посерьезнее свеклы, пане Баранкевич. В Павлодзи восстание. В Холмянке и Сосновке поднялись мужики...

— А как же с нашими? — испуганно вскрикнул подпоручик Зайончковский.

— Не беспокойтесь, подпоручик: по дороге в город я встретил вашего отца и всю семью. Они теперь у нас. Все живы и здоровы.

— Простите, пане полковник...

— Ничего, я понимаю вас.

— Потом эти немцы на вокзале... Берут в магазинах все, что заблагорассудится,— вмешался Сладкевич.

Могельницкий обернулся к нему и сказал, не скрывая пренебрежения:

— Я думаю, пан Сладкевич не откажет нам в безопасности пойти поговорить вот с этими,— указал он на рабочих.

Во двор уже въезжал Владислав с частью взвода. Другая часть патрулировала улицы.

— Приказ выполнен, пане полковник,— с особым удовольствием отчеканивая последние два слова, доложил он Эдварду.

Из-за рева гудка Эдвард едва расслышал его. Он подошел к брату. Владислав нагнулся к его голове.

— Бери взвод и отправляйся домой. Здесь обойдемся и без тебя, а там никого нет. Расставь часовых и будь начеку. Держи по телефону связь со штабом. Ну, с богом!

Владислав откозырнул и стал поворачивать лошадь. В ворота въезжал Заремба со своими.

— Пане Баранкевич, идите успокойте свою супругу. Порядок восстановлен. Вечером приезжайте к нам, поговорим. А я сейчас займусь этим.— И Эдвард посмотрел на фонтан из пара, поднимающийся над крышей котельной.



— Пане Заремба, прикажите рабочим оставить завод. Все равно этого попугая никто не слышит. Чтобы через двадцать минут здесь никого не было. А мы пойдем затыкать глотку этой бестии.

Подпоручик Зайончковский на ходу рапортовал Эдварду:

— Теперь он, пане полковник, закрыл пар. Видно, ему там дышать нечем стало. Мы обрадовались было. Но когда мы полезли к окнам, то он выстрелом ранил одного солдата... Видите ли, при первой атаке легионер, которого он ударил камнем, уронил туда карабин. В нем было четыре патрона. Падая, карабин выстрелил. Значит, осталось три. Теперь этот бандит выстрелил. Значит, у него два патрона... Потом он всегда может пустить шланг в работу. Он там как в крепости... Механик говорит, что пара хватит еще на несколько часов.

— Позовите сюда механика.

Глава седьмая

Василек пробрался на завод с первой группой рабочих, пришедших на смену. Он во что бы то ни стало хотел первым рассказать брату, как убили дядю Серегу, их соседа.

Василек не раз пробирался к брату даже во время работы, как уж проскальзывая между рабочими, избегая встреч со сторожами. Часто целые смены проводил с братом в котельной, стараясь быть ему чем-нибудь полезным. Кочегары любили этого шустрого мальчишку, быстро постигающего искусство кочегарного дела.

Один раз он даже попался на глаза пану Струмилу, но кочегары заступились за мальчика, и механик махнул рукой. Мальчик помогал кочегарам разгружать вагоны с углем, знал в котельной все ходы и выходы и вскоре нашел себе удобную лазейку, через которую пробирался в котельную, минуя всех дверных контролеров. Он забирался на угольный двор, залезал в широкую вентиляционную трубу, по которой спускался к выгребной яме, куда сваливался отработанный угольный шлак. Потом по железной балке добирался он к угольной яме, а оттуда, отвалив два-три куса антрацита, попадал в котельную, в выемку, из которой брали уголь. Свой секрет Василек не выдавал никому, даже брату. Ему было приятно появляться неожиданно и вызывать

восхищение кочегаров ловкостью, с которой он проскальзывал мимо дверных контролеров.

Ужас охватил Василька, когда он узнал, что Андрий заперся в котельной и что его хотят убить. Мальчик с замирающим сердцем следил за попытками легионеров забраться в котельную.

Когда эти попытки провалились, радости его не было границ. Василек метался среди рабочих и, умоляюще глядя полными слез глазами, спрашивал знакомых кочегаров:

— Скажите, дядя, что они с ним сделают?

Кочегары хмуро отмалчивались. А один взял его за руку и отвел в сторону:

— Улепетывай отсюдова, пока живой! Один уж достукался... Или хочешь, чтобы и тебе башку свернули под горячую руку?

Василек увернулся от него. Заливаясь слезами, опять побежал смотреть, что делают легионеры.

За тем, что происходило в котельной, наблюдали все рабочие, задержанные на заводском дворе. Отчаянная отвага одиночки, перед которой оказались бессильными вооруженные легионеры, покорила сердца. Сумрачные, измученные тяжелой работой люди чувствовали в сопротивлении одного человека укор своей пассивности. А рев не давал забыть об этом ни на одну минуту. Теперь судьба Птахи глубоко тревожила всех. Восхищаться им стали открыто, особенно женщины. Послышались негодующие голоса:

— Стыдились бы, мужики, глядеть! Одного оставили на погибель, а сами — деру!

— Больше с бабами воюете...

— Там они герои — бабам зубы выбивать...

Наэлектризованные этими криками, гудком и всем происходящим у них на глазах, рабочие отказывались уходить со двора. Легионеры пустили в ход штыки. Кавалеристы теснили их конями и хлестали плетью.

Заремба охрип от крика. Сопrotивляясь, разъяренные рабочие стащили с лошади одного легионера. Его едва отбили. С большим трудом эскадрон Зарембы очищал двор.

Василек не находил себе места. Эту мятущуюся маленькую фигурку уже заметили legionеры.

— Эй, ты! Чего тебе здесь? Стой, пся твоя мать! Куда бежишь? — крикнул на него один.

Василек нырнул в толпу и, работая локтями и головой, забираясь в самую гущу. Боясь, чтобы его не поймали, он убежал через служебный ход на угольный склад и тут только вспомнил о своей лазейке...

Добравшись до угольной ямы, Василек долго в темноте ползал по углу, больно натыкаясь на камни коленями и головой, ища прохода к выемке и не находя его. Он был засыпан вновь привезенным углем. Тогда мальчик стал разгребать уголь, оттаскивая в сторону тяжелые куски. Один из них скатился назад и больно ударил его по босым ногам. Василек упал и долго плакал. Но, наплакавшись, вновь принялся за работу. Он уже вырыл небольшую яму. Но разгребать становилось все труднее. Уголь приходилось таскать наверх и бросать подальше, чтобы он не катился на голову. Угольная пыль лезла в нос и глаза. Он чихал и отплевывался. Но углу конца не было видно. Василек подумал, что он не там копает. Ему стало обидно и страшно. Он опять заплакал.

— Андрей, Андрю-ю-юшка!.. — закричал он изо всех сил.

Андрей подскочил, словно его ужалили.

— Тьфу, черт!

Ему показалось, что где-то за спиной плачет Василек.

Птаха стоял в угольной яме, держал в руках карабин и не отрывал глаз от окон.

Брандспойт лежал тут же, рядом. Пар, который чуть было не задушил его, медленно выходил через окна. В котельной было мрачно и душно.

Андрю иногда казалось, что все это — дурной сон. Уже прошло три часа, а его никто не выручал. И все, что он сделал, ни к чему. Его все равно возьмут и застрелят. И никому до этого нет дела. Все в стороне, только он один, Птаха, должен положить свою голову!..

— Андрюшка! — где-то совсем близко кричал Василек.

Сверху скатился камень и больно ударил Андрия по

плечу. Вслед за тем радостный крик: «Это я, Васька!» — удержал Птаху от выстрела.

Настоящий, живой Василек спускался к нему. У Андрия застучали зубы при мысли, что он едва не застрелил его сейчас.

— Андрюшка, это я... Там их понаехало еще много... Целый двор на конях. И самый главный ихний... Тикай отсюда! Тут дыра есть... Я скрозь нее каждый раз лазал. Только сейчас угля насыпали доверху, я не мог пролезть,— кричал Василек в ухо брата, обнимая его.

Сердце Андрия заколотилось.

— Откуда ты залез сюда?

— С угольного двора.

— Там хода нету...

— А я через трубу. Она широкая! И ты пролезешь. Идем, Андрюшка, идем! Бо их там наехало! Дядя Остап говорит, что они тебя убьют!

Василек тянул Андрия к отверстию.

— Лезь, а я за тобой!

Василек покарабкался вверх. Птаху еще раз оглядел котельную, затухающие топки и полез за ним. Василек уже ожидал его там. Андрий осторожно взвел предохранитель и подал ему карабин. Затем, царапая плечи, втиснулся в дыру и, хватаясь руками за осыпающийся уголь, с большим трудом выбрался наверх.

Василек торопил его. Андрий схватился руками за тяжелую каменную глыбу и свалил ее в дыру. Мальчик помогал ему, руками и ногами сталкивая туда куски антрацита. Через минуту дыра была завалена.

Василек вел Андрия своими путями. Птаху с ужасом думал, что будет, если он не влезет в вентиляционную трубу. С огромным облегчением вздохнул он, когда вслед за Васильком просунул голову и плечи и стал медленно продвигаться вперед.

Когда они выбрались наверх, шел мелкий дождь. Угольный двор находился вне основной заводской территории, от которой он был отделен высокой каменной стеной.

Сюда шли подъездные железнодорожные пути.

Василек пошел на разведку. Скоро он вернулся и сообщил, что на путях никого нет.

— Там пустые вагоны стоят в три ряда. По середине под вагонами можно пройти, и никто не увидит. А около задних ворот никого нету. Их на замок закрыли. Мы на вагон влезем, а с вагона на ворота — и айда в поле! — говорил Василек в самое ухо Андрию.

Они сползли с угольной горы и, согнувшись, побежали между вагонами.

План Василька оказался прекрасным. Последний вагон стоял у самых ворот. Они перелезли через решетчатые железные ворота и бросились бежать по железнодорожному полотну.

Василек летел впереди, как птица, расставив руки и делая двухметровые прыжки. Он часто оглядывался, поспевает ли за ним брат. Андрий бежал что есть мочи. Дождь хлестал им в лицо. Низкие, тяжелые тучи заволокли все небо.

Андрий не бросал карабина. «Все равно убьют, если поймают. Так хоть порешу двоих под конец», — думал он, не веря еще, что спасется. И только когда завод остался далеко позади и подъездные пути стали поворачивать к вокзалу, Андрий остановился и, обессиленный, опустился на насыпь...

— Стой, Василек, не могу больше! — крикнул он и схватился рукой за сердце.

— Тикаймо, Андриюшка, тикаймо, а то догонят! — Боязливо озираясь, мальчик нетерпеливо подпрыгивал. Промокший до последней нитки, он зябко ежился от холода и испуга. Забрызганные грязью босые ноги его окоченели. Стоя на шпале, он нет-нет да тер ногу об ногу.

Ему казалось, что Андрий сидит очень долго.

— Уже будет, Андриюшка, побежим!

Птаха устало повернулся, посмотрел на ноги Василька и на какое-то подобие фуражки, блином прилипшей к его голове, на всю его согнувшуюся в три погибели фигурку в старой женской кофте, и острая жалость и горькая обида на собачью жизнь, при которой он не мог заработать даже на сапоги и одежду этому ребенку, сдавили ему горло.

«А теперь и куска хлеба не будет. И самому деваться некуда...»

— Андрюшка,— жалобно затанул Василек.

Андрей поднялся. Оттуда, где в густом тумане утонул завод, несло грозное завывание гудка.

— Гудит,— с гордостью прошептал он, с наслаждением прислушиваясь к густому басу своего сообщника. И уже не побежал, а пошел быстрым шагом. Василек трусил мелкой рысцой рядом, поминутно оглядываясь.

С высокой насыпи Птаха увидел знакомый домик у водокачки и только теперь поверил в свое спасение.

— Василек, братишка! Пацаненок... Васька, стервец! Плевали мы теперь на них! А за тебя я еще рассчитуюсь...— Он обнял братишку, прижал его к груди. Благо, не надо было скрывать слез. Кто рассмотрит их, когда дождь обрушивается целыми потоками.



— Мы можем начать только ночью. А выйти сейчас кучкой в тридцать человек — глупость,— уже сердито отрезал Раевский.

Чобот упрямо мотнул головой.

— До ночи они всех поразгоняют и наших в тюрьме порешат. Сейчас — самое время. Я не согласный — и кончено!

Вслед за ним горячо заговорил Метельский:

— Товарищ Сигизмунд, Чобот прав. Когда массы вышли на улицу, когда рабочих расстреливают, мы обязаны выступить с оружием. Пусть нас разгромят, но мы не можем не выступить. Иначе мы покроем себя позором... Ведь это же аксиома марксизма... Пусть выступление преждевременно, но мы должны его возглавить, раз оно уже началось.

Раевский неодобрительно скосил на него глаза.

— Возглавить не значит плестись в хвосте.

Метельский вспыхнул.

— Первый раз слышу, что выступить с оружием,— значит плестись в хвосте. Мне странно слышать это от вас...

— Факт,— прогудел Чобот.

Метельский нервно заходил по комнате. Лицо его, с тонкими чертами, с высоким красивым лбом, вновь

стало бледным. Большие темные глаза светились внутренним огнем. Во всей его фигуре было что-то хрупкое. Раевский еще раз посмотрел на молодого врача и уже более спокойно ответил:

— Мы слишком затянули наше совещание. Думаю, пора кончить этот бесцельный спор... Чобот и доктор против. Я и Ковалло — за то, чтобы выступить ночью. К этому времени мы соберем и вооружим около двухсот человек железнодорожников и сахарников. К этому времени придет Щабель из Сосновки и, возможно, с ним крестьяне... Выступать же, чтобы только выступить, это не по-большевистски. Товарищ Метельский, нас заклеймят позором, если мы бросим тридцать коммунистов на верную и бесполезную гибель. А если вас послушать, то вы дадите врагу эту возможность. Я еще раз повторяю: все коммунисты должны сейчас мобилизовать рабочих. Да, да! Нужно поговорить с каждым, на кого есть надежда, что он возьмется за оружие. Вы сами видели, как кучка вооруженных панов расправлялась с тысячами людей. Почему это? Потому, что рабочие не были организованы, их били.

Для того и существует партия, чтобы организовать отпор. Здесь меньше всего нужны цветистые фразы. Давайте подумаем над тем, как лучше и быстрее вооружить рабочих. Я думаю, обо всем здесь говорено достаточно. За это время товарищи, посланные нами, сделали больше, чем мы здесь... У нас есть оружие, но нет еще патронов. Об этом надо помнить. Я против вашего предложения добывать патроны отдельно и везти их сюда. Склад близко у вокзала, и достаточно малейшей неудачи, чтобы мы не получили патронов. Поэтому отряд собирается здесь и общей массой движется к патронным складам, снимает караульного, захватывает патроны и, уже будучи вооруженным, начинает наступление на город... Чобот протолкнет на завод две платформы с оружием и патронами. В поселке мы вооружим остальных, кто еще не успел или не решился примкнуть. Нашей опорой будет поселок. Большинство отряда будет оттуда. Вот — все!

Ковалло одобрительно крикнул.

— Очень жаль, что здесь нет товарища Патлая. Но

ночью мы его освободим, так как тюрьма будет первым пунктом в городе, на который мы поведем наступление. Итак, решено, товарищи. Я, как председатель, предлагаю вам приступить к действию сейчас же. Но чтобы мы были уверены, прошу вас ответить — подчиняетесь вы этому?

Чобот обиженно посмотрел на Раевского.

— Какое может быть сумление? Что, мы партийную дисциплину не понимаем?

Раевский устало улыбнулся. Он поднялся из-за стола, подошел к Метельскому, дружески положил ему руку на плечо.

— Скажите, доктор, вы достанете все необходимое для перевязок? Без крови не обойтись ведь...

— Все, что нужно, я достану. Куда прикажете мне сейчас направиться?

— Не будьте ребенком, Метельский. Не время! Сходите на вокзал, прощупайте немцев. Вы как железно-дорожный доктор сможете поговорить с офицерами. Какое у них настроение? Хорошо бы знать, какую немцы займут позицию, когда начнется наше столкновение с легионерами.



Они вместе вышли на крыльцо. Вечерело. Шел дождь. Было сыро и пасмурно.

— Погода хорошая, — сказал Раевский. — Что ж, друзья, расстанемся до девяти вечера. Ты, Григорий Михайлович, сходи к своим деповским. Пусть человек пять членов партии придут сюда. Нужно, чтобы у нас здесь была опора. Если у кого есть оружие, пусть захватят... А вот и твоя ласточка летит! — Раевский мягко улыбнулся.

Сверху сбегала Олеся.

— Все, что ты поручил, батя, я сделала, — сказала она запыхавшись.

Она немного смущалась чужих. Промокшее платье прилипало к ее телу, и она торопилась проскользнуть в комнату.

— А Раймонд где? — задержал ее Раевский.

— Мы с ним в городе расстались часа два назад. Он

сейчас в поселке... Ядвига Богдановна понесла на вашу старую квартиру какой-то сверток с бумагами... Раймонд просил передать, что у тюрьмы стоят пять человек и пулемет. Я забежала к Воробейко, так он сказал, что паровоз будет,— быстро передала Олеся и шмыгнула в комнату.

— Хорошая у тебя дочка,— с грустью вздохнул Чобот. Он был бездетный.

— Спасибо. Жаль, что одна у меня. А девчурка как будто ничего,— неожиданно нахмурившись, тихо ответил Ковалло.

Дождь хлынул сильнее. Косые струи залили крыльцо. Метельский нахлобучил шляпу и запахнул резиновый плащ.

— Пошли?

Раевский проводил их глазами до самой будки. Лишь когда они разошлись в разные стороны, он вошел в дом.

Олеся уже успела переодеться и вышла к нему из своей комнаты.

— А вы, наверное, ничего не ели? — смущенно спросила она, выжимая мокрую косу.— Я сейчас сварю картошки и принесу квашеной капусты... Батько никогда не догадается поставить горшок в печь. Я ведь ему приготовила,— с шуточным недовольством говорила она.



Могельницкий с холодной яростью щелкал концом плетеной нагайки по голенищу сапога.

— Быстрее соображайте, пане Струмил! У меня нет времени. Вы допустили это безобразие, и, если в течение десяти минут не придумаете, как прекратить гудок,— боюсь, что мне придется расстрелять вас.

Эдвард видел, как у механика заплясали коленки. Он даже не посмотрел ему в лицо.

— Смилуйтесь, пане полковник, в чем же моя вина?

— Не оправдывайтесь, а скажите, как его выкурить оттуда.

— Я уже думал...

— Плохо думали,— оборвал его Эдвард.

Они стояли в машинном отделении.

— Нельзя ли пар пустить к нему?

— Он выключил машинное отделение,— с отчаянием промямлил Струмил.

И вдруг, широко раскрыв рот, так и застыл с этим идиотским выражением, осененный какой-то идеей. Радостно хлопнул себя по лбу:

— Есть, нашел! Пан полковник меня надоумил. Мы закроем дымовую тягу. Тогда он задохнется от дыма...

— Действуйте.

Через полчаса, когда густой, черный дым перестал валить из окон котельной, Эдвард приказал:

— Проверьте!

Запасная дверь открылась, и капрал, за которым стояло несколько легионеров, залезших в котельную, кашляя и моргая слезящимися глазами, растерянно доложил:

— Никого не нашли, пане полковник...

— Что-о-о? — Эдвард до хруста в пальцах сжал рукоять нагайки.

Из котельной пахнуло угаром. Эдвард резко повернулся и, ни на кого не глядя, пошел к выходу.

Заремба, Врона, Зайончковский и Струмил вошли в котельную. Эдвард ходил по двору, не обращая внимания на проливной дождь.

— Ну? — недобро спросил он, когда Врона и Заремба вернулись.

Зайончковский и Струмил сочли за лучшее не показываться ему на глаза.

— Его действительно нет... И не придумаешь, куда он мог скрыться...

Теперь, когда замолк гудок, стало как-то особенно тихо.

— Значит, там никого не было? Или как все это прикажете понять?

— Был, но куда ушел — ума не приложим... — развел руками Заремба.

— Значит, вы его упустили?

— Этого не могло быть — все двери охранялись. Ничего не пойму, пане полковник...

— Если бы вы не были боевым офицером, поручик, я поступил бы с вами иначе. Пανε Врона, когда мы приведем город в порядок, приказываю посадить поручика на пятнадцать суток под строгий арест. Эй, кто там, подать коня!



Домик у водокачки наполнялся людьми. Первой пришла Ядвига. Пока Олеся возилась в кухне у печи, она успела рассказать мужу все новости.

За ней появился Воробейко. Он вынул из-под пальто разобрannую двустолку и патронташ. Прикрепив стволы к прикладу, зарядил ружье и с удовлетворением поставил его в угол.

— Я патроны набил картечью. На двадцать шагов смело можно пұлять... Ночью не разберешь, с чего стреляют, а грому наделает достаточно. Для начала ничего! А это на закуску,— с гордостью сказал он, вынимая из кармана обойму с немецкими патронами.— Пять штук... У соседнего мальчишки выпросил. Подобрал где-то, чертенок. Ему на что? А нам дозарезу... Дадим пятерым по патрону, каждый по разу бухнуть сможет...

Воробейко бережно положил обойму на стол. Вода текла с него ручьями. Но помощник машиниста был в хорошем настроении. Он смешно шевелил своими белесыми бровками и, часто шмыгая носом, оживленно рассказывал, каких «отчаянной жизни» парней он приведет.

— На ходу подметки рвут! — не нашел он более сильного выражения.— Как совсем стемнеет, я приведу их. А сейчас я понесся назад. Там еще поговорить надо кое с кем, да и паровоз пристроить. Кабы не немцы, так это бы плевое дело... Принес их черт как раз! Говорят, сейчас им вперед ходу нет — там им панки пробки ставят... Ну, я пошел,— заторопился он.

Уже в сенях вспомнил что-то, вернулся.

— А не принесть ли вам пока винтовку из камеры? А то занесет сюда нелегкая какую-нибудь стерву, отбиться нечем!

Раевский кивнул головой.

Когда Воробейко вернулся, в доме уже были Раймонд и несколько рабочих. Среди них — высокий белокурый юноша, которого Раймонд познакомил с отцом.

— Это Пшеничек. Он тебе расскажет про Патлая и других товарищей. Я его случайно встретил у Степового.

Раевский крепко пожал юноше руку.

— А это, — шепотом добавил Раймонд, указывая глазами на входящих рабочих, — пулеметчики. Ты, помнишь, говорил, чтобы я познакомил тебя? Вот этот высокий, Степовый, а другой, усатый, Гнат Верба, — это старые солдаты. Пулемет они, между прочим, принесли в мешках по частям. Мы его сейчас соберем на водокачке. Лента есть, только патронов нет... Остальные придут позже, как ты приказал.

В комнате становилось тесно. Высокий рабочий проверял принесенную Воробейко винтовку.

— Новенькая! Штык прикрепляется вот так: раз, два — и готово!

Раевский расспрашивал рабочих о настроении в поселке.

Ядвига ушла помогать Олесе. Раймонд тоже пошел на кухню, позвав с собой Пшеничека.

— Вот, Олесья, новый товарищ. Помните его?

Пшеничек, не зная, куда деть мокрую фуражку, крутил ее в руках. Ему уже рассказали об аресте отца. Тревога за старика не давала ему покоя.

— Присаживайтесь здесь вот, на лавке. Хотя и тесно, но уж извиняйте, — пригласила Олесья и ловко высыпала из горшка в большую миску вареный картофель.

Ядвига поливала маслом кислую капусту.

Раймонд чувствовал, что необходимо сказать девушке об Андрее.

— Олесья, вы знаете, кто это гудит?

— Нег, а что?

— Говорят, это Птаха закрылся в котельной.

Черные брови девушки встрепнулись. Она не чувствовала, что горячий чугун жжет ей пальцы.

— Как Андрей? Один?

— Да. Его окружили... До сих пор он отбивается от них.

Пшеничек следил за Олесей грустным взглядом.

— Как же так, Раймонд? Почему его оставили? Что ж он один делает?

Раймонд не мог смотреть ей в глаза. Он вышел из кухни.

— Отец, ты помнишь, я тебе говорил об Андрии Птахе?

— Помню.

— Это он гудит на заводе. Его убьют. Разреши нам, отец, прошу тебя...

Раймонд чувствовал, что за его спиной стоит Олеся.

— Разреши нам... Сейчас еще товарищи придут из поселка... Все знают Андриюшу. Разреши нам выручить его!

— Да, жаль парня! Кончат они его, — негромко сказал стоящий у двери высокий рабочий, тот, кого Раймонд назвал пулеметчиком.

Брови Сигизмунда сошлись в одну сплошную линию.

— У нас нет патронов. И притом выступить по частям нельзя.

Никто не шевельнулся. Раймонд стоял перед отцом, как немая просьба.

Раевский посмотрел в широко открытые глаза девушки, и она поняла, что он не уступит.

— Господи! Неужели у вас нет сердца? — чуть слышно прошептала она.

Седая голова Раевского на несколько секунд устало склонилась на руку. Концы усов сурово свисли вниз. Олеся вспомнила, что этот человек не спал две ночи. А сколько таких бессонных ночей было до этого! С какой любовью и уважением говорит о нем отец.

Этот редко улыбающийся человек всегда встречал ее ласково. Ей стало стыдно своей первой мысли...

Гудок внезапно оборвался. Несколько секунд никто не проронил ни слова. Олеся зарыдала и бросилась к себе в комнату. Упав на кровать, она содрогалась от рыданий.

Ядвига молча гладила ее по голове. В дом входили все новые и новые люди. Машинное отделение водоканализации, сарай, большая комната и кухня едва вмещали пришедших. Вернулись Ковалло, Чобот, с ними железнодорожники.

Всех мучил вопрос, почему замолчал гудок.

— Добрались-таки!..

И вдруг в дверях появился Птаха. Сзади него — Василек.

— Вот те на!.. — ахнули все.

Птахе почудилось в этом возгласе какое-то разочарование, почти раздражение.

— Птаха, ты? — крикнул Раймонд, выбегая из кухни.

— А то кто же? — буркнул Андрий, удивленный множеством почему-то собравшихся здесь людей и тем, что у мостика их с Васильком остановил вооруженный Воробейко.

Заговорили все сразу.

— Смотрите, говорили, что он гудит на заводе, а он себе гуляет!

Услыхав восклицание Раймонда, Олеся вбежала в комнату. Ковалло исподлобья недовольно взглянул на Андрия:

— Тут про тебя сказки ходят, будто ты гудишь, а выходит, зря?

— Значит, там кто-то другой. Со страху те балды кочегары перепутали...

— Кто же гудел?

— Отчаянный, видать, парень!

— Настоящий боец! Замечательный человек! Очень жаль, если эти негодяи его убили, — взволнованно сказал Раевский и поднялся во весь рост.

У Андрия потемнело в глазах от обиды. Измученный, похудевший за эти несколько часов, он стоял, низко опустив голову, измокший, весь испачканный углем. Этого никто не заметил. Бывает так: люди, отвлеченные чем-либо волнующим, не замечают того, что в спокойной обстановке сразу бросилось бы им в глаза.

Про Птаху тотчас же забыли. Он был досадным эпизодом. Его считали героем, а он оказался праздно

болтающимся парнем. Это вызвало у всех чувство недовольства, даже обиды за ошибку.

Олесе стало стыдно своих слез и того, что их все видели и могут всякое подумать о ней. То, что Птаха попал в такое нелепое положение, хотя и без вины с его стороны, больно задело ее девичье самолюбие.

Она смерила жалкую фигуру Андрия обидным взглядом. «И чего я в нем видела хорошего? Стоит как дурак! Хоть бы ушел, что ли!» — зло подумала она.

Раймонд старался не встретиться с ней взглядом. Ему было неловко.

Василек возмущенно выглядывал из-за спины брата. Он не понимал, как это Андришка терпит. «По-ихнему, так мы и на заводе не были? А то, что мне углем пальцы поотбивало, так это их не касается, — почему-то именно о пальцах вспомнил он. — А еще мамка пороть будет», — с тоской подумал он и готов был заплакать. Он уже начал сморкаться.

Андрей поднял голову.

Олеся видела, как внезапно побледнело его лицо. Он шатнулся и, чтобы не упасть, схватился рукой за стену.

«Что он, пьяный, что ли? Только этого не хватало!» — с испугом подумала Олеся, но что-то подсказывало ей иное. Ей стало жалко его. Она подошла к нему и тихо сказала:

— Чего ты здесь торчишь? Пройди на кухню. На кого ты похож! Тоже герой...

Андрей сделал шаг вперед, отодвинул ее рукой в сторону.

— Так, значит, с меня надсмешки строите? Я жизни не жалел... Вы все разбежались, меня одного оставили на расправу! Я один с ними бился, от вас подмоги ждал, а вы здесь прохлаждались... А теперь надсмешки... — Андрей глотал слезы.

Все вновь смотрели на него. Его натянутый, как струна, голос, его волнение, весь вид, истерзанный и возбужденный, заставили всех посмотреть на Андрия иными глазами.

Птаха больше не мог говорить. Шатаясь, он пошел в кухню, через нее — в комнату Олеси. Здесь Андрей

опустился прямо на пол и так лежал в полузабытьи. Ошеломленная всем этим, Олеся тщетно пыталась добиться у него объяснения.

Зато Василек охотно рассказывал в кухне Раймонду и Пшеничке обо всем происшедшем. Маленького свидетеля повели к Раевскому. Василек, освоившись и обогревшись, повторил свой рассказ, не преминув добавить:

— А ружжо Андрюшка с собой взял, ей-бо! Оно за сараем стоит. Сейчас принесу.— И, не ожидая согласия, исчез за дверьми.

Скоро он вернулся.

— Во! Заряженное.

Сигизмунд пошел в комнату Олеси. Птаха все еще лежал на полу.

Раевский приподнял обеими руками его голову. Из глаз парня текли слезы.

— Вы молодчина, Птаха! Я не беру своих слов обратно... А товарищам надо простить их ошибку.

Птаха нашел его руку.

— Это я гудел,— прошептал он.

— Никто в этом теперь не сомневается.

Раевский почувствовал в своей руке его разбухшие пальцы.

— Что с вашими руками?

— Я обварил их кипятком...

— Вы останетесь здесь и отдохнете. Я освобождаю вас от участия в бою. Охраняйте женщин.

Глава восьмая

Красный язычок коптилки лизал край глиняной чашки, наполненной волчьим жиром.

На стене коридора равномерно взмахивала крыльями тень какой-то огромной птицы.

Обхватив руками колени, Сарра заворуженно глядела на крошечный язычок пламени. Меер сшивал дратвой голенище сапога.

За дверью в комнатку затихло. Там улеглись спать. Меер нарочно выбрал бесшумную работу, чтобы

не тревожить их. Старенький татэ прихворнул. Все эти невзгоды — выселение, переезд — подрезали его вконец. Старые заказчики сюда не пойдут — далеко, а новых не скоро найдешь. Репутация добросовестного сапожника приобретает годами. На новом месте все начинай сначала.

Трудно, очень трудно это, когда тебе шестьдесят четыре года...

Что хорошего, радостного видел отец за свою долгую жизнь? Сарра вспомнила его рассказы. Жизнь отца представилась ей бесконечной вереницей маленьких серых деревянных гвоздиков, похожих один на другой. Однотонный стук молотка, запах кожи, согнутая спина и труд, каторжный труд от зари до глубокой ночи. И это с одиннадцати лет...

Птица на стене взмахивала крыльями.

Сарра зажмурила глаза. Неужели и ее, и Меера, и Мойше, маленького рыженького Мойше, ждет та же судьба? Давно, когда она была совсем глупенькой, бабушка говорила ей: «Судьба — это загадочная гостья, и каждая девушка ждет ее прихода с трепетной надеждой. Судьбу эту посылает сам бог. Она неотвратима. От нее не уйти. И гневать судьбу не надо. Чем покорнее принимает ее человек, тем милостивее она к нему...»

Бабушка давно умерла. Забылись ее сказки, не вошли посеянные ею в детской головке библейские семена. И приди сейчас, в этот холодный осенний вечер, развенчанная в своей таинственности судьба, Сарра закрыла бы перед этой злой вестницей горя двери. Она и так знает, что жестяник Фальшток ходит к ним лишь для того, чтобы отравлять ей жизнь. Он уверен в себе — у него мастерская, он солидный жених. И хотя его мать истинная фурия (она даже сейчас бьет сына), какое ему дело до того, как будет жить с этой ведьмой его жена? У него трое рабочих и дом... Ему нужно жениться. А чем Сарра плохая невеста? Она будет рожать ему детей и варить вкусный фиш... А то, что она через пять лет станет старухой, — что ж, такова судьба еврейской девушки, если у ее отца ничего нет, кроме дочери...

Кто-то тихо постучал в дверь. Меер обернулся.

Теперь на стене вырисовался профиль его всклокоченной головы с орлиным носом.

— Это Раймонд. Он... пришел за мной,— тихо сказала Сарра, поднимаясь.

Раймонд принес с собой запах сырой осенней ночи.

— Я сейчас оденусь,— Сарра тихо открыла дверь в комнату.

Раймонд пожал Мееру руку и сел напротив сапожника на стульчик отца.

Вышла Сарра, надевая жакет. Меер смолил дратву. Сарра видела — он недоволен.

— Куда вы пойдете в дождь... и так поздно. Нашли время! — Меер сказал это по-еврейски.

И все же Раймонд понял, о чем он говорит, и покраснел. Сарра несколько мгновений колебалась, затем тихо спросила:

— Можно ему сказать?

— Я не знаю,— с беспокойством ответил Раймонд.

— Думаю, что можно,— решила Сарра.— Послушай, Меер, оставь на минутку свою дратву!

— У меня срочный заказ, я не имею времени...

— Меер, сегодня в городе начнется восстание... — Она замолчала, увидев, как неподвижно застыли на ней такие же большие и черные, как у нее, Мееровы глаза.

— Восстание? Откуда ты знаешь? И... — он не договорил.

Сарра прикоснулась к его плечу:

— Меер, может, ты пойдешь с нами?

— Куда?

— Если пойдешь, скажем.

Меер быстро заморгал, болезненно кривя губы.

— Никуда я не пойду! — резко дергая облепленную смолой дратву, сказал он.

Тень птицы на стене взмахнула одним крылом.

— И ты не пойдешь... Иди спать... А ему скажи, пусть он больше сюда не приходит... Да, да,— пусть не приходит! Я не хочу, чтобы тебя повесили,— зашептал он испуганно и зло.

Раймонд вслушивался в непонятную речь, стараясь разгадать ее смысл. По еле уловимому движению в его сторону он понял, что Меер говорит о нем.

— Что ж, оставайся, а я пойду. Я думала, что ты не такой...— Она хотела сказать «трус», но не смогла произнести этого слова.

Колодка с голенищем упала с колен Меера на пол. Все испуганно оглянулись на дверь.

— Ты бы подумала о семье... об отце! Что ты хочешь,— чтобы нас всех порезали? Где у тебя совесть? Чего тебе там нужно? — шептал он, все больше волнуясь.

— Моя совесть?.. Я хочу жить, Меер! Жить хочу! Разве это бессовестно?

— Хе! Хочешь жить? А идешь на смерть...

— Я не могу больше так! Вечно голодать, жить в нищете... Чтобы каждый, у кого есть деньги и власть, мог пинать тебя сапогом в самое сердце... Скажи, для чего жить вот таким червяком, которого каждая из этих гадин может раздавить? Лучше пусть меня убьют на улице! — так же шепотом страстно говорила Сарра.

— Кто тебя этому научил?

— Жизнь научила, эта проклятая жизнь...

— Люди поумнее тебя ничего не могли сделать, а ты думаешь свет перевернуть?

Сарра встала.

— Не смогли сделать? Ты ждешь, чтобы тебе кто-то сделал. А сам ты будешь ползать перед Шпильманами и Баранкевичами! Проклинать судьбу и грозить кулаком, когда этого никто не видит... А мы хотим с ними покончить! Это же и твои враги. Почему же ты боишься поднять руку на них? Где же твоя совесть?

Меер раздраженно посмотрел на нее.

— Моя совесть — это семья.— Он нервно мял худыми пальцами комок смолы. — Без нас они сдохнут с голоду. Понимаешь? Сдохнут! И никто им не поможет... Хочешь идти — иди! — Он ожесточенно махнул рукой по направлению к двери. — Иди, иди! А я еврей, нищий — сапожник... У меня нет родины, за которую я должен положить голову... Был русский царь — меня гоняли, как собаку. Пришли немцы — то же самое. Теперь поляки — на улице страшно выйти. Ну, а если вместо них придут гетманские гайдамаки, то нам станет легче? Я не знаю, какое там восстание и кто

кого хочет прогнать. Я знаю только, что еврей должен сидеть дома...

— Сегодня ночью поднимутся рабочие.

— Рабочие? — растерянно переспросил Меер.

На вокзале протяжно загудел паровоз. На мгновение смолк. Затем еще три коротких гудка. Они донеслись сюда приглушенные, далекие. Раймонд быстро встал.

— Прощай, Меер! — взволнованно сказала Сарра.

— Так ты идешь? — Голос Меера дрогнул.

— Да.

Меер с тоской посмотрел на нее. Сарра ждала еще несколько мгновений.

— Перебьют вас. С чем вы против них пойдете? — чуть слышно пробормотал он.

Затем, тревожно мигая воспаленными веками, нагнулся, поднял с земли зашитый в кожу сапожный нож.

— Возьми хоть это...

Дверь за ними закрылась. Меер долго сидел неподвижно. Тревожные, недобрые мысли не оставляли его.



В комнате, стоя, тесно прижимаясь друг к другу, смогли поместиться около пятидесяти человек. Остальные стояли во дворе, на крыльце и в дверях, ведущих в машинное отделение. Все были вооружены винтовками с примкнутыми штыками.

Окно, обращенное к переезду, Олеся завесила одеялом.

Андрей, переодетый в сухое платье Григория Михайловича, — Ковалло приказал ему это сделать, — стоял с другими в кухне. Васильку Олеся тоже достала батьковы штаны, дала ему свой старый свитер, и сейчас он старательно натягивал на ноги ее чулки. Тут же около него стояли Олесины ботинки. Мокрую, грязную одежду обоих братьев Олеся бросила в чулан.

— Ну и длинные! — сопел Василек.

Он торопился. Ему хотелось послушать, что говорил высокий дядя с седыми усами.

— Я думаю, друзья, много говорить не надо,— сказал Раевский.— Каждый из вас пришел сюда добровольно, каждый знает для чего. Давайте же, товарищи, решим крепко: у кого сердце не выносит боя, пусть уйдет. А те, кто остается, кто решил покончить с этими грабителями, с вековыми нашими врагами, тот пусть даст слово рабочее в бою не бежать.— Раевский помолчал.— А кто побежит...— Он взглянул в лица товарищей, как бы спрашивая их.

— Того будем стрелять! — закончил за него Степовый.

Раевский нашел его глазами.

— Да, кто побежит, тот не только трус, но и предатель.

Раевский стоял у окна, опираясь рукой на винтовку. Он говорил, не повышая голоса, как всегда сдержанно, четко выговаривая слова, вдумываясь в каждую фразу в поисках самого простого, ясного выражения своих мыслей.

И от того, что этот широкоплечий сильный человек со всезнающими глазами был спокоен, у всех крепла уверенность в своих силах. Обаяние этого человека шло от его простоты, лишенной какой-либо позы, от непоколебимой уверенности в правоте своего дела, которая так характерна для людей, всю свою жизнь посвятивших революционной борьбе.

Ковалло посмотрел на часы:

— Зигмунд, пора.

Раевский надел шапку.

— Да, друзья,— громко сказал он.— Лучше два раза подумать и во-время уйти, чем потом сбежать...

Никто даже не шевельнулся.

Он заботливо осматривал своих соратников от сапог до головы. Видно, что большинство из них не было на фронте. Ружья держат магазинной коробкой к себе, ремень так натянут, что руку не проденешь. Но по лицам видно — будут драться!... Вот хотя бы этот курносый парнишка в кепке, нахлобученной на самые уши,— винтовку прижал к себе, словно девушку. Глаза серьезные, но наивно, по-детски оттопыренные губы с головой выдают его восемнадцать лет.

Сзади худой рабочий в кожаной фуражке ответил за всех:

— Передумывать нам незачем. Те, у кого гайка слаба, дома остались. А кто сюда пришел, так не для того, чтобы назад ворочаться.

Раевский вскинул винтовку за спину.

— Передайте, друзья, остальным во дворе и всем наше решение. Командиром революционный комитет назначил меня. А вы выберете двух помощников,— сказал Раевский.

— Чобот!

— Степовый!

— Больше никого?

— Нет!

— Тогда выступаем. Те, у кого есть патроны, двигаются впереди. Захватим склад, оттуда в поселок, а затем на тюрьму. Каждый десяток знает своего командира?

— Еще бы!

— Знаем!



Сто шестьдесят три человека ушли в ночную темноту. Шорох их шагов смешался с шумом дождя и свистом ветра.

Ковалло оставил дом последним. Он даже не обнял дочери,— как-то неудобно было при Ядвиге и Птахе.

«Не во-время, скажут, старый черт расчувствовался. Еще, глядишь, и слезу пустит». Он обвел глазами знакомую комнату и, глядя на ноги, с деланным равнодушием сказал:

— Ты того, доченька... не бойся! К обеду придем. А ты нам картофельки поджарь к тому часу да огурчика вынь.... Ну, бувай здорова...

На пороге еще раз оглянулся. У Олеси — полные глаза слез.

— Ну, вот еще! Сказал, к обеду вернемся... — И, торопясь, добавил: — Ты, Андрий, присматривай тут. Запрись и не пускай никого. Я б тебе ружьишко оставил, но это хуже. Топор тут, в сенях... — На ступеньках тихо сказал Андрию: — Ежели неудача, забирай

Олесю, Ядвигу Богдановну, тючок барахла и тикайте в Сосновку.

— А дом как же?

— А черт с ним! Ежели разобьют, так тут нам все равно не жить. Ты девку бережи...

— Григорий Михайлович, да я...

— Знаю, что ты... Вот и смотри. А ежели меня... — Ковалло помолчал. Они были уже у калитки.

Андрий не видел старика.

— Так ты будь ей за брата...

Сквозь шум дождя Андрий едва уловил:

— У меня, кроме ее, никого нету...

— У меня тоже, кроме...

— Ну, там увидим, а пока — смотри...

Андрий вернулся в дом. Хотел запереть на крюки дверь, — не смог. Впервые почувствовал невыносимую боль в пальцах.

— Олесья, закрой, а то у меня руки распухли, черт бы их подрал!

Свет в большой комнате потушили. Ядвига села у окна. Если по путям пройдет к заводу паровоз с платформой, значит патроны взяли...

Сигизмунд приказал женщинам остаться. Будь она с ним, ей было бы спокойнее. Впереди томительная ночь, ожидание мучительное, тревожное...



— Покажи свои руки! Боже мой, что ж ты молчишь? — испуганно воскликнула Олесья.

Она поспешно принесла оставленный Метельским пакет и, болезненно морщась от сострадания, стала осторожно перевязывать обваренные пальцы Андря, с которых лоскутами свисала кожа.

Василек клевал носом.

— Иди на кухню, ложись спать на топчане, — сказал Андрий ласково.

Василек встрепенулся.

— А может, я до дому пойду? Мамка будет лупцевать. Где ты, скажет, шлялся целый день? — невесело ответил мальчик.

— Ничего не будет. Ложись спать, а завтра вместе пойдем. Сказал, пальцем никто не тронет! Тебя слушаешь, так мать у нас только и делает, что дерется.

— Тебе ничего, а мне кажинный раз попадает...

— А ты что, хочешь, чтобы тебя за твои фортелы по головке гладили?

Василек обиженно вытер нос рукавом и молча пошел в кухню. Он заснул, едва добравшись до топчана.

Андрій, закусив губу, смотрел, как ловкие пальчики Олеси, нежно прикасаясь к его руке, отделяли безжизненные клочья кожи и укутывали пальцы белоснежной повязкой. Чтобы было удобнее, она села на пол. Андрій смотрел на нее сверху вниз и видел, как всякий его жест боли вызывал ответное вздрагивание чудесных ресниц девушки и нежных губ, прекрасных девичьих губ, свежих и влекущих своей недоступностью. Андрій никогда их не целовал. Он не решался на это, зная, что она не простит ни малейшей вольности. И он ждал, борясь со своими порывами, оберегая ее дружбу.

Олеся заканчивала перевязку. Нагибаясь за ножницами, чтобы отрезать концы бинта, она сказала:

— А ты терпеливый...

На одно лишь мгновение Андрій увидел в вырезе блузки ее высокую грудь, и ему стало тревожно и больно. Эта дерзость, в которой он даже не был виноват, смутила его. И глубокая грусть заполнила его сердце.

— Что с тобой? Я тебе сделала больно?

— Да. Но я больше не буду...

— Видишь, какая я неловкая — толкнула и не заметила даже.

Андрій молчал.

— Ты ложись, отдохни, а я пойду к Ядвиге Богдановне. Ну, я тушу...

Он долго еще сидел у стола; склонив голову на руки, весь во власти невеселых мыслей. Затем устало опустился на пол, на посланный Олесей матрац, и пытался уснуть.

«И чего я пристал к ней? Будто, кроме нее, дивчат хороших нет на свете...»

Андрію хотелось уверить себя, что в Олесе нет

ничего особенного. «Есть красивее ее. Взять хотя бы Пашу Соллогуб или Марину Коноплянскую. Огонь дивчата! И ласковые, с ними и пожартовать можно... Да и мало ли красивых девушек? Так нет,— ему надо было пристать к этой. Смеется, дразнит, командует... Пальцем ее не тронь! И он все это сносит, он, на которого не такие еще дивчата засматриваются».

От этих мыслей Андрию стало еще обидней.

«Такая уже, видать, у меня планета. Все наперекос идет».

Он забылся в полудреме, но встревоженная мысль вернулась к нему мгновенным видением. Это были чудные, густые ресницы девушки, ее задорные глаза с насмешливыми искорками.



Женщины, страдая и волнуясь, молча стаяли у окна. Ядвига посоветовала Олеся уснуть.

— Я разбужу вас, если что-либо услышу.

На кухне сладко сопел Василек.

Олеся на цыпочках вошла в комнату. Тишина в доме угнетала ее. Она не находила себе места.

Опасность поселилась здесь прочно с того дня, когда отец впервые встретился с Раевским. Олеся любила отца глубоко и нежно. Мысль о нем не покидала ее.

Девушка осторожно, чтобы не разбудить Андрия, прилегла на кровать.

Но Птах не спал. Ему жгло руки.

— Ты не спишь? — шепотом спросила Олеся, уловив его движение.

— Нет.

— Болят руки?

— Что мне руки? Тут сердце покою не дает.

Он сел на полу и горестно склонил голову на колени.

— Ты о чем это? — Олеся слегка наклонилась к нему.

— Я о том, что нет в жизни счастья. Только одна обида... И черт его знает, для чего это люди живут на свете? Где ни глянь, одна несправедливость...

Олеся тоже села. Он чувствовал ее рядом. Непреодолимое желание высказать свою обиду охватило его. «Скажу ей все и уйду. Пусть меня убьют там».

Он протянул руку, чтобы подняться, и почувствовал ее колени. И сразу же руки Олеси легли на его забинтованную руку. Боясь причинить ему боль, она тихонько снимала его руку с колена.

Андрий забыл все — и обиду и упреки. Осталось только желание ласкового прикосновения, хотя бы слова от этой девушки милой, такой прекрасной и родной.

— Олеся, — сказал он грустно и тихо. — Олеся, зачем ты так?

— О чем ты?

— Олеся, нет у меня счастья другого, как ты...

Он обнял ее колени. Она не могла сопротивляться. Как оттолкнуть эти искалеченные руки?

— Андрий, — предостерегающе прошептала она.

Он прикоснулся губами к ее коленям. Его оскорбила грубая ткань. Забывая все и не чувствуя боли, он скомкал ее искалеченной рукой.

— Андрий!..

Но он уже целовал ее колени, и не в ее силах было помешать этому. Застигнутая врасплох, встревоженная этим страстным порывом, Олеся растерялась, не зная, что делать с этим сумасшедшим парнем. А когда опомнилась, он уже сам бережно закутал обнаженное колено.

— Олеся... Зорька моя.

Взволнованная Олеся порывисто встала. Андрий отпустил ее. Ничего не сказав, она ушла к Раевской.

«Ну что я наделал? Теперь все пропало. Ну и пусть!» — Андрий в отчаянии махнул рукой.

Острая боль напомнила о себе. Он упал на постель. Сердце стучало.

«Так всегда — все наыворот. Ну и пусть. Завтра уйду и никогда больше не увижусь, — сказал он себе и тут же не поверил этому. — Вот когда она тебе по морде надает, тогда, может, и уйдешь. И то еще поглядим... А что ты дождешься этого, так это видать уже сейчас.

И что она обо мне подумает?

Люди в бой пошли. Может, на погибель... Дивчина за отца мучится, а он тревожит ее. Не нашел другого времени».

Ему стало совестно за свой порыв.

«А когда ж ей было сказать? Может, завтра я жить не буду». Разве сегодня он не чудом ускользнул от гибели?

Где-то далеко едва слышно треснуло. Андрей прислушался. Затем встал на колени.

«Началось, что ли?» — мелькнуло в его голове. Он поднялся, осторожно выставил вперед руку, наугад пошел к двери.

В комнате обе женщины прильнули к окну.

— Это я,— наткнувшись на стол, сказал Андрей.

— Я открою форточку,— прошептала Ядвига.

Пахнуло сыростью. Шел дождь. Было темно и тихо. Так они долго стояли втроем, настороженные и молчаливые.

— Смотрите, вот огни! Это паровоз! Значит, удалось? — вскрикнула Олеся.

В беспросветной мгле вспыхнули два глаза.казалось, там, наверху, глубоко вздыхая и фыркая, ползло какое-то чудовище.

Они прислушивались к удаляющемуся грохоту.



Город спал.

Вдруг сквозь шелест дождя и журчанье воды донесся короткий хлопок. А через несколько мгновений словно кто-то швырнул горсть камней на железную крышу.

Какой-то беспокойный сторож заходил по поселку. Будил людей своей колотушкой, стучал в ставни окон, поднимал всех на ноги. Заговорили немые, безлюдные улицы. Засверкали огоньки. Людей не было видно, но их было слышно. Слишком громко заговорили они. На что уж крепко спал сержант Кобыльский, но и его разбудили эти разговоры. Он выскочил из штаба в одних штанах, босой... Тут не до сапог и шинели — дай бог ноги унести.

Щебнем сыпались стекла. Кипело на улицах. По железной крыше штаба кто-то дико отбивал трепака. Прямо перед лицом Кобыльского что-то сверкнуло и оглушительно хлопнуло.

Он заметался и, согнувшись, побежал через улицу в ворота напротив.

В беспорядочный грохот ворвался равномерный и резкий стук. Это строчил из переулка по тюремным воротам Степовый.

— Вперед, друзья! — слышался мощный голос Раевского.

Раймонд бежал рядом с ним через площадь, боясь упустить его из виду в этой крошечной тьме. У ворот чуть не упал, споткнувшись о чье-то тело, и ринулся за отцом во двор. У входа тюремного корпуса — фонари.

Из дверей стреляли. Отец вбежал туда. Сзади — грохот сапог. Беспорядочная стрельба. Лязг штыков. Кто-то убегал. Кого-то настигли. Крики... Короткая схватка в дверях...

Раймонд ударил штыком нацелившегося в отца legionера.

— Бей шляхту! Круши ее, в бога мать! — ревел Чобот, врываясь в коридор.

Врассыпную спасались от его штыка legionеры. Раевский бежал уже вверх по лестнице. Его опередил молодой парнишка со сбившейся на ухо кепкой.

Бас Чобота гремел по коридору:

— Эй, Патлай, где ты? Отзывайся! Наша взяла... Патла-а-а-й!

Дзэбек метался по заднему двору, на бегу срывая с себя погоны. В нем билась одна мысль: «Конец... Конец... Сейчас они ворвутся сюда. Куда бежать?»

Дальше некуда — тупик.

Он влетел в уборную. Ужас гнал его в зловонную, смердящую яму. Он залез в отвратительную жижу, заполз под доски, чувствуя, что сейчас задохнется от невыносимой вони. Все же думал лишь об одном — жить!

Канцелярия начальника тюрьмы была захвачена последней. Сюда устремились. Тут оказались освобожденные Патлай, Пшигодский и Цибуля, тот самый бога-

тырь-крестьянин, с которым Пшигодский вел свои беседы в камере.

Степовый и другой пулеметчик, Гнат Верба, остались у ворот.

У Гната был теперь свой пулемет, отбитый у легионеров при атаке на тюрьму. Крепыш Верба хлопотал около него.

— Возьмите меня к себе,— смущенно сказала ему Сарра.— Я буду выполнять все, что вы мне прикажете.

Верба, на короточках проверявший, свободно ли поворачивается пулемет, удивленно оглянулся на нее. Подумав немного, убежденно ответил:

— Не бабье это дело! Пулемет — это вам не швейная машинка, барышня.

Сарру этот ответ оскорбил до глубины души. Она отошла.

— Зачем вы ее обидели? — упрекнул Вербу Раймонд.

К ним подбежал Пшеничек с группой рабочих.

— Удрал, сакраменска потвора! — раздраженно крикнул он.

— Кто удрал? — спросил Степовый.

— Тот мерзавец... Нос от птицы... Как его? — Он вспомнил: — Дзёбек!. Везде искали — нету! А пленные говорят, здесь был.

Верба вложил ленту, уселся поудобнее.

— Степовый, сейчас дам по́верх крыши очередь для пробы...

И тотчас загрохотало.

— Все в порядке.

Степовый чертыхнулся.

— Пшеничек, беги в канцелярию! Скажи, что проба. А так все спокойно, панки еще не очухались...

Уже в коридоре Пшеничек услышал голос Раевского.

— Предложение укрепиться на заводе и в тюрьме и выжидать подхода сосновских и холмянских никуда не годится! Надо действовать стремительно, не давая им опомниться. К утру город должен быть наш. Сейчас, когда они растерялись, надо бить и бить. Имейте в виду, половина солдат в имении. Скоро они появятся здесь.

Его прервало несколько голосов.

Все они были перекрыты басом Чобота:

— Факт! Это по-моему — ежели бить, так до бесчувствия. Гоним панков к вокзалу!

Все подымались. Раевский отдавал последние приказания.

— Подводы с винтовками пригнать сюда. Кто из арестованных желает, пусть вооружается... Вы, товарищ Цибуля, берите на заводе коня и скачите в Сосновку. Щабель где-то застрял там... А ваши хлопцы пусть остаются здесь и помогут нам. Им сейчас дадут оружие. Чобот, берите пятьдесят человек и наступайте от рынка до реки. Жмите их к вокзалу. А мы атакуем управу... Держите связь. Запомните пароль. Не забудьте — ревком помещается на заводе.

Все двинулись к дверям. Пшигодский подошел к Раевскому.

— А куда мне, товарищ... Хмурый?

Все лицо его было в темных ссадинах.

— Это здесь? — коротко спросил Раевский, указывая на синяки.

— Да, — мрачно ответил Пшигодский. — Разрешите при вас быть?

— Хорошо.

— А может, мы, товарищ комиссар, жаждем по имению? Там весь выводок накроем. Ежели мы их в расход выведем, так дело веселее пойдет, — сказал он глухо.

Раевский почувствовал, какая нестерпимая ненависть толкает Пшигодского на это предложение.

— Нет, нельзя. Возьмем город, тогда лишь...

Пшигодский молча взял винтовку и с ожесточением стянул пояс с патронташем.

В коридоре Раевского поджидал Цибуля.

— Вы, стало быть, здесь за старшего? — спросил он.

— Да, вроде этого, — улыбнулся Раевский.

— Так что я не поеду в Сосновку. Еще попадешься им ночью в лапы... Тут мы вам подмогнем, а с рассветом я тронусь. Тогда виднее будет, куды оно пойдет.

«Осмотрительный мужик»,— подумал Раевский.

— Ваших крестьян, что сидели в тюрьме, тут десятка два наберется, ну и командуйте ими..



Заремба остервенело крутил телефонную ручку.

— Алло! Алло! — кричал он, прикрывая трубку рукой.

Стрельба приближалась.

— Алло! Имение? Молчат, пся их мать. Уехали себе, а ты тут за всех отдувайся... Алло! Имение! Ни звука... — Заремба цинично выругался.

В дверях появился Врона с парабеллумом в руках.

— Да бросьте вы трубку, поручик! Они же провода перерезали. Идемте скорее.

Со звоном посыпались стекла.

— Вот видите, управу придется сдать. А то здесь передушат, как в мышеловке. Отступаем к вокзалу. Эти бестии обходят со стороны рынка. Возьмут в клещи, тогда не уйдем... А Могельницкий тоже хорош — взял привычку ездить домой. И половину отряда при своей особе держит,— бесился Заремба, сбегая с лестницы.

— Своя рубашка ближе к телу,— ответил Врона.

На улице Заремба остановился.

— Ну, подумайте, капитан, с кем воевать? Вот с этими сопляками? Небось все на горшок просятся. Тоже солдаты, пся крев! — злобно сплюнул он.

— Что дермо, то верно, поручик. Будь у меня рота баварцев, я б эту сволочь живо утихомирил.

Заремба схватил его за рукав.

— Стойте, а что если в самом деле попросить немцев помочь.

Стрельба усиливалась.

— Не пойдут. Разве только спровоцировать...

К ним подбежало несколько легионеров.

— Они уже на Приречне, пане поручик,— задыхаясь, сообщил один.

— Молчать! — накинулся на него Заремба.— Эй, вы! Куда бежите, пся ваша...

Совсем близко, заглушая все, затрещал пулемет. Вверху над головами зашипели пули.

Теперь уже и Заремба и Врона побежали.

Впереди них беспорядочной толпой улепетывали легионеры. А сзади, все приближаясь, рвались выстрелы.

На привокзальной площади Заремба и Врона остановились.

— Надо задержать этих трусов! — крикнул Врона.

— Сюда, ко мне! Ко мне! — заорал Заремба и злобно ударил первого попавшегося револьвером по голове. — Ты куда? Стой, говорю тебе! Я тебе побегу, пся твоя мать!

Тот, кого он ударил, взвизгнул:

— Не бейте, это я, пане поручик!

Заремба выругался.

— Подпоручик Зайончковский! Где ваши солдаты, а? Где солдаты, спрашиваю? Вы сморчок, а не офицер... Марш вперед!

Неподалеку Врона тоже лозил убегающих. Постепенно они навели кое-какой порядок, заняли вокзал и оттуда начали отстреливаться.

Глава девятая

В столовой Могельницких ужинали.

Только что приехавший Эдвард рассказывал о происшедшем в городе. Присутствие прислуги стесняло его.

Зато Владислав разглагольствовал с обычным апломбом:

— Им на целый год хватит! Да, мы славно поработали...

Людвиг сидела молчаливая и почти ничего не ела.

Баранкевич, просыпая гречневую кашу, которой был начинен поросенок, жаловался старому графу:

— Что мне делать со свеклой — не знаю. А сахар... Куда деть сахар? Да! — Вдруг он вспомнил что-то неприятное и даже поперхнулся. — Вы знаете, — повернулся он к Эдварду, — сегодня мне принесли записку,

в которой какой-то каптенармус из немецкого эшелона приказывает немедленно отгрузить шесть вагонов сахару и подать их к немецкому эшелону... Как вам это нравится — шесть вагонов сахару! Ну, знаете, это верх нахальства!

Эдвард нахмурился.

— И что же пан Баранкевич думает делать? — вкрадчиво спросил отец Иероним.

Сахарозаводчика этот вопрос возмущил.

— Как, что делать? Я не дам и куска сахару, не то что шесть вагонов.

— Тогда они возьмут его сами, — сокрушенно ответил отец Иероним, аккуратно отрезая кусочек поросенка.

— Я надеюсь, пан Эдвард не позволит этого сделать!

Эдвард не ответил.

— Шесть вагонов — это еще ничего. Вот у нас забрали все, и мы сами едва спаслись, — желчно заговорил старик Зайончковский. — Я думаю, что пан Эдвард прежде всего пошлет свой отряд в наше имение. Я прошу это сделать завтра же, пока крестьяне не успели еще попрятать награбленного.

Баранкевич даже перестал жевать.

— Так, по-вашему, шесть вагонов сахару — пустяк? Это шесть тысяч пудов! Шесть тысяч пудов, — прохрипел он, потрясая вилкой. — Это двадцать восемь тысяч восемьсот рублей золотом...

— Да, но это только небольшая часть вашего состояния, а у нас все забрали, — не вытерпела пани Зайончковская.

Баранкевич резко повернулся в ее сторону:

— Прошу прощения. Гэ... умм... да! Но пани, видно, лучше меня знает мое состояние...

Неприятную сцену прервало появление Юзефа.

— Пан майор и пан обер-лейтенант просят разрешения войти. Они уезжают на вокзал и желают попрощаться, — угрюмо произнес старик.

Могельницкие переглянулись.

— Проси, — кратко ответил Эдвард.

Немцев пригласили к столу. Разговор не клеился.

— Простите, господа, вам неизвестна фамилия командира прибывшего сегодня эшелона? — вдруг спросил Эдвард офицеров.

— Полковник Пфляумер, — сдержанно ответил майор.

— Эшелон уходит сегодня? — с надеждой спросил Баранкевич.

Зонненбург пытался улыбнуться:

— Об этом обычно не говорят...

— Простите, я просто заинтересовался, — обиделся Баранкевич.

Вновь появился Юзеф.

— Прошу прощения, у ворот стоят какие-то всадники. Начальник караула просит вас, ясновельможный пане, выйти для переговоров, — сказал он, обращаясь к Владиславу.

Владислав поспешно вышел.

— Так вы продаете нам эскадронных лошадей? — тихо спросил старый граф, нагибаясь к лейтенанту.

Зонненбург сидел далеко от них.

— Как вам сказать... Это не совсем удобно. Господин майор против...

— Но вы можете сделать и без него. Ведь вы уезжаете. Половина солдат дезертировала, остальные торопятся домой. Куда вам тащить с собой лошадей? Ведь вы же едете поездом.

— Я понимаю, господин граф, но дело...

— В оплате, — подсказал ему граф.

— Да, пожалуй, и в этом. Я сказал вам сумму — сорок тысяч марок. Но марка падает. Я боюсь, что по приезде в Берлин я смогу купить на них только бутерброд. Согласитесь сами, что это очень дешево за девяносто хороших лошадей.

Казимир Могельницкий сердито закашлялся.

— Но вы же все равно их с собой не возьмете! Допустим, вы сегодня ночью уедете — ведь лошади достанутся нам даром...

Увлеченные общим разговором, гости не обращали на них внимания.

Шмультке мысленно крепко выругался, но, сдерживая себя, ответил:

— Конечно, не возьмем. Правда, я мог бы остаться здесь на несколько дней. Вслед за эшелоном походным порядком движется наш франкфуртский полк, в котором, как мне известно, служит ваш сын. Если их не задержат, они будут здесь через несколько дней...

Старый граф забеспокоился. Эдвард поручил ему купить у немцев лошадей во что бы то ни стало.

— Ну, хорошо, я согласен дать пятьдесят тысяч, так, в порядке услуги. Ведь мы с вами хорошие знакомые.

— Простите, граф, господин майор делает мне знак, — нам пора уходить... Знаете, я тоже хочу оказать вам услугу. Это нескромность, но я вам сообщу нечто: господин майор приказал мне перестрелять всех лошадей... Но если вы располагаете тысячью рублей золотом, — именно золотом! — то я не выполню этого приказания, и ваш сын получит нужных ему лошадей! Решайте!

Дверь открылась. Вбежал Владислав.

— Приятные гости, Эдвард! Там граф Роман Потоцкий со своими спутниками.

Эдвард быстро встал.

Гости зашептались. Приезд могущественного магната взволновал всех.

— Проси! Чего ж ты? — приказал Юзефу старый граф.

В комнату вошло несколько военных. Впереди — рослый Роман Потоцкий, одетый в серый офицерский мундир без погон и других знаков различия и синие рейтузы. На ногах — высокие сапоги с глухими шпорами. Саблю и револьвер он оставил в вестибюле.

Потоцкий обвел общество быстрым взглядом. Надменные серые глаза на миг задержались на Людвиге, затем остановились на немцах. Губы сжались.

Эдвард уже подходил к нему.

— Очень рад вас видеть в нашем доме.

Потоцкий и его спутники были представлены всем.

— Ну, как здоровье пана Иосифа?

— Спасибо, отец здоров, — ответил Потоцкий.

Зонненбург поднялся из-за стола.

— Всего хорошего! Мы уезжаем, — сказал Шмультке старому графу, подавая руку.

— Ах, да! — спохватился Могельницкий. — Я прошу вас задержаться на несколько минут. Я поговорю с сыном.

— Хорошо! Пока мы оденемся...

Немцы, сделав общий поклон, удалились.

Прибывшие рассаживались за столом. Эдвард объяснял Потоцкому:

— Они жили в нашем доме. Сейчас уезжают на вокзал — там их эшелон...

Потоцкий недобро посмотрел на дверь, за которой скрылись немцы.

— Знаю. Из-за них нам пришлось ехать тридцать верст на лошадях. Отряд пилсудчиков закупорил им путь, взорвав мостик. А вы с ними, как видно, не ссоритесь? — добавил он с легкой иронией.

Эдвард уловил эту иронию.

— Для ссоры нужна сила, а у меня ее нет. Потом, кроме них, здесь и так есть с кем возиться.

В разговор вмешался старый граф:

— Прости, Эдди, что я перебиваю, но лейтенант требует за лошадей тысячу рублей золотом. Иначе...

Эдварду было неприятно, что отец при Потоцком говорит это, и он не дал ему закончить:

— Делай, что нужно.

Старик, крихтя, приподнялся. Юзеф от двери уже спешил ему на помощь.

— Расскажите же нам, граф, что нового в Варшаве? — спросил Эдвард.

— Что нового в Варшаве? Я, право, затрудняюсь ответить на этот вопрос. Новостей много! — уклончиво ответил Потоцкий и тихо сказал Эдварду: — Мне нужно будет поговорить с вами наедине.

— Хорошо, — так же тихо ответил Эдвард.



В кабинете Эдварда собрались одни мужчины. Кроме Баранкевича, отца Иеронима, Зайончковского, здесь было несколько помещиков, бежавших из Шепетовки, Старо-Константинова и Антонии.

Потоцкий ходил по кабинету, заложив руки в

карманы рейтуз, и, ни на кого не глядя, обращаясь все время к Эдварду, как бы подчеркивая, что считается только с ним, говорил:

— Вы спрашиваете, что такое Пилсудский? Я говорил с ним перед отъездом. Это сильная личность.— Он задержался у стола, рассматривая миниатюрный портрет Людвиги в изящной рамке из слоновой кости.— Да, личность сильная, и с ним приходится считаться...

Баранкевич с обычной бесцеремонностью перебил его:

— Но, говорят, он социалист?

Потоцкий скользнул по нему небрежным взглядом и рассмеялся:

— Пилсудский — социалист? Кто вас этим напугал?

— А разве он не путался в ППС прошлые годы? — обидевшись за Баранкевича, спросил Зайончковский.

Потоцкий осторожно поставил портрет Людвиги на стол.

— Я не знаю, что он там делал раньше. Мало ли каких глупостей натворит человек? Я знаю лишь одно — и это не только мое мнение, — что Пилсудский прежде всего — польский патриот, а это важнее всего. И уже для нас, конечно, легче, если «начальником государства» будет он, а не князь Сапега, скажем, хотя это было бы приятнее...

Отец Иероним, сидевший, как всегда, в углу, осторожно спросил:

— Простите, вельможный пане, а нет ли опасности в том, что, помимо его желания, генерал Пилсудский станет игрушкой в руках своей партии, этих демагогов, вроде Дашинского и ему подобных?

Потоцкий несколько секунд смотрел на отца Иеронима испытующе.

— Ага, отец духовный тоже занимается политикой.

Эдварду не нравился этот самоуверенный тон магната.

— Отец Иероним задал очень интересный вопрос, — сказал он сухо.

— У вас неправильное представление и об Юзефе Пилсудском и о ППС! По-моему, он гораздо ближе к

нам. А ППС целиком у него в руках, это средство для создания ему ореола в массах. Все это для черни! И нам же лучше, если чернь поверит в него. К сожалению, приходится маневрировать... Его опора — это военная организация, так называемые «пилсудчики». Среди них, правда, немало пепеэсовцев, но это, знаете, такие социалисты... Если Пилсудский с кем-либо считается, так это с нами, потому что у нас есть сила и золото! Чтобы вы имели о нем представление, я расскажу, как было создано правительство.

— О, пожалуйста! Здесь, в этой проклятой глуши, ничего не узнаешь... — выразил общее желание Баранкевич.

— Конечно, как всегда, началась драка за портфели. Князь Сапега рассказывал, что претенденты чуть было не побили друг другу физиономии, — все эти национал-демократы, людовцы и прочие. Тогда Пилсудский вызвал к себе капитана второй бригады легионеров Морачевского, старого пепеэсовца и пилсудчика, и сказал: «Вы назначены мною премьер-министром. Стать во фронт!» Морачевский отдал честь. «Можете идти!» Премьер-министр повернулся на каблуках и вышел... Будьте уверены, что тот самый Морачевский, на которого кое-кто из этих господ демократов смотрит, как на своего, не посмеет и пикнуть, если Пилсудский ему этого не прикажет!..

Эдвард потушил папиросу.

— А каковы его планы? Как он смотрит на наши действия?

Потоцкий остановился против Эдварда.

— За это вы можете быть спокойны, граф. Говорят, — и это, конечно, факт! — что Пилсудский, принимая на себя звание «начальника государства», сказал: «Я не сложу этого звания до тех пор, пока польский меч не начертит границу Польши от Балтийского до Черного моря!» И он это сделает, если мы сумеем справиться с взбунтовавшейся чернью! — Потоцкий остановился у окна и, нахмурясь, долго смотрел в темноту ночи.

— А что, разве наше положение так плохо? — с нескрываемым страхом спросил Казимир Могельницкий и затрясся в удушливом кашле.

Потоцкий ждал, когда он справится с кашлем. Но приступ все нарастал. Старик хватался рукой за горло. Эдвард, мрачно сидевший в кресле, встревоженно повернулся к нему.

Потоцкий с холодной брезгливостью наблюдал за трясущимся стариком. Наконец, Могельницкий перестал хрипеть.

— Вы спрашиваете, граф, каково наше положение,— начал Потоцкий возбужденно, и в глазах его сверкнула ярость.— Я думаю, вы тоже чувствуете, как под нашими ногами вздрагивает земля. Это землетрясение, господа! Самое страшное, пожалуй, в том, что это не только у нас. Если прежде можно было спастись, то теперь это почти невозможно. И нам остается только одно — заняться усмирением взбесившегося стада! — Потоцкий порывисто шагнул к столу.— В Варшаве есть такие господа, что уже упаковали свои сундуки и закупили билеты...— Он зло засмеялся.— Только неизвестно, куда они собираются бежать? Мне неизвестно, какие здесь у вас настроения, но я знаю, что мы, Потоцкие, а с нами Сангушки, Радзивиллы, Замойские, Тышкевичи, Браницкие — все, кто богат и знатен в Польше и чьи имения находятся здесь, на Украине,— мы не сложим оружия, пока не истребим всех, кто протянул свою хамскую руку к нашему добру! Да, мы отсечем эту руку вместе с головой!

Эдвард искоса посмотрел на Потоцкого.

«Да, этому есть что терять! Десятки сахарных заводов, сотни тысяч десятин земли, полмиллиарда состояния,— этот, конечно, будет драться! Если я из-за несчастных пяти миллионов рискую здесь головой, то уж ему сам бог велел»,— подумал он.

— Гэ... умм... да! Это хорошо сказано. Именно руку с головой, хо-хо-хо! Но для этого нужно, чтобы в Варшаве не пускали этих мазуриков — социалистов — к власти. Я, знаете, когда узнал, что Пилсудский назначил Игнатия Дашинского министром, так у меня целый день живот болел,— как всегда грубо и чрезмерно громко заговорил Баранкевич.— Ну, думаю, если его министром сделали, то добра не будет! Эта бестия у себя в Люблине и так напакостил достаточно... Гэ... умм... да!

Восьмичасовой ра-бо-чий день! Как вам это нравится? Я с двенадцатичасовым прогораю. А они...

Потоцкий властным жестом остановил его.

— Я вижу, пан все упрощает. Дашинский, этот пугающий вас вождь партии польских социалистов, по-своему, очень полезный человек. В этом сумасшедшем водовороте, охватившем Польшу, только такие люди, как он, могут спасти нас с вами. А вы его ругаете и к слову и не к слову. Если бы Игнатий Дашинский действительно был опасным человеком, то, уверяю вас, Пилсудский не назначил бы его министром,— уже начиная сердиться, сказал он.

— Гэ... умм... да! Но...

Потоцкий не дал Баранкевичу высказаться.

— Пан очень похож на телеграфный столб. Прошу прощения, я, право, не хотел вас обидеть. Твердость убеждений полезна, но не в такой мере,— издевательски засмеялся Потоцкий.— Кстати, пан может успокоиться: восемнадцатого ноября Дашинский подал в отставку.

— Почему? — заинтересовался отец Иероним.

— Повидимому, ему сейчас невыгодно быть министром. Вы понимаете, все-таки он «представитель народа», а ППС поневоле должна играть в оппозицию. Не всем, например, нравится наше законное стремление начать немедленную войну с украинцами, белорусами и литовцами. Чернь, видите ли, не желает больше воевать. Да что чернь! Даже кое-кто из буржуа и помещиков, имения которых пока что в полной безопасности, считают наши планы слишком рискованными. Но таких куриц, к счастью, не так уж много. Во всяком случае мы заставим и их раскошелиться. Если они думают, что только мы будем создавать на свои средства целые полки и защищать их сундуки, то они глубоко ошибаются.

Баранкевич принял намек на свой счет.

— Гэ... умм... да! Но не у всех же состояние одинаково.

Чувствуя, что Баранкевич может сейчас сказать Потоцкому какую-нибудь дерзость, Эдвард вмешался в разговор:

— Скажите, граф, если это не секрет, куда вы думаете направиться отсюда?

— Вам я могу открыть свой маршрут. Я еду в Здолбуново. Там формируется мой полк, которым я буду командовать. Кстати, вы не послали еще «Начальнику государства» свой рапорт и просьбу утвердить производство в офицеры всех командиров вашего отряда? — сказал Потоцкий.

— Нет, — ответил Эдвард. — А что, разве Пилсудский обязательно должен это утверждать?

— Да, но это не должно вас тревожить. Он это делает без оговорок. Сейчас такое время, что не до формальностей. Вы тоже думаете формировать полк? Ну, вот! Чин полковника польской армии вам обеспечен.

Эдвард вспыхнул.

— Я, граф, уже пять лет ношу звание полковника гвардии, в данное время — полковника французской службы. И не собираюсь спрашивать у этого новопеченного генерала, пожелает он мне его дать или нет.

Потоцкий прикусил губу.

— Ваше дело, граф. Но для приличия это можно сделать. Это укрепляет авторитет армии. Для меня Пилсудский тоже не бог. Но я принял звание полковника, мои братья — тоже. И не вижу в этом ничего зазорного, — сказал он сухо.

Он щелкнул каблуками.

— Разрешите, граф, покинуть вас. Я и мои спутники должны отдохнуть, так как с рассветом мы движемся в путь.

Эдвард лично проводил Потоцкого в отведенную ему комнату.

Когда они остались с глазу на глаз, Потоцкий сказал:

— При этих господах я не счел возможным рассказывать все. Языки у них подвешены не так уж крепко, поэтому я умолчал о самом главном. Вы будете так любезны задержаться у меня?

— Пожалуйста, я вас слушаю, граф.

Они сели за стол.

— Вы знаете, что Пилсудский приказал разоружить

немцев на всей территории Польши? — спросил Потоцкий.

— Да. Но это не всегда возможно... Например, у меня недостаточно сил.

Потоцкий недоверчиво посмотрел на Эдварда.

— Скоро подойдет князь Радзивилл. Потом целый ряд мелких легионерских отрядов тоже направляется сюда. Если вам удастся задержать эшелон на два-три дня, то их можно будет разоружить. Нам ведь нужны орудия, боеприпасы...

— Конечно, если мне помогут, то я их разоружу. Но учтите — вокруг в селах начинается повстанческое движение. Например, в двадцати верстах есть большое село Сосновка, там имение пана Зайончковского. Достаточно было Зайончковскому отобрать у крестьян спорное сено и рожь, чтобы хлопцы схватились за вилы. У него был всего десяток легионеров. Конечно, они не смогли справиться. В результате крестьяне легионеров разоружили, избили. А Зайончковские едва спаслись. В селе Холмянке — то же самое. А в Павлодзи настоящее восстание: там убили помещика, перестреляли всех легионеров.

Потоцкий слушал его, крепко сжав губы.

— Все это мелкие неприятности... Но я хочу осведомить вас об украинских делах,— сказал Потоцкий.

— Я слушаю.

— Вы, конечно, знаете, что первого ноября галичане объявили образование Западной Украинской республики.

— Мне говорил об этом отец Иероним.

— Да, кстати, что это за монах?

— Это — иезуит... Ему доверяет кардинал. Он неплохой информатор.

— А-а! Я так и думал. Он, конечно, умнее этого жирного заводчика. Но я отвлекся. В Варшаве считают, что Галиция должна быть занята нами в первую очередь,— там нефть, железо... Мы сначала протестовали против этого плана,— ведь большинство наших имений на Волыни, в Подолии, а не в Галиции. Но пилсудчики нас заверили, что после Галиции сейчас же примутся за Украину. Мы обсудили это со многими

заинтересованными фамилиями и пришли к выводу, что занятие Галиции нисколько не нарушит наших планов, а наоборот — мы будем иметь обеспеченный тыл. Мы согласились с условием, что на Галицию Пилсудский двинет свои резервы и отряды галицийских помещиков, а мы свои силы направим на Волынь и Подолию.

Эдвард одобрительно кивнул головой.

— Это справедливо. Каждый будет воевать за свои поместья с гораздо большим жаром, чем только за отвлеченное понятие «Великодержавная Польша».

Потоцкий усмехнулся.

— А как дела с Москвой? — спросил Эдвард.

Улыбка исчезла с губ Потоцкого.

— С Москвой будет большая война. Пилсудский спит и видит наполеоновскую дорогу. Ну, если и не до Москвы, то хотя бы до Смоленска.

На этот раз улыбнулся Эдвард.

— Не считаете ли вы, что это опасное историческое сравнение?

— Нет! Тогда была иная ситуация. Поверьте, что в Варшаве не такие уж глупцы. Москву зажимают в железное кольцо, и Пилсудский достаточно хитрый человек, чтобы воспользоваться этим и выкроить для Польши солидный кусок русского мяса. Беда только, что у нас нет пороха для большой войны... А тут еще эта Украина.

— Да, граф, вы обещали меня информировать...

— Вот видите — затронешь одно, оглядывайся на другое. Да, что вы знаете о Симоне Петлюре?

— Почти ничего, кроме того, что этот субъект сейчас верховодит в так называемой Украинской Директории, — ответил Эдвард.

Потоцкий что-то искал в карманах.

— Об этом человеке надо вам рассказать. Ведь вам с ним придется иметь дело. Сейчас его банды запрудили почти всю Волынь и Подолию. Красные разбросаны там группами в разных местах.

— Вот оно! — Он вынул из бумажника сложенный вчетверо лист. — Краткая характеристика, которую князь Сапега просил передать вам, копия донесения нашей киевской агентуры.

Эдвард взял листок.

— Мне о нем говорили еще в Париже, в военном министерстве. Этот авантюрист обставил генерала Табуи в прошлом году, когда в Киеве была еще так называемая Центральная Рада.

— Совершенно верно. Вот вы прочтите, там довольно метко написан его портрет.

Эдвард вполголоса читал:

— «Его овальное лицо с правильными чертами ничем не обращает на себя внимания. Его серые, глубоко посаженные глаза прячутся, избегая взора. Массивная челюсть, чувственный рот с устало опущенной нижней губой, заплывший подбородок, большие, слегка оттопыренные уши,— ничто не выражает энергии, смелости, силы воли, характеризующих вождя. Обладая не очень крупным умом, склонный скорее к интригам, чем к широким политическим комбинациям, Петлюра особенно искусен в подготовке маленьких подпольных «событий», в одновременном проведении двух противоположных линий действия, в быстроте начинаний, неожиданных не только для его противников, но и для друзей. Эгоист и честолюбец, он всегда ставит свои личные интересы выше долга службы. Получив не очень большое образование, он так и остался заурядным человеком в скверном, узком смысле этого слова.

Петлюра родился в Полтаве в тысяча восемьсот семьдесят седьмом году в зажиточной казацкой семье и воспитывался в одной из тех семинарий, где подготавлилось национальное украинское движение. Революция тысяча девятьсот пятого года застаёт его правым социал-демократом. Это публицист очень небольшого калибра, даже на фоне тогдашней, бедной силами украинской интеллигенции, как позволяют судить его статьи, вышедшие впоследствии отдельной книгой. Он редактирует в Киеве еженедельник «Слово», потом в Москве журнал «Украинская жизнь», публиковавший в начале войны верноподданнические воззвания. Поэтому Петлюра и не увидел фронта. Его мобилизовали для административной работы в глубоком тылу, где он спокойно дожидался окончания военных действий. В июне тысяча девятьсот семнадцатого года он занимал

пост генерального секретаря по военным делам в правительстве Центральной Рады. Он начал подражать Керенскому, заимствовав у него все, даже жесты и позы. Петлюра ораторствует на солдатских митингах, перенимая, вслед за Керенским, традиционную наполеоновскую позу. После того как Центральная Рада была изгнана из Киева восставшими рабочими и солдатами, Петлюра становится одним из активнейших сторонников беспощадной борьбы с большевиками, возглавляя крайнее правое крыло в Центральной Раде. В начале тысяча девятьсот восемнадцатого года Петлюра сразу изменил французскую ориентацию на немецкую и вернулся в Киев в обозе немецких оккупационных войск. Здесь он неплохо устроился при гетмане Скоропадском, но вскоре поскандалил с ним, за что был временно посажен под арест. Он это ловко использовал впоследствии, выдавая себя за «борца» против немцев и гетмана, которым еще вчера лизал пятки. В Директории он самый правый, и фактически руководит всем не Винниченко, а он. Да и вообще уход Винниченко — дело решенное, и тогда Петлюра безусловно займет его место. Сейчас этот демагог и авантюрист использует повстанческое движение против немцев и помещиков в своих карьеристских целях. Он не брезгует ничем, швыряя лозунгами: «За самостоятельную Украину», «Долой польских панов», а по другую сторону — «Долой москалей» и тому подобное. Наша агентура при штабе Деникина сообщает, что Петлюра прислал генералу Деникину своего эmissара с предложением услуг. Но, как говорят, Деникин не пожелал иметь с ним дела. Мы думаем, что Петлюру можно купить за соответствующее моральное и материальное вознаграждение, и он будет служить Царству Польскому, если, конечно, за ним хорошо присматривать, имея в виду, что этот человек может продать любого хозяина в любую минуту, когда это будет ему выгодно.

Просим это учесть в Варшаве. Повторяем, Петлюра может служить Польше, если его соответственно обрабатывать. Хотя его войска, состоящие поголовно из крестьян, настроены против нас, но «головной атаман» уже не раз доказал свою способность ставить свою

политику вверх ногами. Единственно, с кем Петлюра действительно будет бороться,— это с большевиками, которых он ненавидит и которых истребляет с похвальным рвением. Мы считаем, что сейчас самое подходящее время для занятия хотя бы Волынской и Подольской губерний. Надо пользоваться тем, что Россия напрягает все свои силы на других фронтах. Напоминаем, что это будет труднее сделать, когда красные партизанские полки соединятся в одну армию. Это надо делать незаметно, оттесняя петлюровские отряды на юг, и, пока петлюровцы занимаются здесь разбоем и еврейскими погромами, можно будет очистить северную часть Волыни от его банд и восстановить власть Речи Посполитой».

Эдвард положил письмо на стол.

— Что же, это нас вполне устраивает,— сказал он, подумав.

— Значит, вы тоже согласны с нами? — оживился Потоцкий.

— Да.

— Теперь вы понимаете, какова должна быть наша политика: пока сил у нас мало, действовать потихоньку, отнимая уезд за уездом у России и Украины. У них в Белоруссии почти совсем нет войск. Войны мы России пока объявлять не будем; а, пользуясь каждым удобным случаем, будем выталкивать красные части из Белоруссии и Литвы. Для этого новый министр иностранных дел пан Василевский уже поднял в печати кампанию против советского правительства. Благо для этого есть зацепка!

— Какая? — спросил Эдвард.

— Они в Москве лишили дипломатических привилегий пана Жарновского, которого посланник Регенционной Рады Ледницкий оставил своим заместителем в Москве. Василевский уже поднял крик, обвиняя большевиков в нарушении международного права, и послал два ультиматума, требуя немедленного восстановления в правах Жарновского и возвращения архивов посольства.

Эдвард удивленно взглянул на него.

— Позвольте, я вас не понял. Ведь Жарновский был

по существу представителем не Польши, а немецких оккупантов? Ведь наше правительство объявило Регенционную Раду вне закона!

Потоцкий засмеялся.

— Для нас это понятно. Это так. Кто в Польше не знает, что Регенционная Рада состояла из немецких лакеев, продававших Польшу немцам «в розницу и на вывоз»? Правда и то, что они объявлены вне закона, но для дипломатов тот факт, что в Москве, исходя из этого решения, отстранили Жарновского, как объявленного вне закона, от посольских полномочий, достаточен, чтобы закричать о нарушении международных прав, хотя для здравого смысла это непонятно. Но дело ведь в том, чтобы найти зацепку. Наши газеты уже кричат, что большевики оскорбляют честь Польши, арестовывают послов, ну и все в том же духе... Это подогреет общественное мнение, даст кое-какое оправдание нашему наступлению на Белорусском фронте...

Эдвард шевельнулся, желая найти более удобное положение.

— Конечно, если бы это относилось к другому государству, то было бы нелепо. Но в борьбе с большевиками все средства хороши! — Он посмотрел на часы. — Кстати, я приказал начальнику жандармерии расстрелять сегодня девятнадцать красных, которые сидят у меня под замком. Разрешите, я позвоню в штаб?

Потоцкий встал.

— Мы еще увидимся с вами завтра перед отъездом? — спросил Эдвард.

— Вероятно, нет. Мы уезжаем на рассвете. Я прошу вас держать со мной тесную связь.

— Обещаю. Будьте осторожны в пути!



Людвига с тоской прислушивалась к бою часов.

«Езус-Мария! Какая ужасная ночь!» — прошептала она.

Сон бежал от нее. Все эти ночи Эдвард спал в своем кабинете. Теперь там расположились офицеры Потоцкого. Эдвард, наверное, придет сюда. Она не

хотела этой встречи. О чем они могут говорить сейчас? И вот теперь он придет как муж. Это вызовет новое столкновение... Она закуталась в одеяло, когда услышала стук открываемой двери. У Эдварда был свой ключ от спальни.

Раньше это были желанные встречи. Сейчас же это напоминало ей о том, что она в сущности рабыня этого человека. Только рабыня, одетая в шелк, имеющая право приказывать слугам, носить титул, воображать себя маленькой царицей для того, чтобы все это подчинялось лишь его воле...

Как это было приятно раньше и как тяжело сейчас!..

Эдвард вошел в спальню.

— Я останусь здесь, — сказал он, уверенный, что она не спит.

Людвига молчала. Он раздевался. По тому, с какой резкостью он отстегивал пояс, она почувствовала — злится.

Он подошел к кровати и, раскрывая одеяло, сказал, сдерживая себя.

— Сегодня я хочу быть с тобой...

Людвига пыталась натянуть одеяло на обнаженное плечо, но его рука сбросила одеяло на пол.

— Что это такое, Эдди? Я не хочу, чтобы ты оставался здесь! — оскорбленно воскликнула Людвига.

— А я хочу!

Он присел на кровать и положил руку на ее грудь.

— Уйди, Эдди! Я не могу тебя видеть... Уйди! — защищалась она.

— Послушай, Людвиг, мне все это уже надоело. Неужели ты думаешь, что я и впредь буду спать на диванах в ожидании, когда ты сменишь гнев на милость? Это состязание не в моем духе. Давай лучше помиримся! — Он наклонился к ней. Она отстранила его:

— Оставь меня!..

Но близость её полуобнаженного тела уже опьянила его. Он легко отвел ее руки и силой овладел ею... Повернувшись к ней спиной, он сразу же заснул.

Униженная, она плакала. Самое горькое было в том, что она чувствовала себя безвольной, способной ответить на это грубое насилие лишь слезами.

Эдвард был ей отвратителен. И он может спать, оскорбив ее женскую гордость! И его душу не тревожит то, что по его приказу этой ночью расстреляют людей. Она с отвращением отодвинулась на край кровати и осторожно, боясь, что он проснется, поднялась и ушла в свою комнату. И там, забившись в угол дивана, долго беззвучно плакала.



Адам, только что пришедший с караула, пил холодный чай. Жена и Хеля уже спали. Во флигеле опять было полно чужих — здесь спали двадцать три человека из конвоя графа Потоцкого.

Он мрачно жевал ломоть хлеба и смотрел невидящим взглядом перед собой.

В окно постучались. Адам нехотя поднялся, пошел открыть двери.

На пороге стояла Франциска. Она только что вернулась из города.

Он молча пропустил ее в комнату, закрыл дверь и глухо спросил:

— Ну, что?

Франциска порывисто сняла с плеч мокрый платок.

— Ничего! — ответила она упавшим голосом. — Я его не видела — не пустили...

Адам понуро стоял перед ней, зажав в руке недоеденный кусок хлеба.

— Здесь за тобой приходили...

— Зачем? — с ненавистью спросила Франциска.

Адам шевельнул желваками и, отводя глаза в сторону, ответил:

— Отец звал готовить Потоцкому постель...

Франциска глубоко вздохнула, словно ей трудно было дышать.

— Постель стлать? — Ей сдавило горло. Она с презрением глянула на Адама. — И что ты сказал:

— Что придешь, когда вернешься.

Большие серые глаза Франциски стали зелеными. Что-то дикое, необузданное вспыхнуло в них.

— Сволочи вы все! — шептала она ненавистно. — Слышишь? Сволочи! И ты и твой отец... будь он проклят, старая собака!..

Адам отшатнулся от нее.

— Почему ты Хелю не послал?

— Она не сумеет... — растерянно бормотал он.

— Сумеет! Этот кнур Владислав научил уже... Вы ж нас всех продали здесь... Твое счастье, что Барбара лицом не вышла, а то и с ней спали бы все, кому захотелось...

— Что ты говоришь?

— Ты у Хели спроси — она расскажет... И какая несчастная доля меня сюда пригнала?

Адам свирепо уставился на нее.

— Чего смотришь? Брата, может, вешают сейчас, а ты, как собака, охраняешь их, чтобы кто случайно не сунул ножа в графские кишки... Холуй проклятый! — она оттолкнула его и выбежала в сени.

Адам, отравленный словами Франциски, грубо будил дочь.

Глава десятая

Трое на водокачке, волнуясь и вздрагивая, слушали, как учащалась стрельба. Вот уже заклокотало у вокзала. В этой нарастающей буре звуков чувствовалось ожесточение борьбы. Андрий замер, прижав руки к груди.

— Что ж они оставили нас здесь? Где ж это видно, чтобы я стоял и дожидался, чья возьмет? Поихнему, я ни на что не способный? — сказал он с горечью.

Стоящая рядом Ядвига притянула его к себе и по-матерински успокаивала:

— Что ж делать? Нам приказали оставаться здесь.

Олеся молчала. На дворе слышались голоса и, как показалось Андрию, храп лошади. Олеся схватила Птаху за плечо.

— Андрий, что это?

Птаха похолодел. «А что, если ляхи? Тогда все пропало»,— чувствуя, как сжалось его сердце, думал он.

В дверь застучали. Андрий, натываясь на табуретки, устремился к двери. Здесь на полу лежал топор.

— Григорий Михайлович! Это я, Щабель. Открывай!

— А, Щабель! — радостно воскликнула Олеся и тоже бросилась к двери.

— Кто это? — остановил ее Андрий.

— Это наши... Я сейчас открою.— И она уже снимала крюки.

— Ну, вот и я,— сказал кто-то высокий, невидимый.

— А наши уже ушли,— укорила Олеся.

— Слышим! Запоздали мы — с холмянскими все торговались. Они к Могельницкому ходокос слать хотели. Дескать, не тронь нас — и мы тебя трогать не будем. Пока мы их уломали, время прошло... Свети, Олеся, что ли.— И Щабель зажег спичку.

На миг он увидел Андрия.

— Это кто? — недоверчиво спросил он.

— Это Андрий,— почему-то смутилась Олеся.— Его отец оставил здесь.

Вслед за Щабелем в комнату вошел низкорослый широкоплечий крестьянин.

— Здравсьте, хозяева!

Щабель пожал руку Ядвиге.

— Это Евтихий Сачек из Сосновки,— сказал он, кивнув на крестьянина.

Олеся поставила зажженную лампу на стол и поспешила к окну, чтобы его завесить.

— С нами человек пятьдесят сосновских и около тридцати холмянских. Им сейчас винтовки дать надо,— сказал Щабель.

Ядвига отвела его в сторону.

— Товарищ Раевский сказал, что для вас патроны сбросят на ходу близ речки. Он поручил передать вам, чтобы вы повели свой отряд на усадьбу Могельницких. Этим часть легионеров будет задержана, пока наши не захватят города. А вы попытайтесь занять прежде всего фольварк. Там стоят немецкие лошади...

Щабель быстро повернулся к Сачеку.

— Сейчас возьмем винтовки и двинем на фольварк. Скажи своим хлопцам, что там коней хороших добудем...

— Это дело! — обрадовался Сачек. — Что-то у меня кони хромать стали, и парочка мне как раз...

— Ну, ладно, ладно! Пошли. Слышишь, как в городе шкварчит? Рассусоливать тут некогда...

Они вышли во двор, где их ожидали крестьяне. Птаха решительно сказал Ядвиге:

— Я с ними пойду!

— Как пойдете? А ваши руки?.. — растерялась Ядвига.

— А мы одни останемся? Хорош защитник! Тогда я тоже пойду. Я одна здесь ни за что не буду! — вспыхнула Олеся.

— Тогда и мне надо уходить, — тихо сказала Ядвига.

— Вот и пойдем все вместе. Оставаться я не хочу, мне страшно здесь, — заупрямилась Олеся.

— Куда ж ты пойдешь? Там же война, — сказал Андрий устыдившись.

— Ну и что ж! Возьмем с Ядвигой Богдановной ту сумку с бинтами и будем псмогать, если кого покалечат.

Андрий не знал, что ответить.

— А что Григорий Михайлович мне скажет!

— Почему тебе? Я сама ему отвечу! Идемте, Ядвига Богдановна.

Раевская уже надевала пальто.

— Олеся, развяжи мне правую руку, — попросил Андрий.

— Как развяжи? Она же обваренная вся...

— Ты мне два пальца, вот этих, размотай, чтобы я мог затвор дергать.

— Не буду я разматывать — тут одно живое мясо...

Андрий шагнул к Ядвиге.

— Прошу вас, развяжите! А то я зубами порву.

Ядвига несколько мгновений смотрела на него и молча принялась развязывать бинты.

— Я немножко оставляю, вот здесь...

Вошел Щабель.

— Все в порядке — патроны, винтовки есть! Сейчас двинемся... Дождь перестает...

— И мы с вами,— сказала Ядвига.

Птаха выбежал во двор и вернулся с винтовкой. Карманы пиджака были набиты патронами.

— А мне ты принес? — спросила Олеся.

Они впервые за все это время встретились глазами.

— Тебе? — переспросил он удивленно и улыбнулся.

Он передал ей свою винтовку и стал торопливо совать в карманы ее жакета обоймы с патронами.

— Сейчас я научу тебя, как заряжать. Вот берешь за эту штучку — раз! Затем к себе... Ишь патрон выскочил. Раз — загнал в дуло. Опять сюда! Теперь тянешь за курок — и одним гадом меньше на свете... Приклад крепко прижимай к плечу. Бери, я сейчас себе достану.

Уже уходя, Андрий спохватился:

— А Василек?.. Куда парнишку девать? — Он побежал в кухню. — Васька, вставай живее! Да проснись ты, соня! Мы уходим. Слышишь? — Уходим! Ты закрой дверь и спи себе. Мы скоро вернемся...

Сонный Василек ничего не понимал. Андрий уже подталкивал его к двери.

— Закрывай на крюк и ложись спать.

Василек моргал спросонья и что-то бормотал про себя, но в конце концов понял, что надо закрыть дверь и идти спать. Он так и сделал.



Щабель взял фольварк без единого выстрела. Их налет был как снег на голову. В усадьбе Эдвард поставил под ружье всех, кто только мог носить оружие, и двинулся в город. В палаццо остался только граф Потоцкий с конвоем. Услыхав начавшуюся вокруг усадьбы стрельбу, Эдвард повернул свой отряд назад.

«Что это? — думал он. — В городе бой? Черт знает, кто с кем дерется. Неужели немцы обнаглели? Ну, а на фольварке кто?» — Он приказал окружить усадьбу.

У ворот его встретил Потоцкий. Он был на коне.

— Что это, по-вашему, граф?

— Не знаю. Связи с городом нет.

От фольварка слышались редкие выстрелы. Могельницкий не решался двигаться туда ночью. Он решил дожидаться утра, не уходя от усадьбы ни на шаг.

А на фольварке в это время происходило неладное. Захватив фольварк, холмянцы затеяли ссору с сосновскими, начав тут же делить коней.

— Мы первые вскочили во двор, кони наши! — кричал высокий холмянец, уже сидя на оседланной немецкой лошади и держа в поводу еще тройку.

К нему подскочил Сачек.

— Отдай, говорю тебе! Скажи спасибо, что одного получил. А ты все загребти хочешь... У меня вот все кони на ноги пали, а ты хватаешь...

Споры из-за коней загорались во всем фольварке. Щабель, находясь в цепи, обстреливавшей имение, по редким выстрелам понял, что часть крестьян куда-то убежала. Он кинулся к воротам.

— Гей, мужики! Что ж вы?

Но его никто не слушал. Кое-где уже награждали прикладами друг друга. Высокий холмянец поджигал своих:

— Забирай коней и тикаем до дому! Пусть они сами справляются... Чего нам лезть в прорву? Гайда до дому, хлопцы! А кто пущать не будет, так бей его з винта.

Щабель поздно понял опасность.

— Куда вы, хлопцы? Что ж это — продаете, значит? — кричал он.

— Злазь с дороги! — гаркнул на него высокий холмянец.

— Пущай сосновские отдают коней, тогда останемся... А у нас Могельницкий все позабирал, так мы хоть этим попользуемся...

— Чего там с им тарабарить? Гайда, хлопцы, до дому! А то еще окружают тут, и без головы останешься...

Щабеля оттеснили в сторону.

Птаха едва успел спасти Олесю от лошадиных копыт. Холмянцы, нахлестывая коней, налетая друг на друга, матерясь на чем свет стоит, промчались мимо них. Через минуту их не стало слышно.

С первыми выстрелами немцы зашевелились. Вдоль эшелона забегали фельдфебели. Слышались короткие слова команды. Когда стрельба разгорелась с особенной силой и стала приближаться к вокзалу, у штабного классного вагона заиграл тревогу горнист.

— Господин полковник, вас желает видеть какой-то военный, называющий себя польским офицером.

— Введите, — сказал полковник Пфляумер.

— Честь имею представиться — капитан Врона.

— Чем объяснить эту стрельбу? — с угрозой спросил полковник.

— Дело в следующем, господин полковник, в городе вспыхнуло большевистское восстание. Нам был предъявлен ультиматум невмешательства в их действия. Они хотят разоружить ваш эшелон, а офицеров расстрелять. Мы всю ночь вели бой, но сейчас вынуждены просить вашей помощи... Мы сделали все, чтобы предотвратить этот бунт. Но у нас иссякли силы, и мы должны оставить город.

Грохот пальбы у вокзала как бы подтверждал его слова. Вокруг полковника стояла группа немецких офицеров в стальных шлемах.

Густые цепи немцев залегли вдоль паранета товарной станции, другая часть солдат возилась на платформах с бронеавтомобилем и у орудий.

— Так-с, — процедил сквозь зубы Пфляумер и выплюнул остаток сигары. — Они хотят нас разоружить? Ну, это мы еще посмотрим...

— Конечно, господин полковник, если вы вмешаетесь, то от этой мрази не останется и следа.

Врона разглядел среди офицеров Шмультке.

Лейтенант что-то тихо говорил полковнику.

— Простите, как вас?..

— Капитан Врона, — подсказал Шмультке.

— Ага! Так мы вмешаемся обязательно. Будьте добры, отведите своих солдат вон туда! — махнул он рукой влево. — Мы сейчас начнем операцию. Снять оружие! Свезти бронеавтомобиль на землю! Господин председатель полкового совета, объясните солдатам причину боя.

К рассвету город был занят рабочими. Щабель прочно засел на фольварке, приковав Могельницкого к усадьбе.

Но когда полная победа была близка, на вокзале загрохотали мощные залпы. Оттуда по городу брызнули огнем и сталью. Залаяли сразу полтора десятка пулеметов. Немцы двинулись на город.

Целый час Раевский упорно сопротивлялся, задерживаясь на каждом углу. Но по улицам рыскал неуязвимый бронеавтомобиль, направляя огонь своих пулеметов в переулки и дворы.

— Эх, бомбы нет! — бесился Чобот.

Восставшие отходили, оставляя улицу за улицей. А серо-зеленые цепи немцев методично, размеренно двигались вперед. Так же размеренно грохали на станции четыре орудия, швыряя в город тяжелые снаряды.

— Что же, Зигмунд, выходит — проиграли? — сказал Ковалло, быстро шагая рядом с Раевским.

— Да, этого я больше всего боялся. Здесь без провокации не обошлось... Метельский вчера хотел поговорить с полковым советом, но председатель, продажная душа, пригрозил его арестовать. Теперь надо сохранить людей. Будем отходить на Сосновку. Из города надо выбраться как можно скорее, до утра, а то здесь окружают...

В предрассветной дымке кутался город. Последние цепи рабочих уже покинули пригород.

Щабель прислушался.

— А ведь наши из города уходят... Слышишь, пальба уже с пригорода? Видать, немцы полезли в драку. Что ж, тогда и нам отходить надо, пока не рассвело... Будь здесь холмянцы, можно было бы на усадьбу нажать, а так делать нечего. Передать, чтобы отходили! — сказал он Сачку.

— Фольварк запалить? — спросил тот.

— Не надо. Все равно нашим будет, — запретил Щабель. — Пусть садают на коней.

— А баб куда же? — недовольно буркнул Сачек.

— Их тоже на коней посадим.

— Тут я подводу снарядил с барахлишком, одну посадить можно!

Щабель помог Олесе сесть в седло.

— Не упадешь? — сказал он, подавая ей поводья.

— Нет, я у себя в деревне ездила.

— Ну, а ружье перекинь через плечо. Эх, и вояка же из тебя геройский! — пошутил он, но сейчас же по-мрачнел...

Птаха скакал рядом с Олесей. Ему все казалось, что девушка может упасть...

Через полчаса они соединились с уходящими из города.

Эдвард Могельницкий приехал на вокзал, чтобы лично отблагодарить полковника Пфляумера за оказанную помощь.

— Чем могу быть вам полезен? Скажите, и все, что в моих силах, будет сейчас же сделано.

Полковник Пфляумер отказался от услуг.

— Благодарю. У нас есть все необходимое. Но вслед за нами движется пехотный франкфуртский полк. Господин Шмультке говорит, что в нем служит ваш брат. Как мне известно, они нуждаются в продовольствии и теплой одежде. Начинаются холода. Вот если вы им поможете, это будет прекрасно.

— Конечно, конечно! — заверил его Эдвард. — Может быть, господин полковник разрешит мне наградить его доблестных солдат? Я хочу выдать им по сто марок...

— Это можно. Я передам о вашей любезности полковому совету. Кстати, мы здесь думаем задержаться до прихода франкфуртцев и просим не чинить нам препятствий в получении хлеба из пекарни.

Могельницкий приложил руку к козырьку.

— Я немедленно отдам приказ доставлять вам хлеб сюда, на вокзал. Теперь разрешите от имени наших дам и всей семьи пригласить вас и господ офицеров на вечер, устраиваемый в вашу честь в нашем родовом имении. За вами будут присланы экипажи.

— Спасибо! Я передам офицерам. Если все будет спокойно, мы приедем.

Могельницкий со своим штабом уехал.

— Надо торопиться, а то мы с ними не справимся тогда,— сказал Могельницкий Вроне, когда они возвращались в город.— Пошлите двоих курьеров к Замойскому. Пусть он снимет свой отряд из-под Павлодзи и движется сюда. Пусть ему скажут от моего имени, что, как только мы справимся с немцами, я помогу ему разгромить павлодзинцев. А вы подготовьте на вокзале все, что нужно. Если наш план провалится, то придется эвакуировать город и открыть немцам дорогу... Не упускайте холмянцев из виду, когда они появятся. Действуйте энергично!



Потоцкий не уехал в этот день, как думал. Восстание в городе задержало его. Когда положение было восстановлено, в кабинете Эдварда был разработан предложенный Потоцким план разоружения немцев. Горячий Потоцкий защищал его с таким пылом, что Эдвард не мог возражать, не рискуя навлечь на себя обвинение в трусости.

— Вы говорите — риск, но где его нет? Я сам буду помогать вам и уверен, что мы немцев разоружим,— самоуверенно говорил Потоцкий.

Во время их беседы отец Иероним доложил, что приехала делегация от холмянцев. Эдвард приказал арестовать их.

— Я их повешу. Они разгромили наш фольварк в Холмянке, а здесь забрали купленных мною лошадей! — крикнул он.

Но тут неожиданно вмешался Потоцкий.

— Повесить всегда можно. А нельзя ли их использовать для наших замыслов?

Эдвард удивленно посмотрел на него.

— Вы думаете? Это же сброд!..

— Ничего, ничего! Пусть отец Иероним с ними побеседует. Скажите им, что если они к вечеру пришлют пятьдесят человек к вокзалу и помогут нам разоружить немцев, то получат часть добычи, денег и графское прощение,— обращаясь к отцу Иерониму, приказал Потоцкий.— Ну, вы сами знаете, как это уладить...

Отец Иероним ушел, но вскоре вернулся.

— Они просят, чтобы сам вельможный пан сказал им это.

Эдвард взглянул на Потоцкого.

— Ничего, подите. Это ведь ни к чему не обязывает. Эдвард поднялся.



Вечером, когда в усадьбе Могельницких собрались почти все немецкие офицеры, Эдвард с Потоцким, окруженные конвоем, поехали к вокзалу.

Наспех собранные для вечера панны усиленно занимали гостей. Повеселевший Юзеф не жалел вина.

Немцы понемногу осваивались.

Шмультке и Зонненбург ухаживали за Стефанией. А хитрая полька дарила немцев лукавыми взглядами, хохотала. И никому не могло прийти на ум, что творится сейчас на вокзале.

Длинноногий немецкий солдат бегал от вагона к вагону и радостно кричал в открытые двери:

— Торопитесь получить по сотне марок! А то, чего доброго, не хватит, тогда останетесь с носом. Деньги раздадут в первом классе вокзала.

Вагоны опустели. Густая толпа солдат заполнила залы первого и второго классов. Фельдфебель выкрикивал фамилии, а трое служащих управы выдавали каждому стомарковую ассигнацию. У столов — толкотня, крики, споры. Кто-то получил дважды, его уличили.

А в это время Дзёбек, от которого все еще несло отвратительной вонью, хотя он трижды отмывался в бане, каждый раз вновь отсылаемый туда Вроной, с несколькими жандармами вел к паровозу Воробейко.

— Садись и двигай к эшелону. Подойдешь и сразу же нажимай на все колеса, чтобы эшелон в один момент был вывезен за станцию. Отвезешь версты за четыре и остановись. Смотри у меня, чуть что... — И он показал помощнику машиниста на револьвер.

— Но они ж меня убьют за это!

— Ни черта тебе не будет! Садись и двигай. А будешь разговаривать, тут тебе и амба!

Воробейко, проклиная себя за то, что остался на станции, полез на паровоз.

По станции неслись дикие крики. Громыхая на стрелках, состав, быстро развивая ход, промчался мимо вокзала и скрылся за депо.

Кое-кто из солдат пытался догонять, но вскоре, видя бесполезность этого, останавливался.

Большинство солдат были безоружны. Только унтер-офицеры имели револьверы и некоторые солдаты — тесаки.

— Измена! Нас предали! — неслись со всех сторон возмущенные крики.

Разъяренные солдаты избили ни в чем не повинных служащих управы, опрокинули стол с деньгами.

Белобрысый лейтенант в пенсне, один из оставшихся на вокзале офицеров, пытался навести порядок.

— Кто с оружием, ко мне!

Но было поздно. Вокзал был окружен отрядом Могельницкого и людьми Потоцкого. А дорогу на север преградили холмянцы.

Ими командовал высокий крестьянин, во всем подчиняясь советам Зарембы, который с двумя десятками легионеров тоже был среди холмянцев.

Несколько залпов заставили немецких солдат по одному выйти из здания, как им было приказано.

Через полтора часа, без шинелей, которые с них сняли, а кое-кто и разутый, немцы, окруженные с трех сторон поляками, были выведены за станцию.

— Внимание! — заорал Заремба. — Вам приказано двигаться вперед, не останавливаясь ни на одну минуту. Дойдете до фатерланда и пешком, ничего!

Гробовое молчание было ему ответом.

Несколько сот человек молча шагали по грязи, мрачно опустив головы, затаив лютую ненависть к обманувшим их людям...

— Ну, что я вам говорил? — восхищенно воскликнул Потоцкий, гарцуя на беспокойном коне. — Теперь поедem к господам офицерам. С ними мы будем немножко вежливее. Надо все-таки помнить, что они сегодня вели себя прилично. Я напишу князю Замойскому, чтобы он пропустил их без эксцессов.

— Да, конечно, — согласился Эдвард.

Эшелон промчался мимо пустынного полустанка и через полчаса влетел на соседнюю станцию. Воробейко остановил паровоз и прыгнул со ступенек.

Со всех сторон к эшелону бежали вооруженные люди.

— Эй, хлопцы, що цэ такэ? Звидкиля состав? Гляды, да ось два нимца! А тут ще одын...

Воробейко окружили. Плотный, широкобородый дядько, перепоясанный пулеметными лентами, с наганом и бомбой за поясом, спросил:

— Кто такой будешь? Отвечай! Я атаман Березня.

— Повстанцы, значит? — обрадовался Воробейко. — А я думал, чи не панам ли в руки попался? Выходит — своим... — Он радостно улыбался. — А я вам, товарищи, броневи́к привез и четыре орудия. Будет чем панам припарки ставить... У нас не вышло. Поднялись мы, значит, своих из тюрьмы вызволили, расчехвостили легионеров, — так на́ тебе — немцы вмешались в это дело! Целый полк! Известно, разбили нас. Наши на Сосновку отошли, а у немцев с ляхами кутерьма началась. Взяли меня ляхи за жабры, чтобы я немецкий эшелон со станции вывез. Ну, я и допер сюды. Вот оно как получилось, товарищи!

Окружавшие Воробейко люди молча слушали его.

— А ты, случаем, не из большевиков будешь? — спросил его бородатый, назвавший себя Березней.

— Фактически являюсь партийным коммунистом, — с гордостью ответил Воробейко.

— А-а-а, коммунистом! — И бородатый цинично выругался. — Дак мы вашего брата к ногтю жмем. Берите его, хлопцы!

Воробейко растерянно озираясь.

— Кто же вы такие?

— Мы — петлюровцы. Не слыхал таких, а? Жидовский прихвостень! — жестоко оскалил зубы бородатый.

— Стало быть, вы — контра? — упавшим голосом произнес Воробейко.

— Понимай, как хошь. Отвести́ть его за переезд и

пустить до Карлы Марксы, ихнего бога,—махнул рукой бородатый.

Несколько человек схватили Воробейко и повели его в сторону.

В эшелоне уже шел грабеж.

— Тут, что ли, кончать будем? Куда его тащить дальше? — сказал один из петлюровцев.

Воробейко с тоской глянул вокруг.

За переездом начиналось поле. Дул холодный ветер. Воробейко вздрогнул от ужаса, что вот его сейчас убьют и никто об этом не узнает даже. И все это так просто...

— Ты православный? Так перекрестись, а то зараз кончим,—спокойно сказал один из петлюровцев.

— За что? — бессознательно спросил Воробейко.

— Сказал атаман — пустить в расход, значит заслужил...

— Что ж я вам сделал такого? Эшелон с добром пригнал. Разве ж вам не совестно рабочего человека убивать ни за что ни про что?

— Дак ты ж — коммунист?

Воробейко боялся, что ему выстрелят в спину, и поворачивался то к одному, то к другому.

— Мы ж, рабочие, все большевики! Что ж тут такого? У меня отец всю жизнь батрачил. За что ж убивать?

Один из петлюровцев сказал в раздумье:

— Может, мы его в самом деле пустим? На кой он нам?

Другой нерешительно протянул:

— Черт с ним — нехай идет!

Третий, уже снявший винтовку, закинул ее опять за спину.

— Вались, да смотри, не попадайся атаману на глаза. А из коммунии вылазь, дурень!

— А вы мне в спину не жахнете? — откровенно спросил Воробейко.— Ежели так, так лучше бей сейчас в сердце, чтобы не мучиться. Все равно — конец один...

— Валяй, валяй!

Первые десять шагов Воробейко оглядывался, ожидая выстрела. Затем кинулся бежать в поле.



Наутро ударил мороз. Луги и болота замерзли. В хате Цибули, в Сосновке, собрался штаб. Было решено: члены ревкома возвращаются в город для работы. Те из рабочих, кто надеялся остаться не открытым, тоже возвратятся в город. Часть останется в отряде Цибули. Остальные направляются в Павлодзь. К концу заседания прискакал мужик из Холмянки со страшной вестью: Могельницкий приказал повесить в городе против управы одиннадцать холмянцев. Остальным же дали по пятьдесят шомполов и, отобрав лошадей, отпустили домой.



Патлай, Щабель, Чобот и часть рабочих, погрузив на телегу пулеметы, двинулись в Павлодзь. Степовый не захотел возвращаться в город и отправился вместе с ними.

Из шестидесяти отнятых на фольварке лошадей Щабелю удалось выпросить у сосновцев только десятков.

Когда телеги, нагруженные ящиками с винтовками и патронами, вывезенными из города, выехали из села, Щабель с десятком конных тоже тронулся в путь.

— Вы уж, девушки, по нас не плачьте! Скоро вернемся, заживем в счастье и добре,— шутил он, прощаясь с Олесей и Саррой.

Молодых решено было оставить в Сосновке.



Один за другим в город вернулись Ковалло, Метельский, Ядвига и Раевский.

Ковалло был немало удивлен, когда на крыльце водокачки он увидел хлопотавшую с самоваром незнакомую женщину.

«Это еще что такое?» — подумал он.

При виде его женщина улыбнулась.

— Видать, хозяин пришел? А то неловко в чужом доме хозяйевать. Я — Андрийкина мама, Мария Птаха.

— Добрый день! Вот как пришлось познакомиться.— Ковалло дружелюбно пожал ей руку.

Мать Андрия была высокая, сильная и, что удивило Ковалло,— молодая.

Когда Раевский, шедший сзади, вошел во двор, он застал их за оживленной беседой.

— Так вот же я им и говорю: «А черт его знает, где его носит! Что я ему — нянька? Слава богу, семнадцать годов! Я за него не ответчица. Як поймаете, так хоть шкуру с него сдерите!» А у самой сердце болит. Только, думаю, не поймают они его, бо мой Андрийка не из таких, чтоб им в руки дался. Ох, и горе мне с хлопцами! Что один, что другой... Малого хоть отлупить могу, а тому что сделаешь, когда он выше меня ростом?

Увидев Раевского, она замолчала.



Прошла неделя. Зима наступила сразу. Ядвига жила у старшей сестры. Марцелина служила продавщицей в польском кооперативе. Набожная, замкнутая, она никогда не была близка с сестрой. Как все старые девы, имела свои причуды: в ее комнате жили семь кошек. Она присвоила им самые замысловатые имена и возилась с ними все свободное время. Каждое воскресенье аккуратно ходила в костел и у ксендза была на хорошем счету. Иногда она ходила в гости к экономке ксендза, единственной ее приятельнице.

Сегодня вечером, придя к ней, Марцелина не застала ее дома. Двери открыл сам ксендз, добродушный толстяк с широкой лысиной.

— Войдите, панна Марцелина, пани Ванда сейчас вернется,— пригласил он.

— Ну, что у вас хорошего, панна? — спросил он, когда она скромно уселась в уголке гостиной.

— Ничего, спасибо. Живем теперь с сестрой.

— Ах, вот как! — произнес он, чтобы что-нибудь сказать.— Скажите, почему я не помню вашей сестры? Марцелина потупила глаза.

— Она не ходит в костел, пане ксёндже.

— Ах вот как! Она, кажется, вдова? Помнится, вы просили меня осенью помолиться за ее мужа.

— Слава богу, он жив, пане ксёндже. Он недавно вернулся.

— Вот как!

Ксендз ходил мелкими шажками по комнате, участливо расспрашивал, соболезновал, был так ласков, что растроганная Марцелина охотно рассказала ему все, о чем он спрашивал.

— Так, так... Ничего, моя родная, не горюйте. Печально, конечно, очень печально, что все они отошли от бога. Но святой отец всемогущ. Они вернутся к нему... Да, смутные времена пошли,— задумчиво произнес ксендз.



— Добрый вечер, отец Иероним. Вот и зима. И снег пошел. Ну, пройдемте ко мне...



— Вам не кажется, отец Иероним, все это немного странным?

— Да, конечно. Особенно теперь. Вы говорите — ее фамилия Раевская?



Два дня Дзёбек, одетый в штатское, следил за Ядвигой. Ночью его сменял Кобыльский. Дзёбеку дважды удалось увидеть ее в лицо. Он хорошо запомнил черты этой полной, красивой женщины в белой вязаной шапочке, ее ладную походку, мягкий, приятный голос. Он мог узнать ее издали. На вид он дал ей сначала тридцать лет. Но при второй встрече, рассмотрев в локоне предательскую седую полоску, прибавил еще пять.

Ничего подозрительного эта женщина не делала. До вечера она работала в мастерской. Возвращаясь домой, зашла в лавку. Затем, часов в девять, пошла к доктору, пану Метельскому, и потом — домой. Ночью никуда не ходила.

К вечеру второго дня Дзёбеку надоело бесполезное хождение. Он передал слезку одному из своих агентов, а сам занялся подробной разведкой.

Вскоре он уже знал, что Раевская раньше жила на другой улице, и не одна, а с сыном. Под предлогом починки ботинок он побывал у сапожника Михельсона. Клубок начинал постепенно распутываться. От Шпильмана капитан Врона узнал о Сарре.

— А дочери сапожника нет! И сына этой Раевской тоже... Тут, пане начальник, нечисто!

Когда Баранкевич сообщил все о Раймонде Раевском, Врона сам взялся за расследование.

На третий день ранним утром Ядвига зашла к жене Патлая.

— Есть! — обрадовался Дзёбек.

Это была первая тяжелая улика. Жену Патлая после восстания, во время которого она была освобождена, решили пока оставить в покое. Но за домом присматривали.

— Будьте осторожны, а то сорвете все дело! — остановил Врона болтливого Дзёбека, когда тот докладывал о своих успехах. — Пока что вы ничего не знаете.

Утром следующего дня Вроне позвонили сразу и с завода и из вокзального жандармского управления.

— Сегодня ночью опять были расклеены воззвания ревкома в несколько слов: «Товарищи рабочие! Мы не разбиты. Мы только временно отступили. Ждите — мы скоро вернемся. Пусть враг это знает. Да здравствует власть рабочих и крестьян! Председатель революционного комитета Хмурый».

Врона положил трубку телефона и задумался. Затем вынул маленькую жестяную коробочку, взял из нее щепоть белого порошка и с наслаждением втянул его в нос.



Раевский остановился на углу около магазина, поджидая Ядвигу. Она должна была пройти здесь после работы. Ему нужно было поговорить с ней. До сих пор

они встречались лишь у Метельского. Приемная врача была самым удобным для этого местом.

Рядом с ним стоял низенький человек в теплом полушубке. По давней привычке не привлекать внимания неподвижностью Раевский повернулся спиной к ветру и закурил. Ветер гнал по улице легкий снежок.

— Разрешите прикурить, — попросил человек в полушубке и вынул озябшими пальцами коробку дрянных папирос.

— Пожалуйста.

По акценту Раевский узнал в нем поляка. По тротуару шли люди. Холод подгонял их. В стекле витрины Раевский увидел проходившую Ядвигу. Она не заметила его. Человек в полушубке заторопился. Он так и не прикурил.

Раевский посмотрел ему вслед и, попыхивая папирсой, спокойно пошел за ним. Он видел — Ядвига вошла в хлебную лавку. Человек в полушубке остановился около. Раевский задержался у афиши. Когда Ядвига вышла, человек в полушубке двинулся за ней. Раевский прошел мимо дома, где жила Ядвига, по другой стороне улицы, даже не взглянув туда.

В переулке человек в полушубке вяло торговался с извозчиком.

Раевский шел и думал. Ощувив горечь во рту, он вынул папиросу. Она была выкурена — тлел мундштук.

Острый взгляд нашел лишнего человека у дома Метельского.

В квартире доктора стоял шапирограф.

«Ковалло сейчас у Метельского. А, вот и еще один! Ну, это определенно болван. Не успели еще подобрать матерых».

Раевский прошел лишних два квартала, свернул в переулок. Убедился — за ним никого нет.

«Ядвига, Ковалло, Метельский, — кто был неосторожен? Никого из них предупредить уже нельзя. Ясно — Ядвиге не надо было возвращаться в город...» Сердце вдруг сдавило тяжело и больно. «Ядвига!» Он ударился плечом о фонарный столб и тотчас пришел в себя. Быстро пошел к поселку. Надо предупредить остальных...

Гнат Верба обошел всех, посоветовав выбираться из города как можно скорее.

Затем Раевский послал его в город. Через час он вернулся с печальной вестью.

Как только стемнело, Раевский и Верба вышли из города. Их взял в сани возвращавшийся с базара крестьянин. В пути они разминутись со Щабелем. Тот, оставив в соседнем селе лошадь, пробирался в город пешком.

Ночью в поселке начались повальные аресты.

Глава одиннадцатая

Злобствовала пурга... Она бросала в окна лесной мельницы хлопья снега. Шатало столетние дубы... Лес встревоженно гудел...

Холодно становилось у Андрия на сердце. Он прижался спиной к дубу, сжимая в руках карабин, и до боли вглядывался в темноту ночи. Каждый треск сломанной ветки казался человеческими шагами. Когда он уставал от нервного напряжения, он обходил дуб и отдыхал глазами на огнях, струившихся из окон старой мельницы.

Огни говорили о жизни, о людях, укрывшихся от свирепой вьюги в теплых комнатах мельника.

«Пшеничек опять, поди, что-нибудь про меня брешет... Олеся смеется, наверное. Что ж, пусть смеется».

Андрей бессознательно улыбнулся. Теплая волна прилила к сердцу, как всегда, при мысли об Олесе. Люди зовут это любовью. Что же, пусть будет любовь!

Задумался Андрей, замечтался. А что, если он станет знаменитым бойцом? О нем будут ходить легенды по хуторам и селам, страшным станет его имя для врагов, а он, смелый, молодой, будет носиться впереди своих эскадронов, очищая родную землю от шляхты. И пан Баранкевич, спасаясь от него, будет говорить своей тонкошейей супруге, этой дохлой кошке: «Ведь это тот самый Птаха, пся его мать, тот самый кочегар из котельной нашего же завода».

Олеся будет следить за его победами и в душе, наверное, будет гордиться, что вот этот самый парень, о котором все говорят, целовал ее колени и говорил жаркие слова... И уже не будет шутить над ним, и в глазах ее он уже не встретит плохо скрытой насмешки.

Взглянет Олеся на него, покрытого славой, и впервые увидит он в ее взоре восхищение и любовь...

Почти совсем рядом затрещал сухой хворост. Руки сами собой рванули карабин к плечу. Резкий окрик вырвался из груди:

— Стой! Кто идет? Стреляю!

Что-то темное, высокое шевельнулось впереди, и простуженный голос ответил:

— Эй! Кто там у мельницы? Я — Щабель!

Андрей опустил карабин. Он узнал голос.

— Это я, Птаха! — крикнул он.

Вот голова коня рядом с ним, а всадник в тулупе и бараньей шапке уже нагнулся к Андрею, присматриваясь.

— Куда коня поставить? Кто там в хате? Цибуля здесь? — хрипел Щабель.

— Все там! — кричал Птаха. — А что в Павлодзи?

— Я из города. Там могила. Ревком забрали...

Птаха отшатнулся:

— Да что же это?



Страстные споры шли до глубокой ночи. Весть о том, что ревком захвачен, придавила всех.

Снимая полушубок, Щабель бросил два слова:

— Кто-то продал! Всех забрали...

Щабель не знал, что Раевскому удалось уйти в Павлодзь.

Долго, очень долго стояло в комнате тягостное молчание. Пепельно-бледным стало лицо Раймонда. Огромный Цибуля мрачно терзал свою широкую бороду. Он смотрел в угол, словно в темноте, под скамьей, было что-то, притягивавшее его взор.

Наклонив голову к коленям, чтобы скрыть слезы отчаяния, забилась в угол у печки Олеся. Еще недавно ее звонкий смех веселил всех. Широко раскрытыми

глазами, полными ужаса и тоски, глядела на великана Цибулю Сарра, тщетно пытаясь в его поведении найти хоть искру надежды. Но сосновский повстанец был мрачен.

Птаха, которого только что сменил с поста Пшеничек, внезапно вскочил с лавки и с яростью бросил на стол свою куцую шапчонку:

— Что же вы сидите, деды? Выручать ревком надо! Вдарим всем отрядом на город — и душа из них вон! Срубаем панов и своих вызволим!

Цибуля медленно повернул к нему свою тяжелую голову.

— Чем вдаришь-то, сосунок? Сидел бы тишком, умней был бы!

Андрия словно обожгло.

— Как чем вдарить? Я ж говорю — всем отрядом! Поднять мужиков в деревнях! А ты меня сосунком не шпыняй, а то я не посмотрю, что у тебя борода до пояса, а так двину, что...

— Андрий... — тихо сказала Сарра.

Птаха опомнился. Сачек зло хмыкнул.

— Ты полегче, мальчонок! За такие слова можем плетей всыпать. Хоть здесь не царская армия, но командир и у нас есть командир, и раз он говорит, то должен слушать и понимать. А вот подрастешь, тебя командиром выберем, и будешь свой ум доказывать.

— Насчет плетей — это ты зря! — хмуро отозвался Пшигодский. — Это у тебя фельдфебельская замашка осталась еще.

Медленно выговаривая украинские слова, Раймонд спросил:

— Товарищ Цибуля, вы отказываетесь напасть на город, хотя бы на тюрьму? Или, говоря прямо, вы не двинете свой отряд на выручку?

Цибуля тяжело налег всей громадой своего тела на стол и смущенно кашлянул.

— Разве я говорил, что отказываюсь? Но как его двинуть? Сами небось знаете, — пятьдесят мужиков на конях, у двадцати ружья казенные, у остальных берданки охотничьи. Ну, еще человек двадцать пять на санях усадим. Я за сосновских говорю, за своих. В дру-

гие села не дюже суйся. Там сами себе хозяева. Скажем, ежели на них нажимали б каратели, конечно, огрызаться будут. А городских выручать — так не пойдут, пожалуй. В городе войсков побольше нашего. Кому охота под пулемет лезть?

— Так ты на попятную? — недружелюбно спросил Щабель.

Цибуля потемнел.

— Горячий вы народ, городские! Вам вынь да положь... Я, скажем, пойду с вами, не отказываюсь, я старое добро всегда помню. Я еще не забыл, кто меня от расстрелу панского выручил, но мужикам-то до этого какое дело? Да и, сказать по правде, перебьют нас, как гусей, до единого, и никого мы не выручим и свои головы положим, а я, как командир, за все должен отвечать.

Щабель резко перебил его:

— Брось, Цибуля, эти сказки про белого бычка! Скажи прямо — слаба у вас гайка, у партизан-то. Дальше своей хаты воевать не ходите. Все норовите коло баб своих поближе, а на революцию вам наплевать! Эх! Мелкая буржуазия в вас сидит, будь она трижды проклята!

— Это мы-то буржуи? — удивился Сачек.

— А что ж ты такое? — крикнул ему Птаха. — Когда мы ваших из тюрьмы выручали, на смерть шли. А теперь, когда ревкому паны виселицу строят, так у вас «моя хата с краю, я ничего не знаю».

— Андрий, не надо ссоры. Товарищ Цибуля ведь не сказал так. Правда ведь, Емельян Захарович? — вмешалась Сарра, подходя к повстанцу.

Цибуля тяжело заворочался на лавке и, опять принимаясь за свою бороду, пробурчал:

— Ежели я буржуазия, так нечего судачить, а ежели ко мне по-товарищески, так я ж не отказываюсь подмогнуть, но на город не пойду. Перебьют... — твердо открыл он последнее слово.

— Тогда нашим, выходит, могила? — глухо произнес Щабель.

— Ну, нет! Этому не бывать, пока мы живы! — вырвалось у Раймонда.

— Раймонд, если они не хотят, то мы сами пойдем,— негодуяще сказала Олеся.— Я тоже пойду!

— И я...— тихо проговорила Сарра.

— И тебе не стыдно, Цибуля, детей на смерть пускать? — не вытерпел Пшигодский.

— Сказал, на город не пойду. А кому охота, пушай идет. Еще семерых приберут к рукам.

— Ну и черт с вами! — крикнул Птаха.— Собирайся, братва! Нам здесь делать нечего. Пусть меня изрубают в капусту, но чтоб я здесь сидел и дожидался, когда наших перевешают, так лучше мне не жить на свете!

И Щабель и Пшигодский понимали безвыходность положения. Было ясно, что без помощи партизан всякая попытка освободить ревком обречена на неудачу. Пшигодский знал упрямство Цибули. Сломить его было невозможно, и он искал других путей. И вдруг не кто другой, как Птаха, подсказал ему эти пути.

— Ты как думаешь, Щабель, их будут судить или так?..— спросил Пшигодский.

— Какой там суд! А может, для видимости — военно-полевой. Все равно один конец. Ежели завтра ничего не сделаем, то будет, пожалуй, поздно.

— Как поздно? — прошептала Олеся мертвея.

Молчание. Оно становилось невыносимым.

— Ну, если наши погибнут, тогда кончено,— никому пощады не дам! Год буду собирать народ, но соберу, и тогда будет расплата. Будь я трижды проклят, если я не перережу всех этих Могельницких! Ворвусь в усадьбу и всех до одного под корень. Кровь за кровь! — страстно кричал Андрей.

— Стой, парень, а ведь это в самом деле подходяще! — радостно вскрикнул Пшигодский.

— Что подходяще? Могельницких резать? Близок локоть, да не укусишь! — с презрительным недоумением усмехнулся Цибуля.

Но Пшигодский, уже не слушая его, обвел всех радостным взглядом.

— Вот послушайте, до чего дельно получается,— начал он.— Как с нами все это панство и офицерье поступает? По-зверьячему! Раз им в лапы попался —

прощайся с жизнью. Не хочешь в ярме ходить — пуля в лоб. Так мы что ж, святые, что ль? Змею, раз она кусается, голыми руками не ловят...

— К чему ты это? — перебил его Сачек.

— А к тому, что наскочим мы сегодня под рассвет, скажем, не на город, а на усадьбу графскую.

— Что ж, с бабами воевать будешь, что ль? Граф-то в городе, до него не достанешь!

— Ты помолчи, Сачек!

— Налетим, значит, на усадьбу. Заставу ихнюю в Малой Холмянке обойдем кругом. В обход верст двенадцать будет. В такую погоду сам черт не углядит. Ну, так вот... Сомнем мы там охрану ихнюю. Могельницкому и в ум не придет держать у себя в тылу боольшую часть. Знает он ведь партизанскую повадку — из своей берлоги не выходить.

— Ну, ну, слышали, дальше что? — огрызнулся Сачек.

— А дальше — заберем жен ихних, старого гада впридачу. Глядишь, сам Могельницкий в руки попадется. Ездит он туда из города частенько. Мне там все ходы известны. Заберем всех, в ихние же сани посадим — и айда! Ищи ветра в поле. Запрячем их подальше в подходящее место, а ему по телефону, коли сам не попадется, скажем: ежели хоть одного из наших пальцем тронешь, так мы твоих уж тут миловать не будем. А?

— Молодец, Пшигодский, вот это по-моему! До чего ж просто, черт возьми! — восхищенно воскликнул Птаха.

Все глядели на Цибулю, ожидая от него ответа.

Великан заговорил не сразу. Он всегда трудно думал, никогда не спешил. Но уж одно его молчание обнадеживало.

— Да! Это более подходяще. Тут можно и потолковать. Это умней, чем на город переть. Только боюсь я, наскочим мы на имение, а там никого и нету, и выйдет это у нас впустую... — все еще колебался Цибуля.

— Значит, решено? — подталкивал его Щабель.

— Ты как, Сачек, на это?

— Я, Емельян Захарович, как вы... А так мыслишка

неплоха. Глядишь, там из барахла мужикам кое-что перепадет...

— Ну, это вы бросьте! — остановил его Раймонд тихо, но так решительно, что Сачек смущенно заморгал.

— А я что? У нас оно же и награблено.

— Нам ревком выручать надо, а ты... — возмутился Щабель.

— Ладно, так и быть, согласен я, — доканчивал вслух свою мысль Цибуля. И спокойным тоном начальника приказал:

— Езжай, Сачек, в деревню, чтоб через час хлопцы были на конях. Возьмешь, которые верховые, пешие нехай остаются. Для такого дела хватит. Так чтоб через час...



Людвиг стояла у огромного окна библиотеки.

Ночная метель утихала. Одинокие снежинки медленно падали на пушистый снежный ковер.

Он уехал вчера поздно вечером, даже не простившись.

Что случилось? Почему ей стало так неуютно и одиноко в этом огромном доме?

Многое для нее было неясно. Во многом она безнадежно запутывалась. Все они — и Эдвард, и Потоцкий, и отец Иероним — говорят о борьбе за независимую Польшу, но вместо героизма, благородства, самоотверженности — предательство, порка, виселица. Это политика. А ее личная жизнь? Она здесь чужая.

Правда, и раньше она в этом доме не была родной. Ее любил и согревал лишь он один.

Разве был ей близким когда-либо этот отвратительный старик, беззубый развратник, о низости которого она не имела представления, пока история с Франциской не открыла ей глаза?

Этот Владек?

Или Стефания...

Но Эдди, ее Эдди?!

«Неужели, — думала Людвиг, — я не люблю его?»

И кто виноват в этом? Он сам или, может быть, она? Ведь вот, оказывается, она не знала своего мужа!

А когда-то он ей казался героем, рыцарем без страха и упрека. Разве могла она когда-либо подумать, что он способен на такую низость? Она вздрогнула, вспомнив виселицы около управы... Это он, Эдвард, приказал повесить предательски захваченных людей, поверивших его честному слову. Кто толкнул его на это? Врона? Она боится этого человека.

Людвига отошла от окна.

Высокие дубовые шкафы, заполненные книгами, стояли вдоль стен. Сюда, в библиотеку, она забиралась часто на целые часы и уносилась в сказочный мир приключений, фантастики и романтики.

Сейчас ее влекло сюда желание забыться.

Она подошла к открытому шкафу и безразличным взглядом скользнула по золотым корешкам книг. «Письма о прошлом», — прочла она. Мысль опять вернулась к Эдварду...

Она вспомнила о найденном на днях в одном из томов старом, забытом письме. В нем покойная графиня, мать Эдварда, писала своему домашнему врачу о «юношеских шалостях» своего старшего сына, которые ее очень беспокоят. Ведь мальчик может заразиться дурной болезнью. Старая графиня просила уважаемого пана доктора освидетельствовать горничную Веру, которой будет поручено «постоянное наблюдение» за комнатами молодого графа.

Стыд и уязвленная гордость, ревность и негодование — все вспыхнуло вновь, и Людвига зарыдала. Но слезы быстро прошли. Плакать об этом теперь, когда все рушится, после того, как он только презрительно усмехнулся, прочтя это письмо!

Нужно ехать к маме. И там, вдали от него, подумать обо всем и тогда решить...

Во дворе раздался выстрел. Людвига подбежала к окну и застыла. По двору метался на коне всадник в бараньем полушубке. Он держал в одной руке короткий карабин, из которого, видимо, только что выстрелил. По аллее к усадьбе неслись еще несколько всадников. Из парка прямо к подъезду подлетели двое и, спрыгнув с лошадей, побежали к палаццо.

В несколько минут двор наполнился вооруженными

конниками. Ими предводительствовал бородатый великан. По взмаху его руки они рассыпались в разные стороны, окружая усадьбу. До Людвиги донесся его голос. Уже в доме еще дважды грохнуло.

Сомнений быть не могло. Люди, ворвавшиеся в усадьбу, были партизаны. Ей стало жутко.

Неужели это смерть? Вот сейчас они ворвутся сюда. Один из них выстрелит в нее. И все... Просить пощады после виселиц, после расстрелов и обмана? Стать расплатой за жестокость Эдди! На мгновение страх сковал ее движения, затем инстинкт самозащиты толкнул ее к двери, чтобы запереть ее на ключ. Но, сделав несколько шагов, она остановилась. Гордость и сознание безвыходности удержали ее. Она стояла среди комнаты, в смятении и страхе ожидая, когда откроются двери. И они открылись под мощным ударом чьей-то ноги. В библиотеку ворвался высокий парень в бараньем полушубке и в куцей шапчонке, сдвинутой набекрень. Он метнул взглядом по комнате.

Заметив Людвигу, вскинул карабин к плечу.

— Руки вверх! А, черт, опять баба!

Он сейчас же опустил карабин и, задыхаясь от бега, крикнул:

— Сказывай, где мужики ваши прячутся? Давай их сюда, все равно найдем!

И тут же, рассмотрев бледное лицо Людвиги, более мягко сказал:

— Мы красные партизаны, понятно? Так что не пугайтесь. Ваших мужиков, офицеров ищем, а с бабами мы не воюем. А вас я должен забрать на обмен. Пойдем!

Людвигу встретила взглядом с серыми отважными глазами парня.

— А вы, может, не из буржуев?

— Я графиня Могельницкая.

— А-а-а! Тогда пойдем! — Он указал на дверь.

По коридору бегали вооруженные люди, обыскивая все комнаты. Здесь Людвигу встретила с отцом Иеронимом. Его вели двое партизан.

— А, Птаха! Поймал пташку? — крикнул один из них.

— А нам этот гусь попался! Мы его у телефона захватили — звонил в штаб, — сказал второй, на всякий случай придерживая отца Иеронима за сутану.

Пробежавший мимо Пшеничек, услышав последнюю фразу, смеясь, крикнул:

— Мы, святой отец, не такие дураки, мы проводы раньше порезали! Так что зря, папаша, старался. Раз к нам в руки попался, и святой дух тебе не поможет!

На лестнице стоял рослый молодой человек в коротком ватном пиджаке, перепоясанном ремнем, на котором висела сабля.

Рука его лежала на рукоятке револьвера, засунутого за пояс. Лицо это было знакомо Людвиге, но вспомнить, где его видела, она не могла.

Внизу, в вестибюле, Людвигу увидела уже одетую в шубу Стефанию и растерянную прислугу. С верхнего этажа скатился, гремя прикладом винтовки, Пшигодский. Он яростно накинулся на лакеев.

— Эй вы, собачье племя, чего рты поразинули? Тащи панам шубы, бы-ы-стро! А то... — И он зло кольнул глазами старого Юзефа.

— Скажи, где спрятался этот мерзавец Владислав? Я знаю, что он здесь, в доме. Куда он делся, говори! Ты-то знаешь, где эта скотина прячется! — крикнул Пшигодский отцу.

Лицо старого Юзефа перекошилось.

— Я ничего не знаю. Пан Владислав уехал, наверное. А по тебе, видно, веревка плачет, — тихо добавил он.

— Ладно, рук о тебя марать не хочется, — ответил ему сын. — А жаль, если он здесь, и я не нашел. Эй, хлопцы, тащите сюда старую рухлядь! — кричал он наверх.

Несколько партизан на руках несли закутанного в меха старого графа, на которого от испуга напал столбняк. Высокие двери вестибюля, ведущие во двор к подъезду, были открыты. Прямо на коне в прихожую въехал Цибуля. Его голос разнесся по всему дому:

— Живо, хлопцы, живо справляйтесь! Шевелись быстрее! Живо, говорю вам!

Пшигодский бросился еще раз проверить комнаты. Наверху, в кабинете Эдварда, Щабель и Сачек укладывали в графский чемодан найденные в кабинете бумаги. Раймонд заканчивал письмо к полковнику.

Через несколько минут двое саней, покрытых медвежьими полостями, выезжали из ворот усадьбы. В первых сидели: Людвиг, Стефания и Франциска, которую Пшигодский силой заставил сопровождать графиню. В другие были посажены старый граф с ксендзом.

Выехав на широкую дорогу, тройки помчались, окруженные всадниками.

У подъезда на конях остались лишь трое: Раймонд, Птаха и Пшеничек. Через двадцать минут и они оставили усадьбу.



Могельницких решено было спрятать в старом охотничьем домике, принадлежащем их соседу, помещику Манежкевичу.

Домик стоял в лесной глуши. На несколько километров вокруг тянулся сосновый бор.

Ближайшая деревня Гнилые воды была в семи километрах.

— Тут тихие места. Могельницкому и в голову не придет искать здесь, у себя под носом, он на Сосновку нажимать будет,— настоял осторожный Цибуля.

Олеся и Сарра, приехавшие сюда ранним утром, начали с того, что заперли в чулане старика сторожа и его жену, объяснив им, что этот невольный арест будет коротким.

Хромой на правую ногу партизан, получивший от деревенских мальчишек кличку «Рупь двадцать», помогал им. Поставив лошадей и сани в конюшню, он вошел в дом, снял шапку, перекрестился на распятие, висевшее в углу столовой, и медленно стащил с плеч винтовку.

— Что, веруешь, дядя? — полушутя спросила его Олеся.

— Да, то-ись не то, что верую чи не верую, а обычай уж такой христианский,— ответил «Рупь двадцать».—

Да и святые у них подходящие под наши, хоть вера у них польская.

Они растопили большую печь и камин. Кроме столовой, в доме было еще три комнаты и кухня. На стенах столовой висели звериные головы. Давняя пыль и паутина говорили о том, что комната нежилая.

Имение Манежкевича было в тринадцати километрах отсюда. В домике жил лишь лесной сторож.

Когда «Рупь двадцать» вышел к лошадям, Олеся тихо сказала Сарре:

— Что там теперь делается? Как ты думаешь, Саррочка?

Сарра молча присела на край дубовой скамьи. Олеся тревожно ходила по горнице, на миг задерживалась у окна, всматриваясь, не видно ли кого на лесной просеке. Она не снимала белого дубленого полушубка, подаренного ей женой Цибули. На голове был небрежно повязан пуховый платок. Она ступала в своих валенках, как медвежонок.

— Если бы ты знала, Саррочка, как тяжело на сердце! Я бы все отдала, чтобы узнать, что с батюшкой! — говорила она, присев рядом с подругой. — Почему ты молчишь, Сарра? Неужели их убьют?

Она притихла, обхватив руками колени. Надежда то возвращалась, то вновь убегала от нее. И девушка истомилась от неизвестности и ожидания. Сарра молча потянула ее к себе, и Олеся послушно прильнула к ее плечу.

— Не надо так, Олеся. То ты веришь, то отчаиваешься. Ты бы что-нибудь одно уж, а то, глядя на тебя, я сбиваюсь с толку.

Сухо потрескивали в камине пылающие поленья.

Тихо в домике. Лишь в далеком чулане шепчутся перепуганные старик и старуха.



— Ага! Здоровеньки были, принимайте гостей! — влетел в столовую Птах.

В минуту охотничий домик наполнился людьми. Сюда привезли только Людвигу и Стефанию. Старого

графа и отца Иеронима с полдороги забрал к себе в Сосновку Цибуля.

— Так вернее. Всякое может случиться. Мне с отрядом к Манежкевичу ходить не гоже. Оставим там пятерых для охраны. Нехай ваши молодые и стерегут, а мы в Сосновку. Могельницкий туда нажмет, как пить дать. Мы свое дело сделали, а деревню без мужиков оставлять не годится. Так, что ли? — сказал Цибуля, обращаясь к Щабелю.

Тот подумал и согласился.

Людвига и Стефания поместились в комнате рядом со столовой. Тут стояли два широких кожаных дивана и пианино. Сюда привели и Франциску.

Раймонд, Птаха, Пшеничек, Олеся и Сарра устроились в столовой. Расторопный Леон успел познакомиться со сторожем и его женой. Он завел с ними дружескую беседу, как мог, успокоил и так понравился им, что старики даже накормили его из своих запасов, которые, как вскоре он узнал, были довольно солидными.

Он появился в горнице с чудесно пахнущим окороком и, встреченный удивленными возгласами, смеясь, сказал, как всегда коверкая слова:

— А старикашки симпатичные, даже окорок подали. Ты что, Андрий, на меня так смотришь? Думаешь, стянул? Тогда идем, спросим. То-то же!

В горницу вошли Пшигодский и Щабель.

— Как будто все в порядке, — ответил Щабель на немой вопрос Раймонда.

— Сани и лошади упряты в конюшню, сторожевые на месте. Снег пошел густо, через час все следы заметет. А Цибуля нарочно пройдет вблизи Холмянки. Там его заметят, дадут знать, от нас глаза отведут. Хитро придумал этот медведь!..

— А как тебе этот монах нравится? — спросил Раймонд. В разговор вмешался Птаха:

— По глазам видать, что стерва: на человека не глядит прямо. Я каждого насквозь вижу...

— Ну, если видишь, то должен знать, что я еще с утра ничего не ел и у меня в желудке пусто, — нетерпеливо перебил его Леон.

— Это ты-то не ел? Ну и бессовестный же-ж ты,

Ленька! Действительно, что ни чех, то враль! — сердито сказал Птах.

— А я слышал, что чехи у хохлов вранью учились, — огрызнулся Леон.

Когда все уселись за стол, запасливый «Рупь двадцать» вытащил из мешка буханку хлеба и братски разделил ее на восемь частей.

Сарра резала ветчину.

Пшигодский встал из-за стола, подошел к двери, ведущей в соседнюю комнату, медленно приоткрыл ее и отрывисто позвал:

— Франциска!

— Чего тебе? — не сразу отозвалась та.

— Иди сюда, поешь тут, — сухо сказал он.

— Не пойду!

Тогда Мечислав открыл дверь пошире, переступил порог и повторил еще суше:

— Может, пойдешь?

Людвиг и Стефания наблюдали за этой сценой. Они сидели на диване, не снимая шуб. Людвиг — грустная и безразличная ко всему, Стефания — испуганная и растерянная.

Одна Франциска сняла свое пальтишко. В комнате было тепло. Она сидела у небольшого столика, скрестив на высокой груди полные, красивые руки.

— Кушай сам. Я сыта, — еще раз упрямо отказалась она.

Мечиславу было неловко, что два враждебных ему человека видят, как обращается с ним жена. Он уже пожалел о своем так неуклюже проявленном порыве помириться с Франциской. Но уйти было трудно.

Неожиданно с дивана поднялась Стефания. Она быстро подошла к ним.

— Скажите, пане Пшигодский, что нас ожидает? — волнуясь, тихо заговорила она.

— Я не пан, а конюх, графиня! — так же тихо ответил ей Мечислав.

— Я не думала этим оскорбить вас. Ведь вы поляк и понимаете, что это обращение общепринято у нас. Притом я не об этом хочу с вами говорить. Я и графиня Людвиг хотим знать нашу судьбу... — Ее голос

дрогнул, страх подсказывал ей угрозу как средство защиты.— Послушайте, пане, простите...— Она замялась.— Как же вас называть прикажете?

— Мы зовем друг друга товарищами,— стараясь быть вежливым, ответил Мечислав.

Стефания презрительно сжала свои накрашенные губы.

— Но вы сами понимаете, что я вам не товарищ. Ну, оставим это. Мы требуем, чтобы вы сказали нам, что вы собираетесь с нами делать. Не забывайте, Пшигодский, что за все это вы понесете жестокую расплату...

— Ладно, уж как-нибудь сочтемся! — оборвал ее Пшигодский.

— Вы бы вспомнили о своем отце и брате!

— Я о них не забываю.

— И вам не стыдно? Ваша семья столько лет преданно служит нам, а вы позорите ее, став разбойником! — не удержалась Стефания.

— Стефа! — остановила ее Людвиг.

— Помните, Пшигодский, если вы сейчас же не отпустите нас, то вам не миновать виселицы. Вы же сами понимаете, что граф не оставит этого...

— Стефа! — уже негодуя позвала Людвиг.

Франциска беспокойно шевельнулась. По лицу Мечислава она увидела, что сейчас он способен сделать что-то ужасное. Она поспешно подошла к мужу:

— Идем кушать!

Дверь за ними закрылась. Страх снова вернулся к Стефании.

— Погибли мы с тобой, Людвись! Ведь эти разбойники ни перед чем не остановятся! Свента Мария! — зашептала она.

— Зачем ты их раздражаешь такими разговорами?

— А ты хочешь, чтобы я перед этим быдлом плакала?

— Не надо плакать, но и грубить не надо.

— Грубить? Да это ж хам! Как жаль, что Шмультке его не повесил еще тогда! Как Эдвард прав,— таких животных только вешать! Ты видела, как он со мной говорил? — зашептала Стефания, подсев к Людвигу.

Глава двенадцатая

К вечеру между Сосновкой и Малой Холмянкой начались переговоры. Письма перевозили крестьяне, не причастные к партизанскому движению. Первое письмо, которое получил Цибуля, было такого содержания:

«Деревня Сосновка. Командиру партизанского отряда Емельяну Цибуле.

Ваше письмо было доставлено мне сегодня в одиннадцать часов утра. Предлагаю выкуп за захваченных вами в сумме пяти тысяч рублей золотом. Расчет в золотых царских пятерках. Деньги будут вручены немедленно при обмене. Способ обмена и получение денег предлагаю установить вам самим. Выкуп необходимо произвести завтра же. Предупреждаю вас и ваших сообщников, что в случае если хоть один волос упадет с головы захваченных вами женщин, отца и служителя церкви, то никому из вас не уйти от жестокой кары. Кроме того, будут расстреляны все арестованные нами в городе большевики, которых мы до вашего нападения собирались судить и которым, к вашему сведению, не грозит смертная казнь даже в случае выкупа нами за деньги членов моей семьи. Они будут подвергнуты лишь тюремному заключению. Ожидаю немедленного ответа. Обещаю никаких военных действий до окончания переговоров не вести.

Полковник Могельницкий. 21 декабря 1918 года».

Сачек прочел это письмо вслух Цибуле. Они сидели вдвоем в избе Емельяна Захаровича.

— Ну, что ты на это скажешь? — спросил Цибуля своего помощника.

Сачек быстро заморгал редкими ресницами и, ухмыляясь, ответил:

— Ежели на него нажать, так он и десять даст.

Цибуля посмотрел на него внимательно, словно впервые увидел.

— Десять, говоришь?

— Пожалуй, что даст.

— А как же городские? — спросил Цибуля.

— Я же говорю, что, ежели нажать, десять тысяч золотом отвалит. У него небось побольше нашего с то-

бой. Сколько веков на нашем брате ездили,—заторопился Сачек, обрадованный тем, что Цибуля так спокойно принял его намек.—Городские что! Сам пишет — ну, в тюрьму посадит, там, глядишь, какая перемена произойдет. Тюрьма — это тебе не расстрел. Глядишь, у нас силы прибудут. Тут Березня подсылал своих ко мне насчет соединения. Они тоже против панов. Только у них с большевиками неполадки. А нам что до этого?

— Так, так...— пробурчал Цибуля и принялся за свою бороду.— А мне сдается, что брешет этот полковник насчет тюрьмы. Знаю я ихнюю повадку. Холмянские поверили, так он их за спасибо повесил.

Цибуля темнел, и Сачек поздно заметил свой промах.

— А ты, Сачек, сука. Мне про тебя раньше еще хлопцы говорили, но я думал — зря, а ты, я гляжу, продашь отца родного.

— Да что вы, Емельян Захарович, я так, к примеру сказал. Воля ваша, делайте, как знаете.

— Так, так... бери бумагу и пиши: «За деньги не продаем». Написал? «Доставляйте в Холмянку Раевского, его жену, Ковалло и Метельского». Написал? Так. «Тогда обменяем в чистом поле, да чтоб без обману. Чуть что — постреляю ваших. Мы не холмянские». Так и напиши им. Есть? Прочитай. Так. Ну, давай подпишу.

Вечером в охотничий домик вернулся «Рупь двадцать»; он привез оба письма Могельницкого. Во втором полковник отвечал Цибуле кратко:

«Согласен на обмен моей семьи на большевиков. Обмен произведем следующим образом: в поле между Сосновкой и Холмянкой на расстоянии версты останавливаются небольшие отряды с обмениваемыми в десять человек с вашей и нашей стороны. Первой должна быть обменена моя жена — графиня Людвиг Могельницкая. Вы отпускаете ее, она идет через поле к нашему отряду; с нашей стороны мы отпускаем одного из тех, кого вы требуете освободить, и остальных таким же образом».

— Ура! — закричал Птаха и пустился в бешеный пляс.

Всех обуяла радость. Даже сдержанная Сарра захлопала в ладоши и бросилась обнимать просиявшую Олесю.

— Вот видишь, Олеся, как хорошо, скоро ты обнимешь батьку.

— Господи, неужели правда? — улыбаясь, сказала Олеся.

Птаха перестал плясать.

— Послушай, Ленька! — подлетел он к Пшеничке, — нет ли у старикашек чего-нибудь такого, знаешь, от чего жить веселей на свете! — и Андрий подмигнул впервые улыбнувшемуся Раймонду.

— Молочка от бешеной коровы? — сразу понял его Леон. — Я думаю, у них все есть. Ведь паны на охоте небось греются шпиритусом. Я в один момент, только как начальство? Может, это не подходит под программу? — на полпути к двери задержался Леон.

— Я думаю, этого не надо... — сказал Раймонд, невольно смущаясь тем, что он возражает первый и этим как бы берет на себя роль начальника.

— Не надо, ребята, зачем нам это? — поддержала его Сарра.

— Не надо, так не надо, — сразу же остыл Птаха.

— Что ты его уговариваешь, Саррочка? Если он нос рукавом вытирает, значит он понял, — звонко захохотала Олеся.

— А, зазвенел колокольчик! — улыбнулся Щабель. Даже сумрачный Пшигодский перестал хмуриться.

— Веселый народ эти наши ребята, с ними умирать не скучно, — тихо сказал он Щабелю.

Тот нагнулся к нему и так же тихо спросил:

— Как вы думаете, товарищ Пшигодский, не съездить ли мне с вами к Цибуле? Ребят здесь оставим, троих партизан с ними для смены на постах. Читали? Могельницкий им деньги предлагал. Всякое может случиться. Поедем, а?

Пшигодский, подумав, согласился.

— Вот что, хлопцы, мы сейчас с товарищем Пшигодским поедем в Сосновку, — громко сказал Щабель, поднимаясь из-за стола, — а вы здесь будьте начеку. Раймонд, мы поручаем тебе командование вашим неболь-

шим отрядом. Под утро мы вернемся и перевезем этих,— указал он рукой на дверь,— в Сосновку.

У ворот, уже сидя на коне, Щабель наказывал Раймонду:

— Гляди в оба. Окна завесьте. Сторожевых сам проверяй. В случае чего, коней с санями держи наготове. Ежели постовые отряд ихних приметят или разведку, так сажай графинь в сани, сами на коней и жарьте во весь дух в Сосновку напрямик по лесной просеке. Одним словом, соображай сам, как лучше.

В это время на другом конце двора Пшигодский прощался с Франциской:

— Ты что ж, с ними поедешь, ежели обменяют? — глухо спросил он.

— Может, и поеду. Куда мне?

— Не ездь к ним. Направляйся к отцу в Сосновку.

— Это к тебе, что ль? Чтобы снова бил, да? Нет, дурых нету. Не хочу я с тобой жить, понимаешь? Не хочу!

— Франциска!

— Ты мне не угрожай! Я не для того за тебя шла, чтобы ты меня кулаками утюжил.

Студеный ветер хлестнул им в разгоряченные лица.

— Пшигодский! — позвал Щабель.

— Бить не буду, езжай к отцу. Там поговорим. А туда не ездь, а то убью.

Когда все окна в домике были плотно завешены, Раймонд и Птаха еще раз обошли усадьбу вокруг. Снег перестал падать. Ночь была ясная. Луна кралась по верхушкам деревьев. Сосны отбрасывали огромные тени.

В лесу тишина. Чуть слышно скрипит под ногами податливый снег. Он покрыл все вокруг теплым ватыным одеялом, закутав в него маленький домик и постройки.

Слышно было, как в конюшне лошади спокойно жевали овес.

— Смотрите, товарищи, внимательно,— говорил Раймонд троим партизанам,— мы под утро вас опять сменим. В случае, если заметите что, давайте знать. Расходитесь по своим местам.

Когда они с Андрием входили в столовую, Пшеничек, только что пришедший с караула, уже рассказывал девушкам что-то смешное...

— Что он здесь брешет? — спросил Птаха, расстегивая пояс с патронными подсумками.

— Он говорит, что ты за собственной тенью бегал, думая, что это легионер. Правда это? — хохотала Олеся.

На этот раз Птаха добродушно улыбнулся и безнадёжно махнул рукой.

— Что ж, профессия у него такая — мельник...

— Что же нам теперь делать, Раймонд? — спросила Сарра.

— Я думаю, что вы с Олесей можете ложиться спать, а мы должны подежурить эту ночь. Посидим, поговорим кой о чем.

— Я не хочу спать, — отказалась Сарра.

— И я, — повторила за ней Олеся.

— Ну, тогда надо заняться чем-нибудь, а то скучно всю ночь так сидеть, и Андрий опять станет ко мне придирааться, а у меня терпение кончится, и будет скандал, — начинал Леон свою игру в «кошки-мышки».

— Ты не очень-то на «петуха изображайся», — передразнил его Андрий.

— Что ж, я по-украински хоть плохо, но говорю, а ты по-чешски что понимаешь?

— Опять начали? Надоело! — рассердилась Олеся.

— Эх, мандолину б сюда! Я бы ушкварил полечку, а вы б сплясали. Все равно один конец. Завтра ведь у нас праздник. То-то рад будет Григорий Михайлович, когда нас с тобой увидит, Олеся! — воскликнул он.

— Олесю, конечно, а ты-то какая ему радость? — спросил Леон.

Андрий несколько секунд смотрел на Леона молча, а затем сказал:

— А ведь у вас в самом деле неплохо дело пойдет!

— Ты о чем? — осторожно спросил Леон, чувствуя какой-то подвох.

— Я насчет мельника. Папашка-то ейный муку молоть будет, ты языком, а она, — и он сделал на слове «она» ударение, — пироги печь. Тут тебе целая фабрика.

— Зачем ты их свел, Раймонд? Пошли одного на караул, и будет тихо, — предложила Олеся.

— Нет, мы уж свое отдежурили, а ты можешь постоять с винтовкой, если охота, — запротестовал Леон.

Сарра сидела за столом, подперев голову рукой.

Раймонд отдыхал в глубоком кресле у камина, не снимая сабли и маузера.

— Я видела в шкафу в третьей комнате гитары и мандолины,— сказала Сарра.

— Чего ж ты молчала? — радостно вскочил Птаха.

— Нам ведь было не до музыки, да и сейчас, пожалуйста, еще рано веселиться,— ответила девушка.

Слушая ее певучий, мягкий говор, Раймонд представил себе выражение ее лица, черные, с холодком, огромные глаза и решительные, немного упрямые губы. Странно, но в то же время и понятно — ее одну Андрий слушается беспрекословно. Раймонд не помнил еще случая, чтобы этот беспокойный парень нагрубил ей.

— Ленька, бери лампу, пойдем струмент глядеть,— сказал Птаха.

Двери всех комнат выходили в общий коридор. Леон шел с лампой впереди. Птаха следом за ним. Около чулана Андрий задержался, прислушиваясь. «Старикашки спят». В комнате, где помещались Людвиг, Стефания и Франциска, был слышен тихий разговор.

— А ключ здесь зря торчит,— сказал Андрий и положил его в карман.

— Все равно им через нас только уйти можно, да и куда побежать? — ответил Леон, но все же попробовал, заперта ли дверь.

Через минуту они вернулись, неся в руках три гитары и мандолину.

— Там на них лет двадцать не играл никто, со всех гитар на одну едва струн наберешь. Сейчас я смастерю,— сообщил Андрий и энергично принялся за работу.

— Сарра, мы не давали еще ужинать этим? — указал Раймонд рукой на дверь.

— Нет, эта полная отказалась принять обед,— ответила Олеся.

— Как же быть? — спросил Раймонд.

— Что ж, я упрашивать должна была ее? Она на меня так посмотрела,— сказала Олеся.

— Ничего, захочет кушать, сама попросит,— успокоил Андрий, ловко накручивая на колышки струны.

Раймонд подошел к столу, на котором стояла тарелка с ветчиной и хлебом, и вопросительно взглянул на Сарру. Та задумчиво глядела на огни камина, не обращая на него внимания.

— Все же нужно передать им это,— сказал он и взял тарелку.

Сарра взглянула на него с едва заметной иронией.

— Ты как думаешь, Раймонд, твоего отца тоже ветчиной кормят? И он тоже отказывается? — спросила она.

— Да, но он в руках у шляхты, какое же здесь сравнение с нами? Если опять откажутся, я оставлю им, и пусть как хотят,— он направился в соседнюю комнату.

Дверь открыла Франциска.

Людвиг, полулежавшая на диване, поднялась и села. Стефания не шевельнулась.

— Я принес вам ужин. Почему вы отказываетесь кушать? — спросил он Людвигу, останавливаясь перед нею.

— Спасибо, но мы не голодны,— неуверенно ответила Людвиг. Ей хотелось есть, но ее смущала Стефания, наотрез отказавшаяся принять что-либо от «хамов».

Раймонд поставил тарелку с ветчиной и хлебом на стол.

— Могу вам сообщить, что вы завтра будете обменены на наших захваченных жандармерией товарищей.

— Нас обменяют? Это вы правду сказали? — мгновенно «проснувшись» притворившаяся спящей Стефания.

— Вы, наверно, редко встречаетесь с людьми, которым можно верить,— сухо ответил Раймонд.

Теперь, когда с его головы была снята заячья шапка, Стефания и Людвиг узнали его.

— Скажите, этот Пшигодский еще здесь? Я что-то не слышу его голоса,— с тревогой спросила Стефания.

— Нет, он уехал подготовить обмен.

— Слава богу! — облегченно вздохнула Стефания и сразу же преобразилась.

Она еще раз оглядела с головы до ног Раймонда и, стараясь быть как можно ласковей, спросила:

— Скажите, как вы попали в эту ужасную компанию?

Людвига, боясь, что Стефания скажет еще что-нибудь бестактное, поставила тарелку с ветчиной к себе на колени.

— Мы будем ужинать,— улыbnулась она.

Раймонд шагнул к двери. Стефания удержала его.

— Скажите, чем вы подтвердите правдивость ваших слов?

Раймонд вынул из кармана письма Могельницкого.

— Я вам верю,— протестовала Людвига, когда он подал ей письма.

Но Стефания взяла и жадно прочла оба письма:

— Матка боска ченстоховска! Хоть бы эта ночь скорей прошла! — воскликнула она и передала письма Людвиге.

— Вы графу сразу поставили условие об обмене на ваших товарищей? — спросила та.

— Да, я сам писал это письмо.

— А можно узнать, что вы ответили на первое его предложение?

— Почему же? Сказали, что на деньги не меняем, нам ведь нужно спасти товарищей...— Раймонд вышел, оставив дверь полуоткрытой.

— Есть! Настроил! — крикнул Птаха и взял первый аккорд.

Минуту спустя пальцы заметались по грифу, и мандолина запела в его руках.

— Бери, Олеся, сыграем наши любимые,— сказал Птаха, обрывая свое музыкальное вступление.

Олеся взяла в руки гитару, легонько тронула пальцами басы, и ей вспомнилась маленькая водокачка у реки и вечера, которые они проводили втроем. «Как он там сейчас, батько милый? Если бы он знал о завтрашней встрече...»

— Я жду, Олеся.

Полилась грустная песня. Она то замирала далеко за степными курганами, то, чудилось, ветер приносил ее издалека. В лирическую мелодию вдруг бурно ворвались радостные звуки.

Торжественным маршем вступала на землю весна,
и у околиц вечерами теплыми запевали молодые голоса:

Ой там, ой там за Дунаем,
Та за тихим Ду-на-а-ем...

Песню сменила полька, задорная, кокетливая. Андрий забыл все. Он играл с такой страстью, что красота его игры дошла даже до Стефании.

— А ведь прекрасно играет... — заметила она.

Людвига любовалась мастерским исполнением. Музыка разбудила дремавшую боль.

— Раймонд, для кого я играю? — возмутился Андрий.

Леон подлетел к Сарре.

— Задумчивая женщина!.. Дорогой товарищ!.. За счет завтрашнего разрешите станцевать.

Сарра отмахнулась от него.

Андрий опять тронул струны, и зазвучал вальс. Леон ласково взял Сарру за руку.

— Но станцевать же можно? Зачем грустить?.. Или со мной не хотите?

Гитара Олеси вступила прекрасным созвучием басов. Сарра встала.

Леон осторожно обнял ее за талию, сильной рукой повернул вокруг себя.

Когда пляшут двое молодых и красивых — хорошо.

Раймонд, улыбаясь, следил за их легкими, изящными движениями.

«Лихо пляшет, чертов чех», — позавидовал Птаха.

Франциска стояла у двери, наблюдая за танцующими. Она встретилась с глазами Раймонда, и оба невольно улыбнулись, как когда-то, при первой встрече.

Раймонд колебался минуту. «Но ведь Сарра танцует...» И он решительно отстегнул пояс, положил саблю и маузер на стол и, смущенно краснея, подошел к Франциске. Она, не раздумывая, положила руку на его плечо, и в горнице закружилась новая пара.

— Ты слышишь, Людвиг, они ведь танцуют. И Франциска тоже. — В открытую дверь Стефании была видна вся горница. — Оказывается, играет не он, он пляшет с Франциской, этот парень, что приходил сюда.

Олеся давно уже бросила гитару и валенки и отплясывала в мягких чувячках. Один Птаха должен был играть, чтобы не нарушить общего веселья. Наконец, ему надоело.

— Что ж это, я один должен играть? Это несправедливо,— сказал он.

— Что же делать, Андриюша, ведь мы не умеем! — крикнул ему Леон.

— Ну, еще немножко, Андриюша, скорее ночь пройдет.

Тогда Андрий встал и, к общему удивлению, отправился в соседнюю комнату.

— Прошу прощения,— сказал он.— Я слышал, что все образованные на этой штуковине играют,— указал он пальцем на пианино,— так что прошу, сделайте одолжение, ежели можете на этом струменте,— полечку нам, а то все пляшут, а я один должен играть,— обратился он к Людвиге.

Его простодушие, прямота и детское желание плясать покорили Людвигу. Улыбаясь, она подошла к пианино и, вспомнив первый попавшийся мотив — «Итальянскую польку» Рахманинова, прикоснулась пальцами к клавишам. Птаха неожиданно для самого себя повернулся к Стефании:

— Прошу прощения, не в обиду, а для веселого вечера и за завтрашнее утро... Так что прошу вас сплясать со мной.

Сероглазый, сверкая ослепительной белизной прекрасных зубов, он стоял перед ней, этот парень с волнистым чубом. Стефания решила, что будет выгоднее для ее замыслов согласиться...

Андрий видел, что Олеся рассердилась. Сарра тоже. Но это не остановило его...

Лишь глубокой ночью в охотничьем домике стало тихо. Все заснули.

Спала Людвига, и во сне ей казалось, что так и должно быть: именно в этом домике, в такой необычайной обстановке, она и должна была встретиться с этими людьми. Как хорошо, что она не ошиблась: эти люди, которых она защищала, которым симпатизировала, были действительно прекрасные люди.

Крепко спали заложники и их сторожа.

На широкой скамье уснули в обнимку Сарра и Олеся, которых Андрий заботливо укрыл полушубком.

Сам Андрий спал на полу, подложив руку под голову, Леон — на столе, Раймонд — на другой лавке.

Партизанам на дворе надоело ходить вокруг усадьбы порознь. Они сошлись все трое в конюшне. Здесь было тепло. Двое из них забрались в сани, а «Рупь двадцать» послали караулить. Тому захотелось пить, он вошел в дом, выпил из бочки, стоявшей в коридоре, добрую кварту воды и тут же присел погреться у печки, да и заснул. Партизаны в сених, надеясь на него, тоже незаметно уснули.

Ночью Стефания поднялась, надела шубу, меховую шапочку и вышла в соседнюю комнату. Обычно в этих путешествиях в конец двора их сопровождал кто-либо из девушек, сейчас же все спали. Стефания тихо открыла дверь в коридор, — там, разметав руки, сладко спал у печки партизан, его винтовка стояла тут же, прислоненная к стенке.

Несколько минут Стефания стояла в коридоре, затем тихо приоткрыла дверь. На дворе никого. С замирающим сердцем Стефания вышла во двор, постояла немного и затем быстро пошла к воротам. «Если останутся, скажу, что мне нужно», — думала она, чувствуя, как колотится ее сердце.

Но ее никто не останавливал. Вот эта просека идет в «Гнилые воды», она не раз заезжала сюда со Станиславом попить квасу во время охотничьих прогулок мужа.

Чем дальше она удалялась от усадьбы, тем быстрее шла и, наконец, побежала, спотыкаясь в неудобных для ходьбы ботах. Но все еще не верила, что свободна. Уже километрах в двух от домика она почувствовала усталость. Бежать больше не могла. В сердце кололо. Она сбросила боты и, оставив их на снегу, пошла в одних высоких ботинках.

Наконец, она услышала лай собак, а когда подошла к околице, была остановлена криком на польском языке:

— Стой! Кто идет?

Из-за плетня выскочили два вооруженных человека. Это были legionеры из эскадрона Зарембы.

— Пусть вельможная пани не волнуется. Мой сержант довезет вас до города. Тут ведь близко. Дорога безопасная, мы только что оттуда. Ну, трогай,— махнул рукой Заремба сержанту.

Тот подобрал вожжи. Лошади тронулись. Стефания с беспокойством оглянулась. Эскадрон Зарембы на рысях выходил из деревни к лесу. Светало.

Первым проснулся «Рупь двадцать», спавший в коридоре. Ему стало холодно. Дверь, открытая Стефанией, остудила коридор. Его испуганный крик: — «Хлопцы, спасайся — ляхи!» — разбудил всех. Больше «Рупь двадцать» не сказал ничего — Заремба выстрелил ему в голову.

Раймонд кинулся к оружию.

В коридор вломились legionеры. Птаха, как кошка, вскочил на ноги. Одним прыжком он достиг угла комнаты, где стоял его карабин. Соскочивший со стола Леон спросонок ничего не понимал.

В первое мгновение ничего не поняли и девушки. Андрий бросился к двери. Открыв ее, он отпрянул назад, снова захлопнув дверь. В коридоре грянуло несколько выстрелов. Щепы летели от простреленной в нескольких местах двери.

Слепая удача спасла Андрия от смерти.

Леон, наконец, понял, что произошло. Одним движением он перевернул стол и припер им дверь, а сам бросился к винтовке. Андрий стрелял через дверь из угла комнаты.

— Назад! — гремел в коридоре Заремба. — Прекратить стрельбу! Здесь графиня, пся ваша мать! Назад!

Коридор опустел.

— Мы их и так возьмем. Там трое мальчишек, а в перестрелке можно убить графиню,— объяснил поручик свое отступление солдатам.

— Если бы не этот лайдак,— яростно ткнул он тело «Рупь двадцать»,— мы бы их спящих накрыли.

— Что случилось, пане поручик? Почему вы отступили? — подъехал Владислав к Зарембе, видя, что солдаты отходят вглубь леса.

— Их нужно выманить без боя. Успели проснуться,— зло ответил младшему Могельницкому Заремба.

— Но вы были уже в доме? — вскипел Владислав. Оскорбленный этим восклицанием, Заремба не вытерпел:

— Я-то был в доме, подпоручик, но вас там, кажется, не было. Прошу вас заниматься своим взводом и не делать старшим по чину оскорбительных замечаний. Я знаю, что я делаю.

Владек в бешенстве повернул коня и отъехал.

— Закрывай окна скамьями! — командовал Раймонд.

В горнице забаррикадировались.

Раймонд вбежал в комнату, где помещались пленницы. Он увидел лишь бледную Людвигу и растерянную Франциску.

— Ради бога, что случилось? Где Стефания? — бросилась к нему перепуганная Людвигу.

Раймонд быстро окинул комнату.

— Как где? Она должна быть здесь! — крикнул он.

— Вот оно что! Сбежала, гадюка! Проспали мы с тобой, Раймонд, и честь и славу,— с тоской сказал сзади него Птаха.

— Что ж вы будете делать? — Людвигу схватила его за руку.

Птаха вырвал руку.

— Будем отбиваться до последнего... Ложитесь на пол, я с этого окна стрелять буду! — крикнул он. — Все равно живыми не сладимся. Пропадать — так недаром.

Он с яростью двинул тяжелый диван к окну.

— А почему вы остались? — спросил Раймонд Людвигу.

— Я ничего не знала об ее побеге... — чуть слышно ответила она.

— Пане поручик, тут двоих поймали в конюшне,— доложил Зарембе капрал и указал пальцем на партизан.

Заремба выразительно махнул рукой.

В домике услышали короткий залп. Леон и Птаха стояли у окна, за своим прикрытием, готовые выстрелить.

лить в любое мгновение в каждого, кто попадет на мушку.

— Эй, там, в доме, не стрелять! Пан поручик хочет с вами говорить! — крикнул чей-то зычный голос со двора.

В доме молчали...

— Слушайте, вы, которые там засели! Я, поручик Заремба, послан сюда полковником Могельницким... Слышите? — кричал со двора Заремба.

— Слышим, что ж из этого? — закричал в ответ Пшеничек.

— Предлагаю вам сдать.

В домике молчали. Женщины сидели, как им приказали, на полу. Раймонд, вытянув вперед руку с маузером, следил за дверью.

— Повторяю. Я предлагаю вам сдать. В случае, если захваченная графиня Могельницкая жива и невредима, — обещаю сохранить вам жизнь. Если не сдадитесь, то перестреляю всех до одного! Даю пять минут на размышление.

В домике молчали. Раймонд, Птаха и Пшеничек переглянулись. Людвиг по их взгляду поняла, что они не сдадутся. На дворе ждали... Смерть ходила где-то близко вокруг дома, пытаясь найти щель, чтобы войти сюда...

— Эй, там, в доме, сдайтесь?

— Пошел к черту, гад! Будем биться до последнего! Да здравствует коммуна! — крикнул Андрей.

1934—1936 гг.

Конец первой книги

СТАТЬИ И РЕЧИ

СТАТЬИ

ОТ АВТОРА

Когда я принялся писать мою книгу, я думал написать ее в форме воспоминаний, записей целого ряда фактов. Но встреча с товарищем Костровым, в бытность его редактором «Молодой гвардии», который предложил написать в форме повести или романа историю рабочих, подростков и юношей, их детство, труд и затем участие в борьбе своего класса, изменила это намерение.

Я попытался облечь в литературную форму действительные факты, зарисовал целую группу товарищей, частью работающих и сейчас, частью погибших.

Главных действующих лиц я знал лично и, показывая их, желал сделать это правдиво, указав все их недостатки и положительные стороны.

События происходят в маленьком украинском городке Шепетовке (сейчас пограничный район на Волыни). Название городка в книге написано наоборот. Моим желанием было показать детство и юность детей рабочих, ранний тяжелый труд и рассказать, как они вовлекались в классовую борьбу. Я писал исключительно о фактах — это меня связывало. Иногда я попадал в плен к фактам. Написать иначе — значит фантазировать, перестать рассказывать то, что было.

Фамилии действующих лиц частью настоящие, частью вымышленные.

Погром в Шепетовке в 1919 году, устроенный петлюровцами, кровавый белопольский террор зимой 1920 года, повешение и расстрелы нашей подпольной партийной организации, приход немцев, убийство паровозной бригадой немецкого солдата и все остальные эпизоды имеют своих живых свидетелей и участников.

Я их познакомил с главами, в которых они участвовали, и они утвердили фактическую сторону написанного.

Я работал исключительно с желанием дать нашей молодежи воспоминания, написанные в форме книги, которую я даже не называю ни повестью, ни романом, а просто «Как закалялась сталь». В этом письме я пишу свою краткую автобиографию.

Родился в 1904 году, в рабочей семье. По найму работать стал с двенадцати лет. Образование низшее. По профессии — помощник электромонтера. В комсомол вступил в 1919 году, в партию — в 1924 году. Участвовал в гражданской войне. С 15-го по 19-й год работал по найму: кубовщиком, рабочим материальных складов, подручным кочегара на электростанции и т. д. В 1921 году работал в киевских главных мастерских. В 1922 году участвовал в ударном строительстве по постройке железнодорожной ветки для подвоза дров, где тяжело заболел, простудившись и поймав тиф. По выздоровлении, с начала 1923 года был снят с производства по состоянию здоровья и послан на другую работу в пограничье. В 1923 году был военным комиссаром батальона ВВО «Берездов». Последующие годы вел руководящую комсомольскую работу в районном и окружном масштабе. В 1927 году с совершенно разрушенным здоровьем, искалеченный тяжелыми годами борьбы, был отозван в распоряжение ЦК Украины. Было сделано все к тому, чтобы вылечить меня и вернуть на работу, но это до сих пор не удалось. Будучи оторван от организационной работы, стал агитпропом: вел марксистские кружки, обучал молодых членов партии. Будучи прикован к постели, выдержал еще

один удар — ослеп. Оставил кружки. Последний год посвятил работе над книгой. Физически потерял почти все, остались только непотухающая энергия молодости и страстное желание быть чем-нибудь полезным своей партии, своему классу. Работа над книгой — попытка передать бывшее литературным языком. Никогда раньше не писал.

Член ВКП(б) партбилет № 0285973.

Николай Алексеевич Островский.

[1932 г.]

МОЯ РАБОТА НАД ПОВЕСТЬЮ «КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ»

Прежде чем рассказать, как я работал над повестью, несколько слов о себе.

В мятежные годы гражданской и в последующие случилось так, что здоровье мое разрушилось до крайней точки. И последние годы постель стала моим постоянным местом жительства. Я не хожу, лежу недвижно и два года назад потерял единственно зрячий левый глаз. Налицо все предпосылки для того, чтобы сказать — работать в таких условиях нельзя.

Я лично думал, что слепота создаст мне непреодолимые препятствия в работе, так как не знал, можно ли будет записать чужими руками все те разнороднейшие и часто с трудом улавливаемые мысли, которые хочешь записать на бумаге.

Каждый знает, что написать письмо другу, где своей рукой заносятся волнующие тебя переживания и мысли, можно легко и ярко. Но если диктовать то же письмо постороннему, то оно в подавляющем большинстве случаев будет бледнее и суше.

Но поскольку у меня не было другого выхода, я начал свою работу с диктовкой, с тревогой следя, какая продукция получается. Теперь, когда повесть написана, я могу сказать убежденно словами вождя: «Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять».

Да, товарищи, работать можно в самых тяжелых и

отвратительных условиях. Не только можно, но и нужно, если нет иной обстановки.

Для этого необходимо неколеблющееся стремление к труду, большое упорство и... тишина. Тишина необходима, без нее действительно нельзя работать. Когда в комнате шесть человек, из них двое — озорные ребята, и все эти люди наперебой говорят, тут писать невозможно.

Я буду писать не только о том, как писалась книга, но введу сюда несколько частных зарисовок, не имеющих к содержанию книги никакого отношения.

У меня давно было желание записать события, свидетелем, а иногда и участником которых я был. Но занятый организационной работой в комсомоле, не находил для этого времени, к тому же не решался браться за столь ответственную работу.

Единственная проба, и то не литературного характера, а просто запись фактов, была коллективная работа с товарищем, написанная по предложению Истомага Украины. Я никогда раньше не писал, и повесть — это мой первый труд. Но готовился я к работе несколько лет. Болезнь дала мне много свободного времени, которого я раньше совершенно не имел. И я жадно и ненасытно утолял свой голод на художественную книгу. Нет худа без добра.

За период болезни я смог проработать первый курс заочного комвуза и обогатить свой нищенский багаж знакомством с художественной пролетарской и советской литературой.

Без этой большой и глубокой подготовки невозможно было бы писать.

Мною было задумано написать историю группы детей рабочих от их детского возраста до партийности. Поэтому повесть охватывает [события] с 1915 года по настоящий период.

Молодая гвардия партии и комсомола за все время своего существования дала десятки тысяч замечательных людей, беззаветно преданных партии и своему классу.

Их борьба под знаменем Красной Армии, в период гражданской войны, борьба с разрухой, затем творческая работа в восстановительный период и, наконец,

развернутая во всю ширь за последние годы борьба за построение социализма в нашей стране — дают неисчерпаемый материал для пролетарской художественной литературы.

Написать об этом необходимо для тех миллионов, что теперь влились в комсомол, для тех, кто не был свидетелем или участником героической борьбы рабочей молодежи бок о бок с отцами за жизнь республики.

Начав писать, сделал первую ошибку — выхватил один эпизод и записал его. Начало было бесплановое. Эта первая запись так и осталась в стороне от книги.

После я прочел в «Литературной учебе» о том, что целый ряд писателей вообще пишут книги с конца, иногда с середины и заканчивают началом.

Возможно, мастерам литературы это позволительно, но я думаю, что для начинающего писателя будет много лучше писать планомерно от начала до конца, но не наоборот.

Аквотепеш¹ — это небольшой городок на Украине, бывшей Волынской губернии. Крупный железнодорожный узел. Здесь в мятежные годы сталкивались силы революции и реакции.

Насколько ожесточенна была борьба, можно представить по тому, что Шепетовка (читай наоборот — Аквотепеш) до тридцати раз переходила из рук в руки. Большинство эпизодов, описанных в книге, — факты.

Особенно ярко помню я погром, устроенный полковником Голубом, и я чувствую, что в повести я не смог описать всего ужаса этого массового избиения беззащитного еврейского населения. Могу лишь сказать, написано мною много бледнее той жути, которая происходила тогда.

Убийство паровозной бригадой немца часового и остановка поезда с карателями в пути записаны мной со слов живых участников этого эпизода. Все трое рабочих теперь большевики, ударники в том же депо. Когда я диктую, прежде чем рассказать о том или ином действующем лице, я мысленно в своем воображении представляю этого человека; этому мне помогает хоро-

¹ Аквотепеш — читай наоборот — Шепетовка.

шая память. Я цепко запоминаю людей и через десяток лет могу вспомнить их. И вот, рисуя в своем воображении все действие, которое я диктую, я все время не теряю картины, созданной воображением. Когда картина обрывается, то обрывается и запись. Я считаю, что начинающий писатель не может ярко записать человека и картину без этого мысленного воображения. Может это чудно, но мне особенно представляются картины, вызываемые в моем воображении, когда я слушаю мелодичную тихую музыку, особенно скрипки.

Гибель Сережи записана лично моей рукой, как раз когда я слушал по радио «Кавказские мелодии» Ипполитова-Иванова.

Плохо то, что в журналах, помогающих молодому писателю, крупные писатели не пишут о черновой практической своей работе, хотя бы о монтаже книги, о построении главы и т. д., считая это ненужной мелочью, а давая много места общим теоретическим разговорам. А начинающему писателю необходимо также знать технику работы, [получить] хотя бы такую простую помощь, как создать план работы.

Сколько энергии тратится зря, пока начинающий товарищ найдет то, что давно уже известно литераторам.

Все без исключения писатели говорят о важности записной книги, это бесспорно верно. Сколько хороших настроений уплывает в воздух, не будучи сейчас же записаны в книжку. И вот я, которому очень трудно лично писать, завел себе такую книжку, и она уже служит мне хорошую службу.

Большинство действующих лиц носят вымышленные фамилии. У Жухрая настоящее только имя, и был [он] не предгубчека, а начальником Особого отдела. Не знаю, насколько удалось мне зарисовать эту фигуру литого из цельного чугуна балтийского матроса, революционера-чекиста. Наша партия имеет таких товарищей, которых никакая вьюга, никакой ветер не может сбить с крепких, слегка выгнутых наружу ног; с внешности грубые, наполненные силой, замечательные эти люди.

[1933 г.]

ЗА ЧИСТОТУ ЯЗЫКА

Проблема языка нашей художественной литературы, с такой силой и непримиримостью поставленная Алексеем Максимовичем Горьким, уже давно требовала тревожных сигналов, предупреждающих об опасности засорения нашего прекрасного русского языка всякого рода искажениями уже существующих слов или «созданием» новых, в большинстве случаев несуразных, бессмысленных, лишенных какой-либо образности, просто непонятных слов.

Например, пресловутое «скакулязила», — смысл этого слова знает лишь его автор. Читатель, натываясь на такие словечки, реагирует сообразно темпераменту, но послушать его реплики писателю было бы полезно.

Тов[арищ] Караваева, выступая на вечере «Молодой гвардии» в Оргкомитете ССП, говорила о том, что печататься с каждым годом становится труднее не потому, что ослаблено внимание к литературной молодежи, наоборот, — внимание выросло по сравнению с прошлым во много раз, но потому, что многомиллионный читатель вырос и политически и культурно вместе со всей страной и его требования к литературе увеличиваются параллельно его росту.

Я надеюсь, что не выскажу правой теории своим убеждением, что в художественной литературе, больше чем где-либо, главное не темпы, а качество. Лучше написать одну книгу в несколько лет, но чтобы она «жила» десятилетие, чем три-четыре книги, забываемые

уже на другой день после их издания. Язык литературы — важное орудие производства для писателя, и о нем надо говорить. Для нас, литературной молодежи, только вчера вступившей в литературу, проблема языка, сюжета, композиции является основной проблемой, требующей развернутой самокритики и учебы.

Откуда в молодежных книгах поток таких слов, как: «шамать», «топать», «мура», «буза», «шпалер», «похрял», «сбондил» и так далее и тому подобное? Все это не создано авторами, а взято напрокат из воровского жаргона. Преступный мир — уголовщина — в целях некоторой конспирации десятилетиями создавал свой жаргон, совершенно непонятный неискушенному слуху. И вот это чуждое пролетариату просочилось сначала отдельными словечками, а затем в большом количестве в обиход и отсюда в литературу. Как видим, язык тоже стал объектом борьбы, и в него заползли благодаря нашему попустительству все словесные паразиты.

Почему это стало возможным в годы ожесточенных классовых столкновений? В 1921—1922 годах я, например, и мои товарищи — рабочая молодежь — говорили этим изуродованным языком, сами не сознавая, у кого его перенимаем. Помнится один случай: мы, группа железнодорожников, разговариваем в губкоме с зав-агитпропом, коммунисткой-интеллигенткой. Она прерывает наши высказывания: «Послушайте, товарищи! Что это за слова, каким языком вы говорите? Я вас не понимаю, бросьте валять дурака и говорите по-русски». Это нас обидело. Мой приятель высказался за всех: «Очень извиняемся, но другому языку не научены, в гимназиях не обучались». Через шесть лет я встретился с этим парнем, он окончил харьковский комвуз; когда я напомнил ему этот эпизод, он снисходительно улыбнулся. Я провел с ним целый день, но не услышал ни одного из прежних слов: он их вышвырнул из своего обихода, как и многое другое, что оставила нам в наследство старая каторжная «Расея».

Могут сказать, что писатель должен говорить подлинным языком своих героев, а если эти герои говорят, допустим, на воровском жаргоне, то это не его, автора, вина, — писать иначе — значит исказить

правду. Я думаю, что мы не можем вступать на путь фотографирования.

Истинный художник может найти неисчерпаемый источник правдивых, волнующих, незабываемых образов и картин, отображающих нашу действительность и прошлое во всей их многогранности, без того, чтобы полнозвучный, красочный богатый русский язык не уродовать, без того, чтобы на третьей фразе любитель матерщины не «загигал» до седьмого поколения. Что может быть отвратительнее изощренной до предела ругани? Кого из нас не хлещет, как удары кнута, матерщина, эта «национальная гордость» царской России? И все же этот «мат», порожденный кабальной беспросветной жизнью прошлого, сейчас иногда любовно отделяется некоторыми мастерами слова, и все это поглощается молодежью, стремящейся к знанию.

Л. Толстой в романе «Воскресение» рисует царскую тюрьму со всей ее беспросветностью и жутью, рисует проституток, воров и — ни одной матерщины, или подобного ей, а между тем как ярко, с какой страшной убедительностью описаны все эти люди. Дело, значит, не в словах, а в мастерстве. Я не представляю себе картины, чтобы некоторые наши писатели решились выйти, скажем, на трибуну партсъезда и пересказать слова своих героев — на это у них не хватит мужества, язык не повернется. А бумага терпит, молодежь все это читает и краснеет от стыда за автора.

Талантливо написанная книга, насыщенная художественной правдой, переживает своего автора, — я думаю, это мечта каждого писателя. И вот будущему поколению, рожденному в социалистическом обществе, освобожденному от всей грязи раздавленного революцией старого мира, мы, непосредственные участники и свидетели величайшей в мире пролетарской революции, оставили в наследство наряду с большими художественными ценностями всю эту словесную бытовую накипь. Мы, литературная молодежь, учимся у мастеров, и часто их ошибки становятся нашими ошибками.

Критика — это правильное кровообращение, без нее неизбежны застой и болезненные явления. Я вспоминаю, с каким волнением читал первую критическую

статью т[оварища] Любимова в журнале «Книга молодежи» (орган ЦК ВЛКСМ, № 12, 1932 г.). В этой статье под заголовком «В активе комсомольской литературы» т[оварищ] Любимов подверг критическому разбору первую книгу моей повести «Как закалялась сталь». Я думаю, что т[оварищ] Любимов не обидится на меня за то, что я подвергаю критике его критическую статью. Это полезно нам обоим. Я кое-чему учился у него, а из последующего он тоже сделает свои кое-какие выводы. Наряду с ценными указаниями на недостатки книги, с конкретным разбором неудач сюжета т[оварищ] Любимов пишет: «Если первые части книги написаны ярко, то в дальнейшем наряду с художественно сильными, яркими местами имеются провалы, недоработанность — сухо, хроникально написанные куски, отрывки». Если бы т[оварищ] Любимов вместо общей фразы написал конкретно, где эта недоработанность и так далее, почему сделано плохо, было бы хорошо. Общие фразы бесполезны. Идем дальше. «В книге много внешнего, неглубокого, есть зарисовки событий». Где, т[оварищ] Любимов? Конкретно, где прорыв и почему? И, наконец, подойдем к языку. Вот что о нем пишет т[оварищ] Любимов: «В книжке имеются кое-какие и словесные шероховатости, недоработанность языка, избытые описания».

Ответа, в чем заключается эта недоработанность, где она, как и на вышеприведенные выдержки из статьи, т[оварищ] Любимов не дал, а это автору больше всего нужно.

Вот пример, как хорошая, все же много дающая автору критическая статья т[оварища] Любимова вскользь затрагивает чрезвычайно важные вопросы, не давая на них ответа и конкретного анализа ошибок. О языке книги только два слова — «недоработанность языка». Я этим примером хочу сказать товарищам, работающим на критическом фронте: выбросьте из своих статей общие фразы, объявите им войну, как объявлена война всем извращениям языка. Пусть каждая фраза будет конкретна, а не «вообще». Вы первые должны атаковать все словесные фиглярства, и при совместной работе писателей и критиков мы достигнем желанных результа-

тов, очистим язык художественных произведений от всей накипи, снижающей ценность и качество труда работников литературы.

Борьба за чистоту языка в художественной литературе должна быть направлена не только против искажения слов,— это лишь часть проблемы, главное же — это умение построить фразу, дать яркий образ, чтобы из грамотно написанных слов не получилась безграмотная путаница.

Архитектор, прежде чем построить изумляющее своей красотой и стилем здание, кроме любви к своему искусству и таланта, годами учился технике строительства, азбуке архитектуры. Думаю, не ошибусь, если выскажу предположение, что многие из нас, молодых писателей, не овладели азбукой литературы. В нашей стране, исключительной по своему строю, самой свободной стране в мире, выходят из печати десятки и сотни произведений, которые нужно назвать «первой пробой руки». Это работа учеников-подмастерьев художественной литературы. Только у нас возможно это. Но, получив право еще в ученическом периоде печататься, неизбежно внося в литературу сырой полуфабрикат, молодой писатель не имеет права забывать, что страна дает ему аванс за счет его таланта, искорки которого вспыхивают в его произведениях среди беспомощных, детских нагромождений и что этот аванс он должен вернуть. Оплатить этот счет можно лишь одним — ростом, на основе большой и упорной учебы, овладением техникой, а для этого нужна учеба, учеба и еще раз учеба. В наше изумительно счастливое время, в стране победившего пролетариата для молодежи двери в жизнь широко распахнуты.

Сколько тысяч бывших кочегаров, грузчиков, ткачих, электромонтеров, пастухов сейчас постигают вершины знаний — техники, литературы, экономики и управления государством! Но грузчик в прошлом, а ныне красный профессор, писатель, инженер или член правительства, пришел к своей последней работе не путем механического передвижения, а путем огромной работы над собой, над созданием нового человека, пролетария-ученого. Это радостный труд, это о нем т[оварищ] Сталин

говорил, как о труде, ставшем делом чести, доблести, славы и героизма.

Только так мы должны подходить к своим ошибкам, не зазнаваться, написав неплохую книгу, помня, что писатель выдвинут на передовую линию огня, и наша партия требует, чтобы каждое слово его оружия было в цель, чтобы его образы зажигали сердца, а для этого надо знать свое оружие и уметь им владеть.

Я открываю первую книгу своей повести, вновь читаю знакомые строки, — и статьи Горького, этого великого мастера словесной живописи, открывают мне глаза; я вижу, где написано плохо, и ряд слов, ненужных и нарочитых, безжалостно зачеркивается, и если повести суждено снова выйти в свет, то их уже в ней не будет.

Можно ли, говоря о языке, обойти тематику наших молодежных книг? Нельзя. О ней надо говорить. Недопустимо, чтобы вышедшая в свет молодежная книга не нашла отзыва в наших комсомольских журналах. Нельзя отделяться куцей статейкой в одну страницу. Это будут одни общие фразы. Критика должна быть развернутая, полноценная.

Творческая дискуссия лишь разворачивается, а мы уже имеем целый ряд ошибок и неверных установок, например, статьи т[оварища] Серафимовича.

Статьи Горького — это освежающая струя, это призыв к честному, ответственному труду. Великий мастер не очень ласков, когда говорит о людях, «оседлавших» славу. Но чем страстнее его удары, тем скорее будет сделан поворот.

Критика А. М. Горького глубоко принципиальная, она не убивает, она только возвращает к действительности тех, кто забыл меру.

Этой принципиальности нет у некоторых критиков. На собрании литераторов говорилось об опасности, вставшей перед поэтами: Уткиным, Жаровым и другими. Из этого предупреждения кое-кто сделал свои неверные выводы, и уже есть попытки вычеркнуть И. Уткина из поэзии и водрузить на его «могиле» осиновый кол. Иосиф Уткин — поэт комсомола. Комсомол знает славное имя Саши Безыменского и еще немало близких имен, среди них и Уткина — автора повести «о рыжем Мотэле».

Последние годы с т[оварищем] Уткиным творится что-то неладное. Его тематика и мастерство, сниженные небрежной работой над словом, не дали комсомолии яркого, зовущего к борьбе поэтического произведения. Уткин, несомненно, переживает кризис, отсюда целый ряд политических ляпсусов. Было время, когда Уткин, опоясанный патронташем, неплохо шел в боевой цепи, и встречный ветер и пули пели ему свои песни. Поэт справедливо гордится этими незабываемыми днями. Он имеет на это право, но откуда к нему пришли слова, когда он говорит: все это было раньше, а теперь иное — «и невольно руку раненую бережешь»? В чем же разгадка творческих неудач поэта? Было время, когда «наш Мотэле» ходил с заплатами на брюках, а сапоги его жадно просили «кушать», но поэт был жизнерадостен, в кармашке, ближе к сердцу, лежал комсомольский билет, а кругом брызгала смехом неугомонная юность. Уткин был неразрывен с комсомолией, только эта близость рождала прекрасные строки. Поэт рос вместе с молодежью, строящей социализм, и эта молодежь подняла его на щит. Теперь же молодежь по-прежнему растет и... переросла своего поэта, остановившегося в неподвижности, даже отступившего назад к сентиментальной лирике.

Что же, Уткин для нас потерян? Все, конечно, зависит от него. Я уверен, что Иосиф, один из [поэтов] первого поколения комсомолии, изберет единственный верный путь — сблизиться с действительностью наших дней, и могущественная волна невиданного творческого энтузиазма, которым объята вся страна, вовлечет его в родную стихию, и «наш Мотэле» даст нам не одну прекрасную поэму о сегодняшних, не менее героических, чем в тысяча девятьсот девятнадцатом году, днях. Только не надо жалеть раненую руку, пусть она пишет, пусть слова будут яркие, волнующие и... грамотные. Уткин — не «новичок», ему зазорно не знать русского языка. Уткин — наш, он запутался, но хоронить его рано, ему навряд ли больше тридцати, он еще полон жизни, и мы услышим его песни, но уже не «о рыжем Мотэле».

[1934 г.]

**КОМИТЕТУ И КОМСОМОЛЬЦАМ
АММИАЧНОГО ЗАВОДА В г. БЕРЕЗНИКАХ**

Дорогие товарищи!

Ваше письмо, описав широкий круг, попало, наконец, ко мне. Хорошее, полное теплоты и коммунистической солидарности письмо.

Друзья, вы просите меня рассказать о себе побольше. Я посылаю вам статью, опубликованную в журнале «Коммунистическая молодежь», органе ЦК ВЛКСМ. Она расскажет вам о многом.

Всех нас соединяет, вдохновляет и зовет к борьбе и труду единая цель, и победа одного из бойцов великой нашей армии строителей социализма есть общая победа, так же как и общая победа есть личная радость каждого из нас. Этого не знал старый, проклятый мир.

Свою повесть «Как закалялась сталь» я не выдумывал. Она написана о живых людях. Повесть — это крошечный кусочек жизни, нашей грандиозной действительности, такой величественной и прекрасной.

Мы с вами живем в эпоху, когда старый, все дичающий капиталистический мир доживает свои последние годы. Капитализм, это кровожадное чудовище, чувствуя свою неминуемую гибель, готовится к последней схватке со своим могильщиком — пролетариатом. Он отбрасывает все демократические побрякушки и обнажает гнилые, но отравленные зубы. Он истребляет тех, кто поднял знамя борьбы за мировой коммунизм. Фа-

шизм — это последняя фаза капитализма. С фашизмом ведут борьбу революционные пролетарии всех стран. Фашизм неизбежно попытается разгромить нашу страну. И вам, второму поколению комсомола, придется грудь с грудью столкнуться в последнем и решительном бою с этим проклятием человечества. Мы, старые комсомольцы, почти детьми дрались рядом со своими отцами за власть Советов. Нет у нас большей гордости, как сознание, что в этой борьбе мы были достойными сынами своего класса. Мы своими глазами видели всю подлость и жестокость врага. Мы учились ненавидеть. Наши сердца закалялись в этой кровавой борьбе. И когда, вступая в освобожденные города, мы видели виселицы с телами замученных товарищей, то наши сабли разили еще беспощадней. Для того, чтобы никогда не было войны, для того, чтобы создать братство народов всего мира, пролетариату надо пройти свой последний героический путь революционного восстания в странах капитализма, а нам сохранить и защитить Советский Союз, эту опору и надежду пролетариев всего мира.

Вот об этой борьбе с фашизмом я пишу свою вторую книгу.

Действие происходит в Галиции и на Украине. Конец 1918 и начало 1919 года. Город Львов. Захват польским фашизмом власти. Создание подпольных организаций партии и комсомола. Их героическая борьба с панами. Братская интернациональность подпольной комсомольской ячейки. Поляки, украинцы, русские, чех, еврейка — все эти молодые рабочие едины в борьбе против графов Могельницких, князей Замойских и Потоцких, фабрикантов Баранкевича, Шпильмана, Абрамахера и других.

В классовой борьбе нет национальностей, есть только принадлежность к классу.

В классовой борьбе нет места гнилому либерализму, ибо враг никогда не сдастся без боя.

Я хочу, чтобы молодое поколение, не видевшее живого жандарма, помещика, знало лицо врага, с которым ему придется столкнуться и которого нужно будет уничтожить навсегда.

К августу думаю книгу окончить. Если ЦК признает ее достойной печати, то в конце года она будет издана.

Я с глубоким удовлетворением слушал ваше письмо, в котором вы пишете, что роман «Как закалялась сталь» был вами коллективно проработан и вы признали эту книгу своей.

Это наибольшая награда писателю. Есть, значит, для чего жить на свете. Даже будучи слепым и прикованным к постели в течение многих лет, можно быть бойцом и счастливым в нашей великой стране, хозяевами которой мы с вами являемся. Героев рождала не только гражданская война, но и наше великое сегодня. Не достоин звания героя тот, кто хорошо сражался на фронтах, а сейчас не способен быть передовым бойцом. Труд, ставший делом чести, славы, доблести и героизма, рождает новых героев, не менее мужественных, чем герои гражданской войны.

Нужно только понять и прочувствовать всю героичность того, что мы с вами делаем. Тогда никакие трудности и лишения не смутят нас. Мы уже победили окончательно и навсегда в своей стране. Разгромили и уничтожили тех, кто становился нам поперек пути — кулака, троцкистско-зиновьевское охвостье, и победно движемся вперед. «Будущее принадлежит нам!» — так же, как и героическое настоящее.

Привет вам, мои молодые товарищи! Вы деретесь не хуже нас. И когда надо будет взяться за оружие, то вы покроете себя неувядаемой славой... Борьба продолжается. Каждый из нас на посту и делает свое дело.

Крепко жму ваши руки. Преданный вам

Н. Островский

Сочи, 13 марта 1935 г.

[О РОМАНЕ «РОЖДЕННЫЕ БУРЕЙ»]

Исполняю ваше поручение и сообщаю, над чем я работаю. Пишу роман. Название ему еще не дал. Оно придет само собой, когда книга будет написана.

Хочу рассказать этой книгой нашей молодежи о героической борьбе украинского пролетариата против кровавого польского фашизма. Хочу показать лицо тех, кто душит трудовой народ Западной Украины и Польши виселицами. Врага надо знать. Хищный стервятник точит когти и каждый час готов кинуться на великую страну социализма.

Книга расскажет о конце 1918 года и начале 1919 года. Западная Украина — Галиция. Большой город. Немецкие оккупационные войска бегут в Германию, преследуемые красными партизанскими отрядами.

В родовом имении крупного помещика графа Могельницкого еще при немцах фашистский штаб организует и подготавливает захват власти. Кто они, эти люди? Крупные помещики — Могельницкий, князь Замойский, Зайончковский, сахарозаводчик Баранкевич, епископ Бенедикт, ксендз Иероним, агент французской «Сюрте женераль» лейтенант Варнери, бывшие офицеры организованного генералом Пилсудским польского легиона австрийской армии. Руководит всем старший сын графа Могельницкого, полковник русской гвардии. Помещики не жалеют денег на создание польского легиона,

вербуют наемников. В их планы входит захват власти не только в Восточной Галиции,— польские помещики Сангрушко и Потоцкий, связанные с ними, требуют захвата Украины, где находятся их имения и заводы.

На другом полюсе организуются силы революции. Молодая коммунистическая партия Польши посылает в город члена своего ЦК, старого революционера Сигизмунда Раевского. Он сколачивает подпольную коммунистическую организацию. В день захвата власти польскими фашистами избирается областной подпольный комитет. Коммунисты развертывают революционную пропаганду среди рабочих. В села, объятые восстанием, посылаются организаторы партизанских отрядов. Кровавый террор фашистов загоняет коммунистов в глубокое подполье. События нарастают. Попытка рабочих поднять в городе восстание не удается. Штаб легионеров подлой провокацией направляет на восставших рабочих немецких солдат, которых после разгрома восстания сами же легионеры разоружают и отбирают [у них] все, вплоть до шинели...

В книге будет рассказано, как коммунисты руководили стихийным революционным движением крестьянства. В жестокой борьбе за власть советов сплачиваются воедино революционные рабочие — украинцы, поляки, евреи, чехи. Здесь, рядом с отцами, плечо к плечу их дети. По другую сторону баррикад — польская буржуазия, дворянство, помещики и с ними заодно — украинские помещики, кулачье, фабрикант Шпильман, банкир Абрамахер, погромная петлюровщина...

Я уделяю большое внимание революционной молодежи — подпольной ячейке комсомола, работающей под непосредственным руководством партии. Кто эта молодежь? Раймонд, сын Раевского, Сарра, дочь сапожника, работница швейной фабрики Шпильмана, Олеся, дочь машиниста водокачки, члена областкома, Андрий Птаха, бунтарствующий юноша, которого подполье воспитывает и дисциплинирует, молодой пекарь чех Пшеничек и другие.

Хочу показать глубокую интернациональность их борьбы, большую дружбу и подлинный героизм. Разные по натуре, по характеру, но единые по классу, эти

молодые помощники партии, ее сторожевые и разведчики — достойные сыны своих отцов.

Книга расскажет, как разжигали буржуазия и католическая церковь национальную рознь, натравливая поляков на украинцев и евреев.

Молодежь должна знать всю гнусность и подлость врага, его предательскую двуликость, хитрость и коварство в борьбе с пролетариатом, чтобы в грядущей нашей борьбе с фашизмом нанести ему смертельный удар.

В небольшой статье нельзя рассказать [об этом] подробнее. В августе книга будет закончена.

Меня спрашивают, как новая книга перекликается с романом «Как закалялась сталь». Обе книги родственны. Только в «Как закалялась сталь» сжато рассказана жизнь целого поколения на протяжении шестнадцати лет, а новый роман развертывает в глубину лишь один из эпизодов революционной борьбы на протяжении трех-четырёх месяцев.

Весь этот год у меня будет занят работой над окончанием романа, над сценарием по роману «Как закалялась сталь» для Украинфильма и работой над книгой для детей «Детство Павки».

Мой рабочий день — шесть — десять часов. Разрушенное здоровье часто предаёт меня. Но все же работа движается вперед.

С коммунистическим приветом *Н. Островский*
[1935 г.]

Б РЕДАКЦИЮ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ»

Только сегодня прочел в «Литературной газете» от 5 апреля статью Бориса Дайреджиева «Дорогой товарищ». И хотя я сейчас тяжело болен — воспаление легких, но должен взяться за перо и написать ответ на эту статью. Буду краток.

Первое: решительно протестую против отождествления меня — автора романа «Как закалялась сталь» — с одним из действующих лиц этого романа — Павлом Корчагиным.

Я написал роман. И задача критиков показать его недостатки и достоинства, определить, служит ли эта книга делу большевистского воспитания нашей молодежи.

Во второй половине своей статьи критик Дайреджиев сходит с правильного пути разбора книги в этой области и пишет вещи, мимо которых я не могу пройти молча. Например: «Но здесь мы должны отметить ошибку редакции «Молодой гвардии». Дело в том, что Корчагин — это Островский. (Его история недавно была рассказана М. Кольцовым в фельетоне «Мужество» в «Правде».) А роман — человеческий документ. И вот по мере того как мир смыкается железным кольцом вокруг разбитого параличом и слепого Островского, семейная неурядица борьбы с обывательской родней жены Корчагина начинает занимать центральное место в последней части романа. Прикованный к койке,

Островский не замечает, как мельчает в этой борьбе его Павка. Типичные черты Корчагина начинают вырождаться в индивидуальную жалобу Островского через своего героя. Редактор книжки т[оварищ] Шпунт оказалась политически более чуткой, чем редакция журнала. Она свела к минимуму перипетии семейной ссоры, заострила политическую суть этой борьбы, тогда как журнал дал целиком эту растянутую часть романа, чем способствовал разжижению гранитной фигуры Павки Корчагина».

Зачем понадобились Дайреджиеву эти сенсационные сообщения, что Корчагин — это Островский, что это о нем писал в «Правде» Кольцов?

Как все это режет ухо! Зачем понадобилось Дайреджиеву написать неправду (я с трудом воздерживаюсь от более резкого выражения) об авторе романа и Павле Корчагине, которых Дайреджиев отождествляет? Когда и где увидел Дайреджиев индивидуальную жалобу автора на окружающую его действительность? Конец последней главы, о которой пишет Дайреджиев, в книге не опубликован. Но пинок, которым наградил критик редакцию журнала «Молодая гвардия» пришелся как раз мне в лицо. Я должен ответить на удар ударом.

Если вы, тов[арищ] Дайреджиев, не поняли глубоко партийного содержания борьбы Корчагина с ворвавшейся в его семью мелкобуржуазной стихией, обывательщиной и превратили все это в семейные дразги, то где же ваше критическое чутье? Никогда ни Корчагин, ни Островский не жаловались на свою судьбу, не скулили, по-Дайреджиеву. Никогда никакая железная стена не отделяла Корчагина от жизни, и партия не забывала его. Всегда он был окружен партийными друзьями, коммунистической молодежью и от партии, от ее представителей, черпал свои силы. Сознательно или бессознательно, но Дайреджиев оскорбил и меня, как большевика, и редакцию журнала «Молодая гвардия».

Дальше тов[арищ] Дайреджиев обращается с публичным вызовом к писателю Всеволоду Иванову взять на себя «инструментовку», «техническую шлифовку и озвучение» книги, после чего «она станет в уровень с лучшими образцами социалистического эпоса». Я ценю

Вс. Иванова как писателя. Убежден, что он тоже был смущен этим театральным жестом Дайреджиева. Мы, молодые писатели, только что вступившие в литературу, жадно учимся у мастеров мировой и советской литературы. Берем лучшее из их опыта. Они нас учат.

А. С. Серафимович отдавал мне целые дни своего отдыха. Большой мастер передавал молодому ученику свой опыт. И я вспоминаю об этих встречах с Серафимовичем с большим удовлетворением. Анна Караваева, будучи больной, читала мою рукопись, делала свои указания и поправки. Марк Колосов привез эту рукопись в ЦК комсомола...

Из их указаний я делал выводы и своей рукой выбросил все ненужное. Своей рукой! Так большевики помогали «озвучать» книгу. Книга имеет много недостатков. Она далека от совершенства. Но если ее вновь напишет уважаемый Всеволод Иванов, то чье же это будет произведение — его или мое? Я готов учиться и у Всеволода Иванова. Но переделывать свою книгу должен сам, продумав и обобщив указания мастеров литературы. Эти указания и советы нам, молодым, нужны, как воздух. Товарищеская творческая их помощь, большевистская критика. Ничего этого нет у Дайреджиева.

С коммунистическим приветом *Н. Островский*

11 мая 1935 г.

г. Сочи, Орехова, 47

Прошу редакцию «Литературной газеты» напечатать это письмо.

РЕДАКЦИИ «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ»

Искренно, горячо приветствую «Комсомольскую правду», нашу родную любимую газету, в день ее десятилетия! С каким волнением и радостью мы, комсомольцы, десять лет тому назад читали первый номер своей газеты! Как она выросла за эти годы! Я думаю, теплых, искренних поздравлений будет много. Газета их заслужила. Но сейчас я спешу передать свои пожелания.

Надо возродить литературную страницу, как это было в прошлые годы. Ведь литературная страница читалась бы молодежью запоем. В ней печатались лучшие произведения наших комсомольских поэтов и писателей. Ведь страница «Комсомольской правды» вырастила и ввела в литературу немало талантливой молодежи.

Я горячо ратую за восстановление литстраницы. Все эти десять лет я читаю «Комсомольскую правду» и с огорчением отмечаю наряду с огромным [ее] ростом за последний год недостаточное внимание литературного отдела «К[омсомольской] п[равды]» к вопросам освещения и критики молодой литературы нашей страны. Ряд комсомольских романов и повестей «Осада» Бутковского, «Пленум друзей» Богданова, «Мое поколение» Горбатова и др[угие] — не получили достаточного освещения в «К[омсомольской] п[равде]».

Отдел библиографии должен заполняться ежедневно. Молодежь жадно хочет знать о лучших книгах.

нашей страны, она ищет на страницах своей газеты, что ей читать.

Нужно печатать [сообщения] о выходе книг, издаваемых «Молодой гвардией». Нужно также подвести итоги работы журнала «Молодая гвардия» за 1934 год и половину 1935 года.

Желаю всему коллективу газеты плодотворной, бодрой, высококачественной работой поднять нашу любимую газету на еще более высокую ступень!

Крепко жму ваши руки.

С коммунистическим приветом.

20 мая 1935 г.

Сочи, Орехова, 47

МОЛОДЫМ ЧИТАТЕЛЯМ КОМСОМОЛЬСКОЙ СТРАНИЦЫ

Я хочу сказать несколько слов моим товарищам комсомольцам, читателям этой страницы. Сделайте так, чтобы комсомольскую страницу «Сочинской правды» читали не только вы, комсомольцы, но и вся рабочая молодежь.

Как это сделать? На всех стройках, предприятиях комсомольцы — инициаторы чтения — собирают вокруг себя в короткие перерывы молодежь, вместе с ней читают и обсуждают молодежную страницу.

Обсуждение должно быть живым, интересным. Это может и должно служить вовлечению молодежи в раб-коровское движение. Нужно только заинтересовать молодежь, и она живо откликнется на призыв писать о своих запросах, пожеланиях.

Для этого надо, чтобы комсомольская страница освещала все то, о чем молодежь хочет знать.

Со своей стороны я готов принять участие в этом интересном и полезном деле.

[1935 г.]

МОЙ ДЕНЬ 27 СЕНТЯБРЯ 1935 ГОДА

...Звонок телефона врывается в сон, и волнующие видения испуганно исчезают... Просыпаюсь, и первое мое ощущение — это мучительная боль скованного неподвижностью тела. Значит, несколько секунд назад был сон, в котором я, молодой, сильный, мчался, как ветер, на боевом коне навстречу восходящему солнцу. Я не открываю глаз. Это не нужно: в один миг я вспоминаю все. Восемь лет назад суровая болезнь свалила меня в постель, приковала неподвижно, потушила глаза, превратив все вокруг меня в черную ночь. Восемь лет!

Острая физическая боль обрушивается на меня стремительной атакой, жестокая и неумолимая. Я инстинктивно делаю первый жест сопротивления — крепко сжимаю зубы. На помощь мне спешит второй звонок телефона. Я знаю, это жизнь зовет меня к сопротивлению. Входит мать. Вот трубка телефона у моего уха. Говорит телеграф. «Примите молнию. Сценарий принят. Приступаем к постановке звукового кинофильма по вашему роману «Как закалялась сталь». Это хорошо. Значит, недаром мы с Мишей Зацем работали эти месяцы. Мать приносит утреннюю почту — газеты, книги, стопка писем. Сегодня несколько интересных встреч. Жизнь вступает в свои права. Прочь страдания! Утренняя короткая схватка кончается, как всегда, победой жизни.

— Скорей, мама, скорей! Умыться и кушать!..

Мать уносит недопитый кофе. И я слышу утреннее приветствие моего секретаря Александры Петровны. Она — как часы.

Меня выносят в сад под тень деревьев. Здесь уже все приготовлено для работы. Спешу жить. Вот почему все мои желания стремительны.

— Читайте газеты. Что там на итало-абиссинской границе? Фашизм, этот сумасшедший с бомбой, устремился сюда. Никто не знает, куда и когда он швырнет эту бомбу.

Газета говорит: сложнейшая запутанная паутина международных отношений, неразрешимые противоречия обанкротившегося империализма... Угроза войны черным вороном носится над миром. Доживающая последние дни буржуазия выпустила на арену свои последние резервы — фашистских молодчиков. А те, орудуя топорами и веревкой, быстро поворачивают буржуазную культуру назад к средневековью. Душно в Европе. Пахнет кровью. Мрачная тень 1914 года видна даже слепым. Мир лихорадочно вооружается...

— Довольно! Читайте о жизни нашей страны.

И я слушаю биение сердца моей родины любимой. И встает она передо мной молодой и прекрасной, с цветущим здоровьем, жизнерадостная, непобедимая Страна Советов. Только она одна, моя социалистическая родина, высоко подняла знамя мира и мировой культуры. Только она создала истинное братство народов. Какое счастье быть сыном этой родины...

Александра Петровна читает письма. Они идут ко мне со всех концов необъятного Советского Союза — Владивосток, Ташкент, Фергана, Тифлис, Белоруссия, Украина, Ленинград и Москва, Москва, Москва. Сердце мира. Это моя родина перекликается с одним из своих сыновей, со мной... автором единственной книги «Как закалялась сталь», молодым, начинающим писателем. Тысячи этих писем, бережно разложенных в папки, — самое дорогое мое сокровище. Кто же пишет? Все. Рабочая молодежь фабрик и заводов, моряки-балтийцы и черноморцы, летчики и пионеры — все спешат высказать свою мысль, рассказать о чувствах, разбуженных книгой. И каждое письмо чему-то учит и чем-то обога-

щает. Вот оно, письмо, зовущее к труду: «Дорогой товарищ Островский! Мы с нетерпением ждем твоего нового романа «Рожденные бурей». Пиши его скорее. Ты должен сделать его прекрасно. Помни, мы ждем эту книгу. Желаем тебе здоровья и большой удачи. Рабочие Березниковского аммиачного завода...»

Второе письмо. Оно сообщает о том, что в 1936 году мой роман выйдет в нескольких издательствах тиражом в пятьсот двадцать тысяч экземпляров. Это — целая армия книг...

Я слышу: у ворот, тихо журча, останавливается автомобиль. Шаги. Приветствие. Я узнаю по голосу — это инженер Мальцев. Он строит дачу, подарок правительства Украины писателю Островскому. Среди тенистых деревьев старого сада, недалеко от моря, будет выстроен красивый коттедж. Инженер разворачивает план.

— Вот здесь ваш кабинет, библиотека, комната секретаря. Затем ванна. А это — половина для вашей семьи. Большой балкон, где вы будете работать летом. Кругом много света, солнца. Пальмы, магнолии...

Сделано все, чтобы я мог работать спокойно. Я чувствую в этом заботливую, нежную руку моей родины.

— Вы довольны проектом? — спрашивает инженер.

— Он прекрасен!..

— Тогда мы приступаем к работе.

Инженер уходит. Александра Петровна перелистывает рабочую тетрадь. Сейчас рабочие часы. До вечера ко мне никто не придет, зная, что я занят. Несколько часов напряженной работы. Я забываю все окружающее. Переношусь в прошлое. В памяти встает мятежный 1919 год. Грохот орудий... Зарево ночных пожаров... Полчища вооруженных интервентов ворвались в нашу страну, и герои моего романа, самоотверженная молодежь, плечом к плечу со своими отцами отражают это нападение...

— Четыре часа, пора кончать, — тихо говорит Александра Петровна.

Обед. Час отдыха. Вечерняя почта — газеты, журналы и опять письма. Я слушаю роман Перл Бак

«Земля». Угасает солнце. Я этого не вижу, но чувствую, как приближается прохладный вечер.

Шорох многих шагов. Звонкий смех. Это идут мои гости, героические девушки нашей страны, парашютистки, побившие мировой рекорд по затяжному прыжку. Вместе с ними пришли комсомольцы сочинских новостроек. Приглушенный грохот мощной стройки доносится даже сюда, в тихий сад. Я мысленно представляю, как покрываются асфальтом и бетоном улицы моего городка. А там, где еще год назад были пустыри, высятся огромные здания дворцов-санаториев...

Вечер. В доме тихо. Гости уехали. Мне читают. Легкий стук в дверь. Это — последняя встреча, внесенная в расписание дня. Корреспондент «Москау дейли ньюс». Он плохо говорит по-русски:

— Это верно, что вы были простым рабочим?

— Да. Кочегаром...

Быстро шуршит по бумаге его карандаш.

— Скажите, вы очень страдаете? Ведь вот вы — слепой. Прикованы к постели в течение долгих лет. Неужели к вам ни разу не пришло отчаяние о безвозвратно потерянном счастье видеть, двигаться?

Я улыбаюсь.

— У меня просто нет времени на это. Счастье многогранно. В нашей стране темная ночь может стать ярким солнечным утром. И я глубоко счастлив. Моя личная трагедия оттеснена изумительной, неповторимой радостью творчества и сознанием, что и твои руки кладут кирпичи для создаваемого нами прекрасного здания, имя которому — социализм...

Ночь. Я засыпаю усталый, но глубоко удовлетворенный. Прожит еще один день жизни, самый обыденный, прожит хорошо...

[1935 г.]

СЧАСТЬЕ ЖИТЬ

В наше время даже темная ночь становится пылающим утром. Никогда не мечтал я о таком счастье, как то, что завоевано теперь. Какой неоспоримый пример возможности борьбы и работы, даже в условиях, в каких в буржуазном мире человек гибнет в одиночестве.

Я пишу теперь вторую книгу о молодежи, о новых людях нашей страны, о том, что я хорошо знаю.

Действие снова проходит на Украине, моей родине, которую я прошел пешком вдоль и поперек. Пишу о том, что ярко запомнилось, что можно правдиво передать.

Желания работать у меня много, и я хочу, я даже обязан прожить еще минимум три года, чтоб дать нашему юношеству одну-две родных ему книги.

Это очень важно, для меня в особенности. Вот почему я так много работаю, подготавливая материал, организуя его. Много читаю и, готовясь, много учусь.

Рост — это движение вперед. Для меня качество второй моей книги — дело чести. Я буду работать настойчиво и любовно, вкладывая в нее все, что дали мне пятнадцать лет моей коммунистической жизни.

Победа первой книги не может вскружить мне голову. Я не зеленый юноша, а большевик, который знает, как далека еще до совершенства и действительного мастерства моя первая книга.

Делаю все, чтоб новое дитя родилось разумным и красивым. Есть для чего жить.

[1935 г.]

СЧАСТЬЕ ПИСАТЕЛЯ

К 18-й годовщине Великой пролетарской революции, как никогда, развернулись мои творческие силы; они на таком огромном подъеме, о котором я мог только мечтать. Можно сказать, что именно теперь — на тридцать втором году моей жизни — наступил полный расцвет моих творческих возможностей, потому что все вокруг содействует этому. Жизнь в нашей стране, преодолевающей все трудности на своем пути, чудесная, прекрасная.

О чем может еще мечтать молодой писатель, когда, по данным издательств, его книга в наступающем году будет издана тиражом 650—750 тысяч экземпляров! Счастье писателя, когда его книги читаются!

Ни единая мысль, ни единая капля моей энергии не направлены на заботу о своей жизни, потому что она вполне обеспечена. Единственная моя забота — это качество книги. Ничто не мешает моей работе. Партия, вся страна создали вокруг меня обстановку теплоты и радости. Сотни писем, встречи с друзьями лучше всего стимулируют мою работу.

Мы празднуем восемнадцатую годовщину Великой пролетарской революции. Прошел еще один год — год огромнейших достижений всей страны. Мы отмечаем год прекрасного настоящего и чудесного будущего. И это находит свое отражение в каждом из нас, в нашем быту, в личной жизни. В нашей коммунистической семье не может быть личного счастья, изолированного

от счастья всей страны. Личное счастье становится в десять раз большим, когда рядом с ним видишь подъем всего народа, идущего к прекрасной зажиточной жизни.

Единственно, что тревожит меня, обязывает мобилизовать все силы — это чувство ответственности за новую книгу «Рожденные бурей», которую я пишу. Это ответственность перед многомиллионным, требовательным и умным читателем. Я сделаю все, чтобы оправдать это ничем незаменяемое доверие масс.

Передаю свой искренний, пламенный привет моей родине — Советской Украине, рабочим, колхозникам, комсомольцам, крепко жму их руки и желаю огромнейших успехов в строительстве социалистического общества.

Н. А. Островский

[1935 г.]

ТВОРЧЕСКОМУ КОЛЛЕКТИВУ ОДЕССКОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ КИНОФАБРИКИ

Дорогие товарищи!

Я получил вашу приветственную телеграмму в самый радостный момент моей жизни. Я хочу сказать вам несколько слов о нашей будущей работе над фильмом «Как закалялась сталь».

С первых дней, когда вам была передана постановка этой картины, я почувствовал, что ваш коллектив принял это как дело чести. И у меня нет мысли о том, что вы не сделаете все, что в ваших силах и возможностях, чтобы фильм вышел прекрасным. Когда мы с Моисеем Борисовичем Зацем встретились с руководством вашей фабрики, то стало ясно, что фильм находится в надежных и дружеских руках. Вы знаете о том, что сценарий — это одна треть творческой работы. Вся тяжесть и вся трудность ложится теперь на ваши плечи. Победа фильма будет обеспечена лишь общей прекрасной работой всего коллектива. Я не могу приехать к вам и вместе, в дружной семье создавать этот комсомольский фильм.

Пусть же каждый товарищ от режиссера до рабочего электромонтера отнесется к этому делу любовно. Пусть молодые артисты, которые должны будут воплотить в жизнь образы книги и сценария, глубоко продумают свои роли, чтобы многомиллионный наш зритель увидал на экране правдивые, страстные, порывистые, беспре-

дельно-преданные своей партии образы первых комсомольцев и старых большевиков периода гражданской войны и последующих годов.

Помните, что Павка Корчагин был жизнерадостный, страстно любящий жизнь юноша. И вот, любя эту жизнь, он всегда готов был пожертвовать ею для своей родины. Павка не должен выйти суровым, хотя он хотел казаться таким. Жизнь была в нем ключом, прорывалась наружу сквозь внешнюю суровость. Он часто и заразительно смеялся в кругу своих друзей. Но, сталкиваясь с врагами, он был страшным для них человеком. Его рука не знала пощады для вооруженного врага...

С огромным волнением буду ждать появления фильма на экране. От всего сердца желаю большой удачи!

Крепко жму ваши руки.

Ваш Островский

[1935 г.]

САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ГОД

Если бы меня спросили, какой год самый счастливый в моей жизни,— я мог бы ответить только:

— 1935-й.

Если бойца приласкала страна за его упорство и настойчивость, если к его груди, там, где стучит сердце, приколот орден Ленина,— то счастье его безмерно.

1935 год был для меня завершением первого этапа творчества, учебы, роста, движения вперед.

1936 год я встречаю полный надежд, творческих стремлений, огромного желания работать. Движимый этим желанием, я приехал в Москву, чтобы подойти поближе к документальной сокровищнице нашей страны, так необходимой мне для работы над моим новым романом — «Рожденные бурей».

2 января будет днем начала моей работы в Москве. В этот день впервые ляжет передо мной том документов гражданской войны.

Большого труда стоило моим уважаемым врачам убедить меня отдохнуть после переезда в Москву,— так безудержно желание сейчас же, немедленно приступить к работе.

Когда я читаю страстные выступления стахановцев, передовых героев — ударников нашихстроек и заводов,— речи, в которых звучит радость труда и глубочайшее удовлетворение от этого труда,— я всем сердцем понимаю их, потому что то же самое ощущение пережи-

ваю и я каждый раз, когда усталый, но радостный засыпаю после напряженного трудового дня.

Обстоятельства заставили меня на несколько месяцев отложить работу над новым романом. Сейчас я вновь сближаюсь со своими героями. Я возвращаюсь к зиме 1919 года... Занесенная снегом Украина... Деморализованное охвостье немецкой оккупационной армии бежит в Германию от преследующих их красных партизанских отрядов... Передо мной, как живой, вырастает Андрий Птаха, молодой кочегар с волнистым льняным чубом. Его серые отважные глаза устремлены на меня с суровым укором:

— Бросил ты нас, братишка. Кругом земля гудит под конскими копытами. Нам бы в бой, что ли?..

Рядом с ним — черноглазая красавица Олеся Ковало. Я люблю эту дивчину. Я знаю, из нее выйдет хорошая комсомолка и помощница своему батьке, старому машинисту, подпольщику-большевику.

Я пожимаю руки своим молодым друзьям и обещаю больше не расставаться с ними...

31 декабря 1935 г.

МЫ НАКАНУНЕ X СЪЕЗДА ВЛКСМ

Этот съезд собирается в исключительные дни, которые можно назвать днями небывалых побед и достижений в стране социализма.

Каждый год приносит такие огромные изменения в нашей жизни, что, сравнивая с прошедшим, мы поражаемся размаху и стремительности строительства новой жизни, новых отношений, новой культуры и народного богатства. Победа социализма на всех фронтах народного хозяйства и экономики страны, рост народного богатства, ставшие возможными лишь после полного разгрома всех классово враждебных пролетариату сил, могучее стахановское движение, сломившее консервативные нормы и расчеты в области производительных сил и давшее героические образцы трудового энтузиазма, мощное движение всего народа к культуре, к знаниям — все это ставит перед комсомолом, верным помощником партии, целый ряд больших проблем, к разрешению которых призван десятый съезд комсомола.

Воспитание юношества в нашей стране, большевистское, коммунистическое его воспитание — одна из основных задач ленинского комсомола. Будет вполне справедливым спросить каждого из нас, молодых писателей комсомола, выращенных и воспитанных в его рядах: с чем мы приходим к победному десятому съезду своего союза?

Верный революционным традициям своего родного комсомола, я сжато, как в боевом рапорте, расскажу об этом.

Самое дорогое для меня в том, что десятый съезд я встречаю как боец ленинского комсомола, как действительный член ВЛКСМ, своей работой в комсомоле и для комсомола сохранивший право на высокое, почетное звание комсомольца. Я встречаю комсомольский съезд в работе над новым романом — «Рожденные бурей». Все мои дни заполнены образами молодых бойцов за власть Советов, и комсомол героических лет гражданской войны, родными неразрывными узами связанный с комсомолом сегодняшних дней, владеет моим умом и сердцем.

Желание рассказать молодым товарищам, не видевшим в лицо жандармов, суровую правду о днях, когда нынешнее счастье, нынешняя прекрасная, радостная жизнь завоевывалась кровью лучших сынов рабочего класса, владеет мной. Это была жестокая борьба с вековым врагом трудового народа, с эксплуататорами и тюремщиками. Счастливые молодые люди, родившиеся в Октябрьские дни, должны знать, каких невероятных усилий стоила рабочему классу его свобода. Только зная это, молодое поколение социализма будет так же беззаветно защищать социалистическую родину от фашизма — этого вооруженного до зубов бандита.

Работа над романом у меня тесно связана со всей жизнью комсомола.

Я получил мандат на Всеукраинский съезд комсомола от того города, где семнадцать лет назад вступал в комсомол. И я буду выступать на этом съезде с речью, посвященной образу молодого человека нашей эпохи.

Каков должен быть этот образ? Да, жизнь предъявляет большие требования к молодым людям нашей эпохи. Молодой человек в революционной стране разительно не похож на молодого человека капиталистических стран.

За восемнадцать лет своего существования комсомол знает этот образ; он видоизменялся по внешности, по культурному уровню, он нес в себе традиции, лучшие стремления восставшего пролетариата.

Всегда и везде комсомолец, этот передовой молодой человек, нес в своем сердце пламя и стремления тех лет, когда он вступал в революционную борьбу. Нам знакомы образы комсомольцев 17-го, 19-го, 20-го годов — эпохи гражданской войны, нам знакомы образы комсомольцев восстановительного периода, [периода] реконструкции и затем генерального наступления пролетариата великих пятилеток.

Сейчас этот образ имеет черты, отличающие наши годы от прошлых.

Неизмеримо выросла наша страна, за эти годы выросли также требования общества к молодому человеку нашей страны.

Эти требования огромны, как огромен размах нашей борьбы.

Образ молодого человека нашей страны представляется нам в виде передового бойца, строителя, овладевающего высотами техники, культуры, жизнерадостного, бодрого, с ненасытной жаждой к знанию, человека с коммунистической моралью, безгранично преданного делу социализма.

Об этом образе молодого человека я буду говорить на Всеукраинском съезде комсомола.

Особое внимание в предстоящем выступлении я намерен уделить образу молодой женщины Страны Советов, ни в чем не уступающей молодому человеку, несмотря ни на какие трудности, во многом опережающей его.

Я кончаю свой краткий рапорт.

Да здравствует десятый съезд ленинского комсомола, съезд молодых победителей!

Да здравствует партия большевиков, воспитавшая нас!

7 января 1936 г.

**ШЕПЕТОВСКОЙ ОКРУЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ЛЕНИНСКОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО
СОЮЗА МОЛОДЕЖИ УКРАИНЫ**

Дорогие товарищи!

Я хочу, чтобы вы почувствовали крепкое пожатие моей руки и биение моего сердца, преданного вам, мои молодые друзья. Я шлю вам свой пламенный привет. Я горжусь тем, что Шепетовский район послал меня делегатом на вашу окружную конференцию. Спасибо за честь, за доверие!

Я не могу сказать вам эти горячие слова с трибуны вашей конференции, но я с вами, в ваших рядах. Я прихожу к десятому съезду комсомола как боец и комсомолец. Это высокое, почетное звание члена ленинского комсомола я сохранил своей работой в комсомоле и для комсомола. В моем партийном билете лежит его маленький сынишка — членский билет ленинского комсомола, и я бережно храню его, свидетеля всей моей комсомольской жизни.

В 1919 г[оду], семнадцать лет тому назад, в Шепетовке нас было пятеро комсомольцев. Эту группу создал вокруг себя партийный комитет и ревком Шепетовки, руководимые тт. Линником и Исаевой. Они описаны у меня в романе «Как закалялась сталь» под фамилиями предревкома Долинника и секретаря партийного комитета Игнатьевой. А теперь вас многие сотни и даже тысячи. Вырос и окреп ленинский комсомол, руководимый

нашей великой партией. Подросли молодые бойцы, бывшие тогда детьми. Множится и растет революционная смена, беззаветно преданная идее коммунизма, Героически боролись первые комсомольцы Шепетовки против польских панов, петлюровщины и бандитизма всех мастей и оттенков. Так же героически будет драться и второе комсомольское поколение, представителем которого являетесь вы.

На комсомол форпоста пролетарской революции, на пограничный комсомол ложится особая ответственность.

Пусть же будут зорки глаза верных помощников партии!

Братский привет вам, комсомольцам моего родного города!

Да здравствует наша счастливая жизнь, отвоеванная в ожесточенной борьбе с врагами народа!

Да здравствует великая партия Ленина — Сталина, приведшая нас к победе!

Николай Островский

Москва, 1 февраля 1936 г.

ТЕЗИСЫ К ВЫСТУПЛЕНИЮ НА X СЪЕЗДЕ ВЛКСМ

Дорогие товарищи, я вхожу на эту трибуну с большой тревогой и волнением. Я ведь боец того самого «батальона инженеров», который здесь был так сурово раскритикован. Какая же картина открылась перед нами здесь, на смотре сил молодой гвардии могучего союза народов? Сами видите: все вокруг — в могущественном движении вперед. Освобожденный народ, руководимый большевистской партией, овладевает все новыми и новыми вершинами. Но в этом победном продвижении батальон «инженеров-человеческих душ», скажем прямо, не выполняет возложенные на него ответственные задачи. Что же мы видим? На линии огня взвод передовых мужественных бойцов. Они не отстали от стремительного победного движения. Их оружие не заржавело. На линию огня вывел красных партизан Александр Фадеев, собирает вокруг тихого Дона большевиков-казаков Шолохов и вывел в бой балтийских революционных матросов Всеволод Вишневский. Появился со своими «Всадниками» Яновский, нашедший свое место в нашем строю. Есть в этом взводе еще десяток хороших бойцов... А где же остальные? Ведь в батальоне около трех тысяч штыков. Высокий, седоусый, покрытый славой командир нашего батальона, великий мастер своего дела, яростно крутит свой ус, шепчет сурово и возмущенно: «Эх, эти уж мне обозники:

завтракают, поди, километров пятьдесят от фронта. Застряла у них там кухня в болоте. Хотя бы не срамили мою седую голову». Конечно, это горькая шутка, но в этой шутке есть большая доля правды.

Наша молодежь, жизнерадостная, жадная к знанию, к музыке, к литературе, ждет от своих поэтов и писателей звучных песен, красивых, бодрых песен, в которых звучали бы и слова и музыка. Она требует от своих писателей ярких, волнующих, правдивых, талантливых книг. И дело нашей чести — удовлетворить эти требования. Есть ли в советской литературе эти творческие силы?

Есть!

Равнение на вершины

Пусть книг будет меньше, но они должны быть ярче. Серой книге нет места на книжной полке. Нельзя воровать время у честного труженика.

Учить могут только те, кто знает больше тех, кого хотят учить.

Писатель должен быть корчевателем остатков капитализма в сознании людей.

Наш читатель стал суровым критиком, беспощадным критиком. Его мякиной никто кормить не смеет. Народ обмануть нельзя, не выйдет это. Он почувствует фальшь, неискренность, надуманность в твоём произведении, помянет недобрым словом, бросит книгу, не дочитав, и разнесет о тебе худую славу. А потеряв доброе имя, трудно его восстановить.

Надо оберегать высокое звание писателя Советской страны. А мы знаем, что только честным трудом, большим трудом, напряжением всех своих духовных и физических сил, непрерывной учебой, учебой и еще раз учебой, только непосредственным участием в борьбе и строительстве — писатель завоюет свое передовое место в строю. Нельзя жить только старой славой, старыми победами. Мы знаем, что передовые люди нашей страны — стахановцы не останавливаются на достигнутом, а героическим трудом стремятся удержать в своих руках трудовое первенство. Это стало делом их

честь. А писатели нередко, написав хорошую книгу, почивают на лаврах, а жизнь стремительна, жизнь не прощает неподвижности, и вот жизнь этих писателей опережает. Тогда получается трагедия.

О п а с н о с т ь с л а в ы

Каждый молодой боец, которого прославил страна за его ударный труд, никогда не должен терять почву под ногами. Чувствуй всегда родную почву крепко под ногами, живи с коллективом, помни, что он тебя воспитал. Тот день, когда ты оторвешься от коллектива,— будет началом конца. Скромность украшает бойца; кичливость, зазнайство — это капиталистическое, старое, это от индивидуализма. Чем скромнее боец, тем он прекраснее. Это очень и очень относится и к литераторам.

Н о в ы е ч у в с т в а

Дружба, честность, коллективизм, гуманность — наши подруги.

Воспитание мужества, отваги, беззаветная преданность революции, ненависть к врагам — *наши законы.*

Вооруженный враг встретит у нас лишь одно — смерть и уничтожение. Солдат капиталистической армии, бросивший оружие, прекративший войну,— это уже не враг. Мы поможем ему протрезвиться совершенно и повернуть свой штык против своих же угнетателей. Но ненависть к вооруженному врагу у нас беспредельна; в вооруженной борьбе молодой боец Советской страны знает лишь одну цель, одно стремление — уничтожить врага. Любовь к родине, помноженная на ненависть к врагу, только такая любовь принесет нам победу. А для того чтобы ненавидеть, надо знать врага, надо знать подлость, коварство, жестокость кровавого врага — и писатели должны об этом рассказать.

17 апреля 1936 г.

О СВОЕМ НОВОМ РОМАНЕ

Новый роман «Рожденные бурей» я пишу на основе подлинных материалов борьбы украинских, польских рабочих и галицийского крестьянства с белополяками в 1918—1919 годах. Роман охватывает всю эпопею налета белополяков на Украину и разгрома их под Киевом.

Одна из главных задач моего романа — осветить вопрос интернационализма в революционной борьбе. В этой книге я пишу об интернациональной группе молодежи. Кто же они, мои молодые соратники? Юный поляк Раймонд — нежное восприимчивое существо, и в то же время это — суровый боец, смотрящий смерти бесстрашно в глаза. Это он в силу своих индивидуальных качеств занял руководящее положение в этой группе. Суровая, сдержанная Сарра, жизнерадостная, озорная красавица Олеся, молодой кочегар — украинец Андрий Птаха и чех Пшеничек. Оба они любят одну девушку... Внутри группы происходят иногда столкновения... Но, несмотря на различие характеров и индивидуальных устремлений, все члены этой группы проявляют в революционной борьбе полнейшее единство, настоящую большевистскую сплоченность, готовы жертвовать жизнью друг за друга...

В новом романе, сохраняя всю историческую правду событий, я хочу дать большие художественные обобщения. Живые люди и впечатления тех дней являются для

меня в этом произведении лишь канвой, на основе которой я буду строить художественные образы героев-коммунистов.

Все, что написано мной, это лишь вступление к роману, это только начало событий — первый период формирования польского войска Пилсудского, с одной стороны, начало формирования большевистских частей — с другой. Это — начало борьбы. Разворот событий романа начнется со следующих глав.

Весь роман «Рожденные бурей» составит три тома.

[1936 г.]

РЕЧИ

[МОЙ ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ]

Товарищи! Роман — «Как закалялась сталь» — это мой ответ на призыв секретаря ЦК ВЛКСМ к советским писателям — создать образ молодого революционера нашей эпохи. Если мы возьмем мировую литературу от средних веков до наших дней, то увидим, что шедевры ее посвящены истории молодого человека правящих классов. Как ярко, с какой силой гении буржуазной литературы создали образ молодого человека своего класса, его жизнь, формирование, стремления, как он учился достигать славы, как, принимая богатство отцов, умножал его, совершенствуя технику выкачивания крови из рабочего класса.

Дело чести советских писателей — создать образ молодого революционера нашей эпохи, эпохи пролетарской революции. Кто должен быть героем этих книг? Молодежь, которая боролась вместе с отцами за советскую власть, а теперь строит социализм. Люди прекрасные, мужественные, героические. Таких образов (я говорю об образе молодого человека) в нашей литературе мало. *Наша жизнь героичнее наших книг...*

Как я стал писателем? Болезнь вывела меня из строя. Я не смог быть среди вас, перестал двигаться, видеть. Жизнь поставила передо мной задачу овладеть новым оружием, могущим вернуть меня в ряды наступающего по всему фронту пролетариата. Писать можно

не видя и не двигаясь. О чем писать товарищи мне сказали: «Пиши о том, что сам видел, переживал. Пиши о тех, кого знаешь, о среде, из которой сам вышел. О тех, кто под знаменами партии боролся за власть советов».

С этого я начал. Это — основная тема книги «Как закалялась сталь». Над этой книгой я работал четыре года ([19]30—[19]34 гг.). Молодежь тепло встретила книгу, и это является наибольшей радостью моей жизни.

Я считаю необходимым остановиться на следующем. В печати нередко появляются статьи, рассматривающие мой роман «Как закалялась сталь» как документ — автобиографический документ, то есть историю жизни Николая Островского. Это, конечно, не совсем верно. Роман — это в первую очередь художественное произведение, и в нем я использовал также и свое право на вымысел. В основу романа положено немало фактического материала. Но назвать эту вещь документом нельзя. Будь это документ, он носил бы другую форму. Это роман, а не биография, скажем, комсомольца Островского. Должен сказать об этом, иначе меня могут упрекнуть в отсутствии большевистской скромности.

На содержании романа «Как закалялась сталь» я останавливаться не буду — вы все его читали.

Книга издана на русском, украинском, польском, мордовском языках. Переводится на английский, французский и немецкий языки Международным объединением революционных писателей и будет печататься в журнале «Интернациональная литература». Кроме того, переводится на белорусский и другие языки национальностей Союза. Тираж книги с 1932 г. по 1934 г. — семьдесят тыс[яч] экземпляров. В 1935 году на разных языках она будет издана приблизительно в ста пятидесяти тыс[ячах] экземплярах.

В настоящее время я работаю над романом, посвященном борьбе украинского пролетариата и крестьянства против польского фашизма. Время — конец 1918 г. и начало 1919 г.

Ставлю себе задачей показать нашей молодежи

лицо врага. Ведь уже выросло поколение, родившееся в 1917 году. Это поколение не видело в глаза ни помещика, ни фабриканта, ни жандарма. Тех, кто залил кровью трудового народа поля Галиции и Украины.

В новой книге я покажу этих палачей, расскажу правдиво о былом. Я делаю это для того, чтобы в предстоящей схватке, если нам ее навяжут, ни у кого из молодежи не дрогнула рука. Я пишу книгу для той молодежи, что поднимается на защиту рубежей своего социалистического отечества, и встретит огнем и сталью, и уничтожит всех, кто попытается перейти эти рубежи.

Книга трудна тем, что она является политическим романом. Сложная политическая ситуация на Украине и Польше в период 1918—1919 годов, когда республика была в огне, в тысячеверстных фронтах,— требует глубокой и правильной разработки. Это сложный труд, требующий ознакомления с историческими документами эпохи гражданской войны. Живя в Сочи, я, к сожалению, не могу использовать всего этого подсобного материала, хранящегося в центральных архивах. Пока работаю за счет того небольшого, что имею, и того, что было прочтено мною в прошлом.

Я закончу роман картиной разгрома белополяков под Киевом, изгнанием их из Украины. Книгу завершит победный марш Первой Конной армии.

Правда, паны тогда уцелели. Они сами называют это «чудом на Висле». Мы, большевики, знаем, что чудес не бывает. И если паны вновь заварят кашу, то мы убеждены, второго «чуда» не будет...

Вот вкратце все.

Мою работу я планирую, как и полагается. Правда, пятилетки у меня нет: я не рискую на столь долгий срок. (Смех.) Я планирую свою работу на год. До конца года я закончу первую часть романа. Затем должен написать по поручению Детиздата книгу для детей «Детство Павлика». Это будет дополнение к роману «Как закалялась сталь». Я с удовольствием буду писать эту книгу для малышей. Они ведь так обижены невниманием к их запросам.

Как вы знаете, есть постановление ЦК ЛКСМ Украины о создании звукового кинофильма по роману «Как закалялась сталь». На днях ко мне приезжает бригада Украинфильма для совместной работы над сценарием.

Я сделаю все, чтобы годовая программа была выполнена. Новый роман будет печататься в журнале «Молодая гвардия», конечно, если он будет одобрен. Кстати, о журнале «Молодая гвардия». Это он ввел меня в литературу. Анна Караваева — единственный писатель, который оказывает мне большую творческую помощь. Она не только суровый редактор. Она — друг.

Хочу сказать о большом товарищеском внимании, оказываемом мне партией и комсомолом. Мне созданы все условия для работы. Возьмем, к примеру, нашу партийную организацию. Когда я беру трубку телефона, звоню в горком, то всегда слышу в ответ: «А, Островский! Здорово, братишка! Как живешь?» — Это очень хорошо. Чувствуется родная семья. Ощущаешь, что вошел в строй в полном смысле. Все это рождает новые силы. Я могу сказать, что я счастливый парень. Хотя врачи и думают, что я скоро пойду в «бессрочный отпуск» (*смех*), но они и пять лет назад говорили то же самое, а Островский не только прожил эти пять лет, но и еще собирается прожить не меньше трех. Не учли качества материала. Это бывает... Я получаю сотни писем от комсомольских организаций страны с призывом к борьбе. Эти письма зажигают меня. Тогда я считаю преступлением прожить бездейтельно хотя бы один день. Мой рабочий день десять — двенадцать часов в сутки. Я должен спешить жить... Все. Жду вопросов.

[Дополнительное выступление и ответы на вопросы]

В о п р о с. Какую вы читаете литературу?

О т в е т. Бывают периоды особо интенсивного наступления на творческом фронте, и тогда вся мысль отдается творчеству. Бывают недели, когда я не читаю, кроме газет, ничего, но когда все накопившееся переведено на бумагу, тогда я читаю больше. Читаю периоди-

ческую, художественную литературу; которая выходит в нашей стране, все журналы, какие только есть, я их получаю. Регулярно читаю «Большевик», наши критические журналы, затем из художественной литературы я читаю каждую новую книгу, которая так или иначе становится известной в стране. Всю же художественную литературу невозможно прочесть.

Перед тем как начать писать новый роман — восемь месяцев были отданы на учебу. В течение этих восьми месяцев я прочитал основные произведения мировой художественной литературы, такие книги, как «Война и мир», «Анна Каренина» и целый ряд других мировых произведений читались мною много раз.

В о п р о с.— Какую помощь может оказать наша партийная и комсомольская организация в сборе материалов, необходимых для нового романа?

О т в е т.— Помощь может оказать парткабинет, подобрав для меня все нужное мне для нового романа.

В о п р о с.— Что дал тебе съезд писателей?

О т в е т.— Съезд писателей для меня — программа действий. Особенно речи т[оварищей] Горького и Жданова. Двадцать дней назад я получил стенографический отчет съезда, и этот отчет будет детально проработан.

В о п р о с.— Ведушь ли ты дневник?

О т в е т.— Не веду.

В о п р о с.— Но считаешь целесообразным?

О т в е т.— Дневник — это интимное личное дело, твои мысли, это надо вести своей рукой, но я этого сделать не могу.

В о п р о с.— Не возьмешься ли ты вместе с нами сколотить вокруг «Сочинской правды» группу литераторов и начинающих?

О т в е т.— Я это делаю. А вот вы бы ввели маленькую литполосочку в газете, это было бы хорошо, тогда мы сколотим эту группу.

В о п р о с.— Помимо всех бытовых и материальных вопросов, с которыми обстоит благополучно, чего у тебя еще недостает, чтобы создать еще лучшую обстановку?

О т в е т.— Все обстоит благополучно, как говорят на все сто процентов. Недостает лишь здоровья,

которого комитет партии, к сожалению, не может дать. Настроение у меня хорошее, голова светлая, я счастливый парень, и я не выдумал этого...

Я считаю, что тем сильнее произведение будет волновать сердца, если показать врага так, как он есть, показать этих лощеных аристократов, с подлой, грязной душой, идущих на любую низость, когда дело идет о подавлении восставшего пролетариата. Я хочу постепенно разоблачать звериную сущность капитализма. Вот и все. Мне остается пожать вам, собравшимся здесь товарищам, руки и сказать: — *борьба продолжается, и каждый из нас занимает свое место в строю.*

16 мая 1935 г.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПАРТИЯ, ВОСПИТАВШАЯ НАС!

Товарищи! Мне тяжело сейчас спокойным и ровным голосом рассказать вам о своей жизни. Сильно бьется мое сердце. Оно бьется так сильно, как билось в прежние годы, когда командир командовал: «Шашки наголо! Готовься к бою!»

За последние восемь лет впервые выступаю я перед такой огромной аудиторией. И это волнует меня.

Дорогие мои товарищи! Молодежь нашей на диво прекрасной и великой Родины! Я передаю вам мой пламенный привет.

Когда грянет гром и настанет кровопролитная ночь, я глубоко уверен, что на защиту родной страны встанут миллионы бойцов — таких, как Павел Корчагин. Но меня среди вас уже не будет. И я прошу вас — рубайте за меня, рубайте за Павку Корчагина, и под вашим натиском рухнет весь буржуазный мир.

Теперь, товарищи, я хочу рассказать вам, как я живу, над чем работаю.

Вот уже несколько дней как моя квартира — скромный маленький домик — превратилась в настоящий штаб. Звучат бесконечные телефонные звонки, подъезжают машины, старые товарищи отзываются со всех концов нашей необъятной страны, шлют горячие, прекрасные письма. О чем говорит все это?

Это говорит о том, что в нашей стране каждый боец, на каком бы участке он ни работал, окружен вниманием

и любовью, и его достижения радостно приветствует вся страна, вся наша любимая Родина.

Что такое Родина?

Раньше, в капиталистической России, это звучало, как каторга.

Теперь слово Родина звучит у нас совсем иначе. Оно звучит гордо, радостно и любовно.

Товарищи! Я сейчас работаю так радостно, как никогда в жизни. Казалось бы, боец выбит из строя, лишен счастья бороться в рядах товарищей, тяжелая болезнь приковала его к постели. Но это не так — я работаю, и я улыбаюсь жизни. Наша жизнь неповторимо прекрасна!

Товарищи! Моя новая книга «Рожденные бурей» — это рассказ о том, как молодежь Украины боролась против польского фашизма, рассказ молодежи, которая героически боролась и побеждала.

Выступали тогда белогвардейцы и говорили, что большевики — разрушители культуры, а они защитники культуры. И что же мы видим теперь? В нашей стране высоко поднято знамя культуры, знамя всего прекрасного, что было достигнуто человеком. Мы создали прекраснейшие произведения искусства в то время, как загнивающий и умирающий капитализм возвращает народы к средневековью.

Мой новый роман — это моя жизнь. Я не могу сейчас рассказать его содержание — глубокое волнение охватывает меня при мысли, что меня слушают десятки тысяч человек.

В своей книге «Как закалялась сталь» я писал:

«К себе Павел возвратился глубокой ночью. На активе он говорил, сам не зная того, последнюю свою речь на большом собрании».

Должен сказать, что это неверно, что нельзя было писать, будто Корчагин выступал в последний раз. В нашей стране ни один боец никогда не может сказать, что он выступает в последний раз, пока у него бьется сердце в груди.

Друзья мои! В своей новой книге я хочу рассказать про тех людей, про ту молодежь, которая училась у старых большевиков, как драться, училась искусству

громить врага, искусству строить счастливую жизнь в Советской стране.

Моя новая книга посвящается вам, молодые мои друзья, и тем товарищам, которые сотнями и тысячами шлют мне горячие, прекрасные письма.

Основной лейтмотив моей новой книги — это преданность Родине. Я хочу, чтобы при чтении моей книги читателя охватывало прекраснейшее из чувств — чувство преданности нашей великой партии.

Друзья мои! Если бы кто-нибудь спросил меня, в чем наибольшее счастье человека, я ответил бы: это счастье работать в нашей великой Советской стране, это бороться за дело социализма, быть в передовых рядах комсомола, в рядах партии Ленина — Сталина.

В нашей молодой и прекрасной стране каждый юноша должен быть бойцом. И я хотел бы, чтобы боевая наша молодежь была всегда в передовых рядах строителей социализма.

Я горячо жму ваши руки. Ваши молодые сердца должны почувствовать биение моего сердца. Для вас я живу. В нашей стране мы все должны быть прекрасными бойцами, и того, кто отстаёт, кто боится трудностей, того не могут уважать товарищи.

Я от всего сердца передаю привет моей стране, моей Родине, тому городу, где я родился. Привет молодежи Шепетовки — горячий большевистский привет! Да здравствует партия, которая воспитала нас!

Товарищи! Я получаю много писем от молодежи, и в них часто встречается вопрос: «Скажите, как стать советским писателем?» Этот вопрос интересует многих. Я считаю, что никаких рецептов, никаких установленных законов, как стать советским писателем, нет. А вот как стать культурным человеком, — такие рецепты есть.

Мне хочется ответить на эти вопросы молодежи. Прежде всего нужно овладеть культурой. Нужно учиться молодым товарищам, завоевывать знания, учиться и еще раз учиться! И уже потом можно стать инженером или писателем — это зависит от таланта, от способностей, от наклонностей.

Теперь, товарищи, я хочу очень коротко, сжато,

схематично рассказать о шестой главе романа «Рожденные бурей».

Действие происходит в доме ксендза Иеронима, подлого до глубины души. С ним разговаривает офицер-кокаинист.

Офицер говорит: «Я жандарм, и потому меня клеймят презрением. А вы — ксендз, и вас уважают. Меня возмущает тут вот что: пусть я убийца, кокаинист. Но позвольте, дорогой, если разобраться, то трудно сказать, кто из нас подлее. Будьте добры, не возмущайтесь, пан ксендз, ведь можно говорить откровенно, когда нас никто не слышит. Я хватаю людей, которые так или иначе пытаются свергнуть старый строй, а нас пустить в расход. Я их хватаю и расстреливаю, а вы им морочите головы. По существу я работаю открыто, а вы — тайно».

Это основная мысль главы. Встречаются два фашиста: один в рясе, другой — офицер-кокаинист, превратившийся в профессионального убийцу. Они сидят, не зажигая огня, чтобы никто не увидел, что жандарм пришел к ксендзу. Происходит разговор двух людей — духовного убийцы и убийцы физического.

В их разговоре слышится обреченность фашизма. Представители фашизма сами понимают, что не удастся остановить революцию путем террора и убийства лучших представителей рабочего класса. Гибель фашизма неминуема, и это сами фашисты понимают.

Товарищи, сейчас я работаю совсем в других условиях, чем несколько лет назад. Теперь я сам уже не пишу. Раньше я писал с помощью транспаранта, еле выводя буквы, сейчас у меня есть секретарь, есть машинка. Я окружен исключительным вниманием.

Партия и правительство создали для меня чудесные условия, и у меня есть все для творческой работы.

Творческая работа — это прекрасный, необычайно тяжелый и изумительно радостный труд. Я хочу, чтобы новая книга не уступала в яркости моей первой книге, которую так приветствует наша молодежь.

Я хочу, чтобы моя новая книга была произведением ярким, волнующим душу, зовущим к борьбе, — в этом смысл моей жизни.

Какой чудесной стала жизнь.

Раньше я видел, был молод, силен, был бойцом. Но в нашей стране не только здоровый человек, но и человек, разгромленный физически, может быть передовым бойцом. Радостно жить в нашей стране!

Наша задача — укреплять Родину, строить страну могучую и великую, создать ту силу, во имя которой борются рабочие всего мира. Мы отстаиваем мир, необходимый нам, чтобы создать величайшие ценности, чтобы наша страна стала богатою, а мы все грамотными и культурными. Но мы не пацифисты. Мы за мир, но если загремит война, то вся молодежь встанет на защиту родной страны.

Я покажу в своей книге борьбу украинского пролетариата с польским фашизмом в 1920 году. Зазнавшиеся фашисты хотели захватить нашу Родину. Но когда выступила против них буденновская Первая Конная армия, то паны побежали во весь карьер.

Те, которые думают, что легко добраться до Житомира или Киева, то обожгутся на этом деле. Польских оккупантов буденновцы били в хвост и в гриву, — куда только можно было.

Про эту героическую борьбу, про то, как рабочие и крестьяне защищали свое отечество, про те дни, когда под копытами коней наших земля стонала, я и хочу рассказать молодежи в своем новом романе.

Мои молодые, мои дорогие товарищи! Приветствую вас своей работой. Когда я выпущу свою книгу, тогда вы скажете, сдержал ли я слово, данное вам в этот памятный день.

Всего вам хорошего. Мой горячий привет всем вам.

Да здравствует любимая наша Родина!

До свиданья, товарищи!

До встречи с книгой!

[1935 г.]

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПИСАТЕЛЬ НАШЕЙ СТРАНЫ

Товарищи! Второй раз я встречаюсь с вами, моими соратниками, с активом сочинской партийной организации, членами которой мы состоим. Крепко жму ваши руки, друзья! (*Аплодисменты.*)

Товарищи, я слышал много прекрасных слов, обращенных ко мне. В ответ я могу сказать лишь одно: высокая награда правительства, почетный знак нашей республики — орден Ленина, прикрепленный к груди бойца, — обязывает его не только не сдавать занятых позиций, но и победно двигаться вперед.

Товарищи, мы с вами живем в великую эпоху. Мы, представители нового поколения человечества, поколения большевиков, поднявших знамя восстания в царской России, создали из этой каторжной России замечательное пролетарское государство. Изгнав поработителей из страны, мы все свои силы, всю страсть отдали мирному труду.

Страна возродилась, стала могущественной. Мы высоко подняли знамя культуры, и все сокровища, созданные гением человека, сделали достоянием всего трудового народа. Ранее они были доступны только правящей верхушке, богачам-одиночкам. Кто нам укажет еще такую страну, где бы культура во всей многогранности была поднята на столь небывалую высоту? Нам

нелегко досталась эта победа. Все пришлось строить заново. Старый мир оставил нам жуткое наследство: безграмотность, нищету, разруху, вырождение забитых царизмом национальных меньшинств. Одичавший классовый враг, видя свою гибель, всеми гнусными способами пытался вредить нашему великому делу. Но ничто не может остановить могучего шествия освобожденного народа к новой, прекрасной жизни! И сегодня даже заклятые враги наши признают огромный рост культуры и народного богатства в нашей стране.

Перед нами, писателями, «инженерами человеческих душ», стоит задача огромного значения: показать в художественных образах все величие происходящего. Кому же, как не нам, участникам и свидетелям великой революции, это сделать? Я хочу сказать о том, каким должен быть писатель Советской страны.

Это прежде всего — строитель социализма, а не равнодушный «созерцатель». Это боец. Боец, учитель, трибун. Человек с большой буквы. Это несомненно. Ведь каждый из нас должен учить не только своим словом, но и всей своей жизнью, поведением.

Мы знаем, что в период борьбы и трудностей всегда найдутся люди с мелкой, заячьей душонкой, которые неспособны к борьбе. Они путаются меж ногами, мешая наступлению. Волна революции сметает их в сторону. Мы, писатели, должны показать уродливые фигуры предателей и двурушников, агентов классового врага, а также трусов, паникеров, сброшенных революцией в помойную яму истории.

Это надо сделать потому, что враг еще не добит, разгромленный, он заполз в щели. Пусть молодежь знает отвратительное лицо этих отщепенцев. Наша жизнь дает нам, писателям, богатейший материал и для создания прекрасного образа честного труженика-энтузиаста. Сколько героических людей вырастила наша страна, где каждый может стать знатным человеком, потому что труд у нас стал делом чести, доблести, славы и героизма! Каждый день приносит нам новые и новые факты трудового героизма освобожденного народа, впервые познавшего радость труда для себя, для своего счастья.

Писателям остается лишь отобразить это так же ярко, как ярка наша жизнь. Мы, писатели, не имеем права отставать от жизни. Вот почему мы должны работать на полную мощность, то есть с напряжением всех духовных, творческих сил, чтобы наш изумительный читатель получал книги, достойные его...

Меня часто спрашивают, как я стал писателем. Этого я не знаю. Но как я стал большевиком, это я хорошо знаю! (*Аплодисменты.*)

Кончая речь, я хочу рассказать вам о далеких детских годах, об одном эпизоде, который отчасти ответит на оба эти вопроса.

Помню, мне было тогда двенадцать лет. Я работал мальчиком в кухне станционного буфета. Почти ребенок, я познал на своей спине уже всю тяжесть каторжного труда при капитализме. Я принес с трудом добытую книгу — роман какого-то французского буржуазного писателя. В этой книге, я прекрасно помню, был выведен самодур-граф, который от безделья издевался над своим лакеем, изошряясь в этом как только мог, — щелкал его неожиданно по носу или кричал на него вдруг так, что у того подгибались со страху колени.

Читаю я про все эти штучки своей старушке матери, и стало мне невмоготу. И вот, когда граф ударил лакея по носу так, что тот уронил на пол поднос, — вместо того чтобы лакею униженно улыбнуться и уйти, как было у автора, я, полный бешенства, начал крыть по-своему.

Правда, при этом французский изящный стиль полетел к черту и книга заговорила рабочим языком: «Тогда лакей обернулся до етого графа да как двинет его по сопатке! И то не раз, а два, так что у графа аж в очах засветило...» — «Погодь, погодь! — вскрикнула мать. — Да где же это видано, чтобы графьев по морде били?!» Кровь хлынула мне к лицу: «Так ему и надо, подлюге проклятому! Пушай не бьет рабочего человека!» — «Да где ж это видано? Не поверю. Дай сюда книжку! — говорит мать. — Нет там этого!» Я с бешен-

ством бросаю книжку на пол и кричу: «А если и нет, то зря! Я б ему, негодяю, все ребра переломал бы!» (*Бурные аплодисменты.*)

Вот, товарищи, еще ребенком, читая подобные рассказы, я мечтал о таком лакее, который даст сдачи графу. Может быть, это и было начало моей писательской карьеры,— правда, не совсем удачное. Но сейчас я уже повысил свою квалификацию. (*Смех.*)

Товарищи, я кончаю свою речь. Мы с вами скоро встретимся. Это будет ваша встреча с моей новой книгой. Крепко жму ваши руки!

Да здравствует великая партия Ленина — Сталина!

23 октября 1935 г.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЖИЗНЬ!

Дорогой Григорий Иванович! В вашем лице я принимаю величайшую награду от революционного правительства нашей страны. Что я могу сказать в ответ на это? Мы в своей жизни старались быть похожими на тех изумительных людей, которые называются старыми большевиками, которые через героические бои привели нас к счастью жить в стране социализма. И мы, юноши, стремились быть похожими на этих людей, которых глубоко уважали, стремились быть преданными всей душой нашим командармам, нашим вождям. И когда жизнь свалила меня в постель, я все отдал для того, чтобы доказать моим воспитателям — старым большевикам, что молодое поколение рабочего класса не сдастся ни при каких условиях. И я боролся. Жизнь старалась сломить меня, выбить из строя, а я говорил «не сдамся», ибо я верил в победу. Я шел вперед потому, что меня окружала нежная ласка партии. И я теперь радостно встречаю жизнь, которая подарила мне возвращение в строй.

Только ленинская коммунистическая партия могла нас воспитать в духе беззаветной преданности революции. Я хочу, чтобы каждый молодой рабочий стремился быть героическим бойцом, ибо нет счастья выше, как быть верным сыном рабочего класса, партии. И я могу сказать, что иначе быть не могло. В нашей стране только и могут быть такие молодые люди, ибо за нами

стоит наша восемнадцатилетняя красавица, молодая, полная мощи, полная здоровья страна. Мы ее защищали от врагов, растили, вырастили, и мы теперь вступаем в счастливую жизнь, а впереди нас ждет еще более яркое будущее. Это будущее столь пленительно, что никто не может нас остановить в борьбе за него. И вот, как писала «Правда», слепой борец сопутствует великому походу народов.

И когда нежная рука Григория Ивановича гладит меня, мне кажется, он говорит: «Добре, сынку, добре. Таким надо быть каждому молодому бойцу». Большого счастья я не могу желать, ибо это выше всего, когда тебя приласкал и похвалил старый большевик.

Да здравствует жизнь в стране, поднявшей знамя мировой революции!

Да здравствует борьба! Вперед, молодежь чудесной страны!

Будьте достойными сынами великой Родины!

Да здравствует наша могучая партия, ведущая нас к коммунизму!

[1935 г.]

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА КРАЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПИСАТЕЛЕЙ АЗОВО-ЧЕРНОМОРЬЯ

Дорогие товарищи! Шлю вам мой пламенный коммунистический привет! Товарищи! Я получил на ваш съезд мандат делегата с решающим голосом. Очень жаль, что я не могу сказать вам это приветствие с трибуны съезда. Но техника нашего времени так совершенна, что я могу, несмотря на расстояние, разделяющее нас, говорить с вами, быть активным участником съезда, открытие которого я слушал вчера с таким вниманием по радио. И вот я хочу сказать несколько приветственных слов тем, кто вступает на литературное поприще. Много говорят о нашей молодежи, которая идет на смену старым мастерам слова. Я ее хорошо знаю и люблю, эту замечательную молодежь нашей страны.

Я — один из тех, кого воспитал комсомол, и я шлю вам свой братский привет.

Вы, собирающиеся стать писателями, съехались сюда, волнуемые вопросом, как стать писателями. Молодежь думает, что есть такой чудесный рецепт, который может научить этому. Старые мастера литературы знают, что это — мучительный и вместе с тем безмерно-радостный труд.

Вы должны знать, мои молодые товарищи, что писателем может стать каждый. Но для этого нужна упорная воля, огромная учеба, бесконечное обогащение знаниями, бесконечное стремление к высшему уровню

культуры. Поймите и твердо запомните, что без этого можно дать книгу со сверкающими крупными таланта, но нельзя дать вещи огромного размаха.

Я хочу сказать вам о себе. Пятнадцать — шестнадцать лет тому назад я был свидетелем и участником огромной борьбы, великих событий, я наблюдал героических бойцов. Но мог ли тогда я, малограмотный парнишка, написать то, что я написал теперь, после упорной учебы, теперь, когда я вооружился знанием теории революционной борьбы и смог обобщить в художественных образах свой опыт? Нет, не мог. Потому что мало видеть, наблюдать, чувствовать. Надо учиться, надо приобрести глубокое знание жизни, знать лучшие произведения мировой культуры, чтобы расширить свой кругозор, осветить собственный опыт теорией марксизма-ленинизма. Только тогда можно смело взяться за перо и, обобщив собственные наблюдения, дать ценное произведение.

Вот почему вопрос личной биографии писателя — большой вопрос. Молодой писатель растет как писатель только тогда, когда он растет как человек, как боец, растет вместе со всей страной. Вырасти сразу невозможно. Молодые товарищи должны помнить, что наскоком не возьмешь огромного культурного наследства прошлого. Спокойное упорство, большой, огромный труд нужны для этого. Но ведь самое преодоление трудностей на этом пути волнующе-прекрасно. Ваша задача — стать писателями. Но вы знаете, что писатель — это учитель. А учить может только тот, кто знает больше тех, кого он учит, кто имеет что сказать. Ведь наш многомиллионный читатель стал большим умницей. Он многое знает и не простит нам скучных, сереньких вещей.

Вот почему мы, писатели, должны идти в передовых колоннах наступления, а не плестись в обозе третьего разряда. Находясь на тыловых задворках, писатель не может, не имеет права учить тех, кто далеко опередил его.

Писатель не может стоять в стороне от жизни и борьбы, как буржуазный ученый, кропотливо изучающий в своей лаборатории химию и анатомию своего дела, не может быть равнодушным «созерцателем».

Только будучи в колоннах передовых борцов, горя страстью борьбы, мучаясь поражениями, радуясь победам вместе со всем народом,— лишь тогда он даст правдивую, волнующую, зовущую книгу. Наша литература — литература правды, социалистической правды настоящего и будущего человечества.

Буржуазному писателю, свидетелю ужасного угнетения трудового народа кучкой паразитов, приходится много лгать читателю в своих произведениях. Трудно ведь писать хорошее о банкире или биржевике, который днем свирепо, беспощадно выжимает пот из рабочих, а вечером идиллически ласкает свою жену и детей. Нам же нечего лгать. Жизнь наша изумительно красива, романтична. Она дает нам массу замечательных образов, они эскадронами врываются в мозг, заполняют его, один прекраснее, могущественнее другого. Мы едва успеваем за жизнью, за ее стремительным, бурным движением вперед. И уже вырисовывается перед нами образ нового, не виданного никогда раньше человека коммунистической морали, прекрасного человека будущего. Мы должны дать образ его в наших произведениях. Какой богатый материал дает нам жизнь! Сколько тем! Говорят иногда: «Эта тема устарела». Не правда! Нет устарелых тем. Говорят, что тема о гражданской войне устарела. Да никогда! Через десять, через сто лет эта тема будет так же свежа, так же прекрасна. Лишь бы суметь воплотить ее в новых образах, оживить ее грани новыми красками. А это можно только при движении вперед, при неустанной, огромной работе над собой.

Так должны расти мы с вами, молодая литературная смена, и только тогда мы дадим произведения, достойные нашей прекрасной страны!

Да здравствует рост движения вперед!

Да здравствует наша советская литература, ее коммунистическая мораль, ее правда!

Да здравствует наша коммунистическая партия и ее великий вождь, наш учитель и изумительный человек нашей великой эпохи Иосиф Виссарионович Сталин!

[6 декабря 1935 г.]

МУЖЕСТВО РОЖДАЕТСЯ В БОРЬБЕ

Дорогие товарищи!

Шлю свой пламенный комсомольский привет съезду молодых победителей, лучшим сынам Советской Украины, собравшимся на свой IX съезд.

Дорогие друзья!

Десять лет прошло с того дня, когда я последний раз выступал на конференции комсомола. Жестокая болезнь пыталась оторвать меня от родной комсомольской семьи, но это ей не удалось, и я с большой гордостью и радостью снова вхожу на эту невидимую для меня трибуну как делегат Всеукраинского съезда комсомола. Сердце радостно стучит, и все мои мысли и чувства устремлены к вам, мои молодые товарищи и соратники.

Мое выступление я посвящаю образу молодого человека — девушки и юноши — нашей социалистической родины.

Товарищи, жизнь дает каждому человеку огромный, неоценимый дар — молодость, полную сил, юность, полную чаяний, желаний и стремлений к знаниям, к борьбе, полную надежд и упований.

Этот прекрасный дар — молодость — при капиталистическом строе была угнетена, забита. Большое волнение охватило меня, когда я прочел, что почти половина населения нашей страны, — те, кто не помнит, не знает живого жандарма, помещика, фабриканта, и большинство из вас, здесь присутствующих, знают этих представителей капитализма лишь из истории и рассказов

своих отцов. Мы же знали их, этих кровавых поработителей, в лицо. Мы захватили часть этой проклятой капиталистической жизни, и наше детство было под ярмом капитализма. Мы не успевали еще становиться юношами, еще детьми попадали под капиталистический гнет, и вместо радостной юности, радостного детства нас ждал изнурительный капиталистический труд от утра до поздней ночи буквально за кусок хлеба. И мы не знали радостной молодости. Она была затемнена эксплуатацией, мучительной эксплуатацией капиталистической банды, которая властвовала тогда над нашей страной.

И вот, когда партия Ленина — Сталина позвала наших отцов на штурм капитализма, мы, молодежь, почти дети, также бросились в бой за нашу молодость, за наше счастье. Мы хотели прекрасной, счастливой жизни, и мы шли рядом со своими отцами завоевывать свое счастье. И в этой борьбе молодежь Советской Украины, молодежь Советского Союза заслужила небывалую славу бойцов, готовых биться с врагом до последней капли крови, бойцов, беззаветно преданных красному знамени восставшего народа.

Товарищи, в этой борьбе комсомол покрыл себя неувядаемой славой. Кровью сынов народа, прекрасных молодых людей добыто наше счастье, наша свобода¹.

Почему я сейчас, в этот прекрасный день, когда съезд победителей — молодых, счастливых и радостных — собрался, чтобы подытожить огромнейшие победы и достижения, почему я вспоминаю о мрачных днях капиталистической эксплуатации?

Только оглядываясь назад, на беспросветную, ненастную ночь прошлого, можно ощутить все величие нашей борьбы, — тем ярче и прекраснее станет солнечное утро в стране социализма.

¹ В тезисах, подготовленных Н. Островским перед выступлением, после этого следовал такой текст:

«В страшной кровавой схватке со своими вековыми врагами вырос и возмужал комсомол. Было так, что вместе с комсомольским билетом мы получали ружье и двести патронов. Неувядаемой славой покрыли себя первые комсомольцы, верные помощники партии. Эти революционные традиции, эту самоотверженную преданность партийному знамени комсомол с честью пронес сквозь все восемнадцать лет своего существования».

Мы знаем с вами образ молодого человека правящих классов при капитализме. Лучшие произведения буржуазных писателей посвящены этому образу. Мы знаем, как жили, вернее, прожигали свою молодость, сыны буржуазии. Пьянство, разврат, пошлость, тупость и себялюбие — вот порочный круг их интересов. Правда, и у них были свои герои. Они достигали большой славы тем, что, пропив и промотав награбленное у народа состояние своих отцов, вооруженные до зубов, — шли во главе наемных солдат покорять отсталые народы: негров, индусов, индейцев, превращая эти беззащитные племена в своих рабов. Жажда наживы, безнаказанность грабежа и убийства — толкали их на это. И везде и всюду единственными стремлениями, которыми руководился молодой человек буржуазии, — были деньги и жажда власти как средства для эксплуатации, для наживы.

И в борьбе за это все средства были хороши. Подлость, предательство, а где и нож — все пускалось в ход. Цель оправдывала средства.

С развитием капитализма менялись формы грабежа и эксплуатации, но везде и всюду кучка богатых на поте и крови пролетариата и трудового крестьянства строит свое благополучие. Так было во всем мире, так еще есть на пяти шестых земного шара.

Товарищи! В освобожденной стране, свободной от гнета капитализма, человек вырос во весь свой рост. В нем развились все прекрасные качества, которые заложены в человеке и которые до революции были угнетены, закованы капитализмом.

Слово «человек» звучит гордо в нашей стране. Великий Сталин сказал, что человек — это самое ценное из всех ценностей, какие знает мир.

Товарищи, перед нами стоят грандиознейшие задачи мирного строительства социализма. Молодое поколение социализма, молодая гвардия пролетариата и крестьянства — это надежда и гордость наших отцов. На нас смотрит весь мир. Мы должны знамя труда поднять еще выше, и мы его подыдем.

На нашем съезде присутствует замечательное поколение молодежи — поколение социализма. На груди

многих из вас горят ордена Советского Союза. За что наградило революционное правительство молодых товарищей? За их мужество, за их упорство, за их настойчивость, за их характер, ломающий все и всяческие препятствия...¹

Образы молодых людей нашей страны — это образы мужественных, жизнерадостных девушек и юношей, знающих, что они являются хозяевами страны, молодыми ее строителями.

Они знают, что будущее принадлежит им, прекрасное, замечательное будущее, еще более яркое, чем наше радостное сегодня. Эти молодые люди жаждут знаний; они стремятся знать все, что нужно знать образованным людям. Эти юноши и девушки мужественны и бесстрашны, безгранично преданы партийному знамени в борьбе за освобождение человечества. Эта молодежь показала героизм труда, невиданный, невозможный при капитализме.

Товарищи, освобожденный труд открыл в человеке все прекрасное, заложенное в нем, и теперь мы видим, что целый ряд товарищей делает то, что они никогда не могли бы сделать, если бы они были несвободными людьми.

Мировые рекорды труда, мировые достижения, огромный рост культуры, жажда знаний — вот чем охвачена наша страна, страна мирных строителей. Знамя мира поднято над нашей страной. Знамя прекрасное — оно надежда всего человечества. Если посмотреть на нашу страну — это трудовой муравейник. Все наши помыслы,

¹ В тезисах следовал текст:

«За то, что в борьбе за построение социализма эти юноши и девушки не уступали перед трудностями, а увлекаемые беспредельной преданностью партии, они сломали все и всяческие препятствия и вышли победителями, принесли родной стране новую победу. Уступили они хотя бы на миг, потеряли веру в победу, в свои силы и возможности — победа ускользнула бы из их рук.

Товарищи, характер, воля человека формируются не сразу. Но каждый юноша, каждая девушка должны поставить перед собой цель, к которой они должны страстно стремиться. Эта цель — быть передовым бойцом на всех фронтах и участках нашей многогранной жизни. Мы восторженно приветствуем мужество, мы гордимся отважными, мы уважаем честных и ненавидим лгунов, мы восхищаемся героями и презираем трусов».

все наши мысли — это мирная стройка, это создание коллективного богатства, это поднятие культуры, это строительство, это забота о наших прекрасных детях.

Мы все — в мирном труде, наше знамя — это мир. И это знамя партия и правительство подняли высоко. Рот почему все трудовое человечество смотрит на нас как на надежду, как на свое упование¹.

Мрачные тучи нависают над миром. Фашизм, топором и веревкой стремящийся повернуть мир к средневековью, готовится ударить по нашим границам. И вот мы, строители социализма, отдающие всю свою страсть и силы мирному труду, — готовы и к бою. Мы знаем, что, когда на наши границы ступит подлая нога фашистских бандитов, — страна встанет и страшным ударом ответит на удар и сокрушит каждого, кто посмеет посягнуть на священные рубежи. В этой борьбе, в этой последней схватке двух классов, двух миров — освобожденного мира и мира эксплуатации, — в этой схватке молодая гвардия пролетариата, молодая гвардия Советского Союза — новое поколение комсомола, выросшее за эти восемнадцать лет, — будет столь же доблестно драться на своих рубежах, столь же доблестно разгромит каждого, как громили первые комсомольцы, шедшие в рядах ворошиловско-буденновской славной Конной армии на всех фронтах минувшей гражданской войны. Для этого нужна братва отважная.

Дорогие товарищи, перед нами стоит задача воспитать юношей с мужественным характером, безгранично преданных нашему делу.

¹ В тезисах дальше сказано:

«Мы хотим мира, мы возводим хрустальное здание коммунизма. Но было бы предательством забывать о том, что нас окружают злейшие кровавые враги. Фашизм бешено готовится к войне против Советского Союза. И если фашизм, эта бешеная собака, бросится на священные рубежи Советского Союза, то вся страна встанет на защиту своих границ, и миллионы молодых бойцов встанут под ружье. Это будет народная война, ибо это хозяева будут защищать свою землю от грабителей. В этой последней схватке судьбу мира будут решать мужество, отвага, беззаветная преданность революции молодых людей нашей страны. Страшным, всесокрушающим ударом должны мы отвечать на этот налет, а для этого нужна братва отважная, а не люди с заячьей душонкой».

Трус в нашей стране — это презренное существо. Мы не понимаем, мы не можем себе представить, откуда могут рождаться трусы, когда жизнь прекрасна, когда каждый шаг борьбы зовет нас к победам. Трус — почти предатель сегодня и, безусловно, изменник в борьбе. Мы не можем себе представить такого человека, который в то время, когда на рубежах будет идти кровавая схватка, оставил бы фронт и своих товарищей, трусливо предал бы их. Этого человека заклеят позором наша страна. Этот человек не может жить в нашей стране.

Товарищи, мужество рождается в борьбе. Мужество воспитывается изо дня в день в упорном сопротивлении трудностям. И девиз нашей молодежи — это мужество, это упорство, это настойчивость, это преодоление всех препятствий.

Товарищи, каждый орденосец, который присутствует на съезде, знает, что орден, эту наивысшую награду революционного правительства, он получил лишь потому, что он никогда и нигде не отступал. Только вперед, только на линию огня, только через трудности к победе и только к победе — и никуда иначе! Вот девиз молодежи нашей страны, девиз прекрасный, девиз мужественный, девиз, завещанный нашими вождями¹.

Вся жизнь наших вождей, вся жизнь подпольщиков-большевиков — это чудесный, прекрасный пример мужества. В самые черные годы реакции, когда царизм давил всякое проявление революционной мысли, наша старая гвардия большевиков ни на минуту не отсту-

¹ В тезисах после этого следовал текст:

«Отважным революционным бойцам поем мы песню. Молодой человек нашей эпохи — это мужественный боец. Лучшие человеческие чувства несут в себе юноша и девушка наших дней: дружба, прекрасная и красивая дружба, основанная на уважении друг друга; чуткость; отсутствие злой зависти к чужим успехам; воспитание сознания в себе, что выше всего интересы коллектива, который не обезличивает личность, а, наоборот, высоко поднимает ее. Всех нас воспитала, растила наша Великая Партия. Это она привела страну к победе. Это она сквозь все бури и штормы приведет нас к победе коммунизма во всем мире. Быть членом этой Великой Партии — заветная мечта каждого молодого человека нашей страны».

пала, верила в победу, и только благодаря этому беспредельному мужеству, благодаря этой огромной вере в победу она привела страну нашу, в борьбе ожесточенной и кровавой, к этим славным, прекрасным победным дням.

Дорогие товарищи, мы спаяны неразрывной дружбой, мы являемся членами одной стальной, могучей коммунистической семьи. Нас спаяла борьба за счастье народа. Мы шли тесной колонной вместе с нашими отцами, руководимые Великой Коммунистической партией, преодолевая трудности, уверенные в победе и правоте своего дела, сметая с пути всех, кто пытался нас остановить. И теперь мы торжествуем, как победители, достигшие желанной цели.

Мы стали заветной мечтой всех трудящихся мира. Они смотрят на нашу страну, где труд раскрепощен, они смотрят на молодых людей нашей страны, на наше поведение, как на пример. У нас перед каждой девушкой и [каждым] юношей широко раскрыты двери в жизнь. Они могут добиться вершин знаний, счастья, славы, но ко всему этому ведет лишь одна дорога через честный героический труд, только через труд, ставший делом чести, доблести, славы и героизма.

В нашем труде, в огромном стремлении к победе мы закаляем свой характер. И вот, когда придет время испытаний, молодежь Советской страны покажет, что она достойна великого имени Ленина, нашего отца, нашего вождя и учителя. И мы это зная революционное и зная прекрасное никогда не уроним, мы донесем его, высоко подняв, к мировой революции.

Дорогие товарищи, друзья мои, я жму ваши руки, шлю пламенный боевой привет! Я весь с вами, всеми своими мыслями и чувствами! Вперед, друзья!

Да здравствует великая наша борьба!

Да здравствует великое «сегодня» и еще более прекрасное и еще более замечательное наше «завтра»!

Да здравствует Великая партия большевиков и ее мужественнейший из мужественных вождей Иосиф Виссарионович Сталин, воспитавший нас и приведший нас к победам!

6 апреля 1936 г.

**[ЗАМЕЧАНИЯ О ПЬЕСЕ ПО РОМАНУ
«КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ»]**

Или снять, или совершенно переделать эпизод отказа матери Тони спрятать еврейских детей от погрома. Нельзя делать мать такой отвратительной. Будет совершенно непонятно, как Павел, который присутствовал при этой сцене, пошел в эту семью искать спасенья. Это бросает большую тень на Павла. Никогда этот юноша не переступил бы порога дома Тумановых после такого случая. Но дело в том, что семья Тумановых не была реакционна, эта семья, наоборот, очень либеральная, хоть и мещанская по существу. Тоня — не боец, она не способна уйти в бурю, но она романтична, любит героинку и она, несомненно, приняла бы евреев. Иначе невозможно оправдать чувство Павла к ней. Он не способен предать свой класс даже в любви, не способен был бы полюбить, например, Лещинскую, явного классового врага. Часть тени с Тони падает на Павла, а это недопустимо. Он должен быть незапятнан, он должен пленять зрителей.

В разговоре с Виктором Тоня должна быть настрожена, она не доверяет ему, ведь она любит кочегара и знает, что это его враг. Психологически неверно ее поведение во время разговора. В романе нет ни одного реакционного движения Тони в этот период, и в пьесе не должно их быть — это чернит Павла.

Павел при прощании разоблачает ее романтизм, ее мягкотелость и уходит навсегда.

«Выражение немецкий иуда» — неправильно, не подходит к немец[им] интервентам. Они ведь не были социалисты. Петлюру еще можно назвать так. Жухрай — человек концентрированного действия. И он долго думает, прежде чем сказать. Он очень немногословен. Его выступление сделать короче. Убрать «авантюрист». «Господин» не подходит к Петлюре.

В сцене погрома — психологически неверно, что Павка, имея револьвер, остался простым свидетелем убийства Пейсаха. Этого не могло быть! Он сейчас же бросился бы на петлюровца. Лучше убрать мальчиков. Снять рассказ, как достал револьвер. Он невозможен тут, у трупa Пейсаха. Они или приходят в ярость, или парализованы ужасом, но не равнодушны. Павка может появиться уже у трупa, в тоске звать Жухрая, как спасителя, и вдруг увидеть его арестованным, под конвоем. На спасение Жухрая он кидается невооруженным. Револьвер снижает, уравнивает силы, уничтожает героизм. Он может просто забыть в горячке, что у него в кармане револьвер.

Молитва Пейсаха на коленях — нехорошо. Это унижает и не только его, но и весь народ. Можно сделать сильнее, показать безысходность и незащитность.

Рассказ Лизы о погроме построен нехорошо. Психологически неверно такое легкое отношение к погрому. Она не с петлюровцами, она немного легкомысленна, но будет, конечно, подавлена, не сможет отнестись с шуткой. И Виктору она тоже не доверяет немного. Лучше взять этот разговор из романа целиком.

Сцена с Фросей. Нельзя себе представить, чтобы девушка рассказывала шести человекам о своем позоре. Это может быть один на один. Надо подумать. И нужно оправдать самый факт — она продалась, чтобы спасти семью от голодной смерти, а не из распущенности. Надо дать прочувствовать классовый ужас, обнажить бандитский оскal капитализма. Сделать этот эпизод более правдивым. Может быть, Павел без нее расскажет Жухраю.

Эпизод в типографии. Будет ли Сережа всем показывать фотографию любимой девушки? Это глубоко интимно у юноши. Другу он обязательно покажет, но всем?

Если Пейсах — рабочий типографии, то он не будет умирать так слезливо. И веры у него такой горячей не может быть, она уже подорвана. Не надо делать его таким специфически еврейским. Рабочие евреи не таковы, они вовсе не отличаются от русских.

Эпизод на тендере. Недопустимо снижен образ Жухрая. Если он едет с рабочими, то почему он не действует сам, а заставляет беспартийных рабочих. Его не должно быть на паровозе. Без него и роль рабочих вырастает. Они сами убивают немца, не под давлением коммуниста Жухрая. Эта сцена — показ пролетарского гуманизма — убить одного, чтобы спасти тысячи, показ сознательности беспартийных рабочих. Эта сцена сделана нехорошо. Перенести разговор рабочих с Жухраем с паровоза в пакгауз, показать его влияние на рабочих. И он не должен говорить «бей». Он вдумчив и никогда не пошлет рабочих на гибель. Он скажет: «Спроси у своей рабочей совести и поступай, как она скажет» — или что-нибудь в этом роде. Героизм рабочих в том, что они действуют без приказа и нажима.

Он приказывал бы в партячейке.

Сцена погрома. Не лучше ли перенести действие в комнату? Будет драматичнее, ярче. Эта сцена должна вызвать у зрителей гнев, возмущение, а не сострадание и жалость. И потом совершенно необходимо показать какое-то сопротивление. Кто-нибудь (см. сцену сопротивления кузнеца — IV гл. I части) (пусть это будет брат Риты, например) оказывает сопротивление петлюровцам, это разрядит атмосферу безысходности и даст глубокое удовлетворение зрителю. Без этого нельзя.

И почему молодежь поет песню? Немцы уходят, но приходят петлюровцы. Какая радость? Подумать и, может быть, снять. Почему Павел скитался три дня? Он ведь арестован в тот же день. Чем это вызвано? В разговоре Павла с Тоней нет конкретных мыслей. Надо ярче показать, как развеялся романтизм Тони и

уход Павла, показать его разочарование в ней. Она ему и близка и чужда. Коллизия двух мирозозерцаний. Он не раб, он боец. И когда она ему предлагает работу у отца, он скажет: «Я буду завоевывать такую жизнь, где я буду хозяином, а ты мне предлагаешь быть холуем».

II акт.

Эпизод Риты и Сережи. Недопустимо выражение: «Таких война проглатывает». Что автор хочет им сказать?

Эта сцена нежности для зрителя будет неожиданна. Он первый раз видит Риту вообще и сразу вместе с Сережей! В романе это постепенно дается.

III акт

Эпизод «Даешь Шепетовку!» Сцена скомкана. Снять эпизод с награбленными вещами.

Может быть такой вариант: Жухрай идет и видит — полк не в походе. Обращается к Чужанину. Тот посылает его к бойцам. Дать отдельные выступления.

«Без ботинок не пойдем, дураков нет!», «Видишь штаны с вентиляцией?», «Дайте сапоги и хлеба и так далее и так далее — тогда посылайте!» Тут расшифровать балтийца обязательно, так как Балтфлот революционер, а это не матрос, а «Жоржик». Деталь — он не помнит название крейсера, на котором служил два с половиной года. Противопоставить двух матросов — Жухрай революционер и Клешиник. Тут Жухрай может сорвать ленту с фуражки. Найти немногие презрительные слова для речи Жухрая. После разоблачения матроса бойцы отвернутся от него — масса не терпит трусов.

С ребятами Жухрай должен быть ласковее, теплее. С появления ребят можно начать эпизод. Павел

предупреждает о намерении эшелона перебить коммунистов. Жухрай бросается к составу.

Эпизод «За Первую Конную». Эпизод за «Первую Конную» неудачен. Надо дать простоту трагизма. Может быть такой вариант (но надо подойти очень осторожно к этому, чтобы не прозвучало фальшиво), Павел в полубреду говорит: «Артем, братишка, слушай, вот комсомольский билет — возьми. Пойди заплати долг в комсомол за два месяца. Вот деньги — рубль семьдесят копеек. Скажи, такое дело — бои были, не мог внести... А матери скажи — пустяки, я ничего, поправляюсь». Он говорит это с умоляющей улыбкой.

Эпизод «Начало трагедии». От этого эпизода глубокое неудовлетворение. Не нравится совсем.

Нельзя делать врача таким тупицей — при больном он говорит, что на его месте застрелился бы. Это антигуманизм, это вызовет возмущение врачей. Потом — Павел не мог говорить таким интеллигентным языком в те годы: «Не говорите по-латыни» и так далее. Это не язык рабочего подростка. Строже следите за языком по роману. Не сдвигайте двадцатый год с двадцать девятым. В этот промежуток Павел культурно вырос. Нужна скромность образа. Павел не мог быть груб, он мягок. Нехорош текст, он какой-то бодряческий. Надо спокойно передать силу человека — в улыбке, во взгляде, а не в вызывающем тоне. Ведь он только ушел от смерти и еще тяжело болен. Он вдумчив, беспомощен, но никак не резок.

Рита не нравится. Надо снять выражение «потеряла компас». Больше теплоты в изображении ее, больше человечности.

Лазарет — тяжелая штука. Может быть, Павла дать в кресле или даже ходячим при помощи сестры. Так тоже можно показать драматизм. Кроватная обстановка не хороша и чрезвычайно тяжела для актера. Может быть, даже лучше перенести действие на веранду, где солнце, зелень, жизнь и это резко подчеркнет трагедию Павла.

Продумать появление Риты.

IV акт

В разговоре слово «доигрался». Снять его. Не подходит оно — это ведь борьба.

«Большевистское здоровье» убрать «большевистское».

— Трибунал — слишком много шуток с этим. Разговор Прохошки и Туфты переработать, дать иначе. Выкинуть о крестьянах. И вообще не зря ли здесь Прохошка? Посылают на стройку рабочих, он же официант. А как он в комсомоле — а его возраст? Он явно чужеродное тело. Смещение персонажей будет раздражать зрителей. Вся сцена в лесу не радует меня. Ее надо еще продумать, переработать, многое снять.

«Пять раз сдохни, а построй». Сдохни режет слух. Заменить словом умри. Вы Токарева заменяете Долинником. Помните, роман прочли около тридцати миллионов человек и вам не простят резких передвижек персонажей. Будет столкновение с психологией зрителя.

И потом пьеса названа «Павел К». А он у вас почти второстепенная роль. И почти незаметно Риты, Валя ярче дана. Уже четвертый акт, а Рита еще не близка и не дорога зрителю. Павла и Риту надо доработать. Они мало выросли с начала показа их. Решать будет V акт. Пока пьеса меня не взволновала, не дошла до сердца. Это очень плохой симптом. Это опасно. Но я предъявляю самые большие требования. Нехорошо, что положения так изменены, что нарушена связь с романом. Например, сцена на вокзале. Ведь Павка к этому времени должен вырасти, а этого не показано. Нельзя отвлекаться на многосторонние поступки, надо разработать одну сложную психологическую тему, но разработать глубоко. Нет развернутых лирических сцен. Не обоснован отход Риты от Сережи и любовь ее к Павлу. Неубедительно. А в романе все обосновано.

V акт

Разговор с матерью не хорош. Снять «кланяться крестам», «пропадет путевка в санаторий». Хорош рассказ о гибели Вали.

Разговор с матерью взять из книги, ничего не изменяя. Лучше построить эпизод. Может быть, Павел, дожидаясь матери, один играет на гармонии грустную украинскую песню «Зыбралыся вси бурлаки» или другую. Дать большую печаль. Потом приходит мать с узелком проводить его на вокзал. Он просит не провожать. Он нежно любит старушку. Он мечтал принести ей счастье, а теперь сам искалечен. Она идет собрать цветов на могилу Вали. Он остается у могилы Вали. В надписи прибавить «дочь машиниста» и сделать ее как можно проще и трогательнее. Должны быть большие деревья у могилы, много зелени.

В это время приходит Рита и Жаркий, и он невольно слушает их.

Эпизод «Глубокий тыл». Эта сцена не годится. Недопустимо такое противопоставление Павла и Артема. Такого в романе нигде нет. В конце книги Артем — активный партизнец. Вы даете его таким, каким он был в 1922 г[оду], а дело происходит в 1929—1930 годах. Тут Павел может быть показан уже скованным — просит передвинуть пешку например, Артем беспокоится, что Павел убивает себя напряженной учебой и просит Долинника повлиять. Узнав о мечте Павла написать книгу, он не верит в возможность этого, но поддерживает его, чтобы не разочаровать Павла. Надо очень тонко показать это.

Показать на игре в шахматы, как Павел воспринимает удары жизни. Это ожесточенное мужество. Это как в боксе — он падает, но моментально поднимается и бросается на противника снова и снова. И он не мрачен. Вы не даете его обаятельным. Знайте, он страдает, но улыбается. Это настоящий рабочий парень, боец. Не надо разговоров о трагизме, но надо дать так, чтобы зритель почувствовал трагедию.

В разговоре с Долинником можно [допустить] такие слова: «Видал, Иван Семенович, таких чудаков — нашли у меня сто процентов потери трудоспособности». В этом вопросе удивление и какой-то укор. «Большевика, у которого стучит сердце, они считают на сто процентов нетрудоспособным. Когда же люди научатся понимать такие простые вещи!»

Снять слова матери: «Что вы с ним сделали!»

Эпизод «Победа». Надо ли воскрешать Сережу? Это должно вызвать коллизию с Ритой. Это очень сложно. Я думаю, не нужно Сереже появляться!

Убрать слова «за упокой Чужанина».

Тут Павел уже не ходит. Пусть его вывезут в коляске. Но это надо продумать. На вопрос «что будешь дальше делать?» Павел не может ответить «нечем жить».

Он скажет: «Ворошилов и Буденный семнадцать раз вели в атаку и победили. А что было бы, если сдались с первого раза?»

Р и т а.— Неужели будешь еще раз начинать?

П а в е л.— Да, семнадцать раз и ни разу меньше, а после восемнадцати, может быть, подумаю о другой профессии».

Сцену со слепотой сделать ярче, показать, что сначала он сам себе не верит. Не надо трагических воплей матери. Пьеса должна быть закончена монологом.

Корчагин скажет: «Рита, подними за меня бокал! Друзья, самое дорогое, что есть у человека,— это жизнь».

Этими словами начать. Это лейтмотив романа. И это будет звучать торжественно и прекрасно. Он разгромлен, но он победитель, он снова в первых рядах бойцов!

Общие замечания

Я тревожусь за пьесу. Я не чувствую победы автора. Только несколько сцен взволновали меня, но я потрясен. Я искренен с вами — пьеса не производит большого впечатления. Многое огорчает меня. Рита и Павел не захватывают. Жухрай удался лучше — его слова доходят. Он чувствует себя как руководитель. А Павла и Риту надо как-то отоплить, облагородить, очеловечить. Пусть зритель почувствует любовь Риты к Павлу. И потом надо лучше, убедительнее показать рост Павла. Их надо выдвинуть на передний план, даже за счет других. Рита должна появиться раньше и с первых шагов завоевать любовь. Можно сцену в лазарете (это

ни в коем случае не больница) ввести молодую женщину — врача, которая подробно, с волнением расскажет Рите о Павле, о его героической стойкости во время страшных страданий. И можно показать Павла в лазарете с орденом «Красного знамени». Пусть театр обсудит, обдумает и решит это. Тема болезни, борьбы за жизнь не должна страшить. Но показывать надо не мрачно, не в кровати, а в коляске. Эпизод в госпитале требует очень большого внимания. Передайте коллективу, что я горячо желаю вам победы. Сделайте все для этого. Свяжитесь с комсомолом.

Прислушивайтесь к актерам, может быть, во время игры само собой вырвется какое-нибудь слово, которое зазвучит прекрасно. Вы должны внести его в текст. Но то, что я решительно отверг, должно быть вами выброшено — присутствие Жухрая на тендере, разговор матери Тони с евреями. Верьте моему большевистскому чутью — это политические ошибки.

Мне хотелось бы, чтобы Рафалович понял искренность моих выступлений. Согласен ли он духовно? Принимает ли мои поправки? Вы должны помнить, что пьеса эта — наше общее дело и победа или поражение будет также общим.

[1936 г.]

**[РЕЧЬ НА ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА
ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА СОВЕТСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ]**

Мое выступление, может быть, несколько неожиданно для вас: автор выступает первым.

Я с большим чувством доверия ждал этого заседания, которое должно мне во многом помочь.

У меня есть решительная просьба, которую я высказывал неоднократно в письмах к товарищам и в личных беседах, чтобы наше обсуждение шло по следующему, желательному для меня и всех нас, направлению.

Прошу вас по-большевистски, может быть, очень сурово и неласково, показать все недостатки и упущения, которые я сделал в своей работе. Есть целый ряд обстоятельств, которые требуют от меня особого упорства в моих призывах критиковать сурово. Товарищи знают мою жизнь и все особенности ее. И я боюсь, что это может послужить препятствием для жесткой критики. Этого не должно быть. Каждый из вас знает, как трудно производить капитальный ремонт своей книги. Но если это необходимо — нужно работать.

Я настойчиво прошу вас не считать меня начинающим писателем. Я пишу уже шесть лет. Пора за это время кое-чему научиться. Требуйте с меня много и очень много. Это самое основное в моем выступлении. Подойдите ко мне, как к писателю, отвечающему за свое произведение в полной мере, как художник и как коммунист. Высокое качество, большая художественная и познавательная ценность — вот требования нашего

могучего народа к произведениям советских писателей. И делом нашей чести является выполнение этих справедливых требований.

То, что среди нас уже нет Алексея Максимовича Горького, великого писателя и замечательнейшего человека, страстно, непримиримо боровшегося со всяческой пошлостью и бесталанностью в литературе, заставляет партийную группу Союза писателей, каждого члена партии и каждого беспартийного большевика-писателя еще глубже осознать всю ответственность за нашу работу.

В связи с этим мне хотелось сказать о нашей дружбе. Я пришел в советскую литературу из комсомола. Традиции нашей партии и комсомола дают непревзойденные примеры творческой дружбы. Они учат нас уважать свой труд и труд товарища, они говорят о том, что дружба — это прежде всего искренность, это — критика ошибок товарища. Друзья должны первыми дать жесткую критику для того, чтобы товарищ мог исправить свои ошибки, иначе его неизбежно поправит читатель, который не желает читать недоброкачественных книг.

Вот эту замечательную дружбу мы должны укреплять в среде писателей, ибо осталось еще кое-что от той особенности в нашей среде, которую мы получили в наследство от старого, когда писатель был «кустарь-одиночка».

Нужно честно пожать друг другу руки, отмести навсегда все отравляющее, желчное, что осталось от прошлых групповых стычек, принесших горечь, неправильных методов критики и воздействия друг на друга, когда интересы группы ставились выше интересов советской литературы.

В нашей среде есть также люди, которых великий Сталин назвал «честными болтунами». Они много болтают, но не работают. А в нашей стране каждый писатель должен прежде всего работать и над собой и над своим произведением. Есть у нас и «литературные жучки», для которых нет никаких авторитетов. О виднейших писателях нашей страны они говорят с пренебрежением, для всех у них есть клички и куча не-

доброкачественных анекдотов, сплетен и прочего мусора. Это уже не просто болтуны, это хуже. С этими разносчиками сплетен и слухов мы должны повести беспощадную борьбу. Здесь нужен хороший, свежий ветер, и вся эта пыль отсеется.

Наше сегодняшнее собрание происходит после недавнего заседания Президиума Союза советских писателей, посвященного творческому отчету одного из наших писателей. Я хочу, чтобы и наше собрание шло на таком же высоком уровне.

Каждый из вас прочел первую книгу романа «Рожденные бурей». Это три с половиной года работы. Давайте же поговорим о моих ошибках. Это нас сблизит, ведь у нас одна цель — чтобы советская литература была самой прекрасной. Принципиальная критика помогает писателю расти, она облагораживает. И только самовлюбленные, ограниченные люди не выносят ее. Мы же должны доверять друг другу свои тревоги и волнения. Будем открыто рассказывать о своих неудачах. Когда я получил письмо т[оварища] Накорякова, в котором он прямо и умно рассказал мне о моих недостатках, я почувствовал к нему уважение. Поэтому я прошу отнестись ко мне, как к бойцу, который может и желает исправить недочеты своей работы. Критика меня не дезорганизует. Наоборот, она скажет мне о том, что я нахожусь в кругу друзей, которые помогут мне вытянуть тяжесть. Я никогда не забываю, что я еще не так силен в художественном мастерстве, что мне есть чему поучиться у вас. Художник должен чувствовать под собой крепкую советскую землю, не отрываться от нее. Печальна участь тех, кто отрывается от коллектива, возмнив себя сверхгением или непризнанным талантом. Коллектив всегда поднимет человека и поставит его крепко на ноги.

Я буду слушать вас с большим волнением. Но помните, что идти надо по линии наибольшего сопротивления, с наибольшими требованиями ко мне.

Откройте же артиллерийский огонь. Это даст мне еще больше сил и желания немедленно же приняться за работу, для того чтобы закончить первую часть своего нового романа.

Простите меня, если я не смог достаточно ясно сформулировать свои мысли.

Я могу в течение нескольких минут набросать силуэт, контуры той обстановки, в которой будут бороться герои моего романа. Как вы знаете, первая книга охватывает конец [19]18 года в одном из уголков Украины. Она показывает уход немцев, борьбу рабочего класса и крестьянства с польскими помещиками и буржуазией.

Во второй книге будет показано соби́рание сил пилсудчиков, захват ими части Украины и их блок с Петлюрой, который затем окончательно продается панам. По другую сторону баррикад — организация Красной Армии из мелких партизанских отрядов, борьба крестьянских масс против помещиков, стихийные восстания, которые под руководством большевиков превращаются во всенародное движение против иноземных оккупантов. Красная Армия громит петлюровские банды.

Третья книга покажет уже не прикрытую ничем интервенцию Антанты в лице панской Польши. Героическое сопротивление малочисленной 12-й армии, состоящей из полураздетых и полуобутых бойцов. Тринадцать тысяч против шестидесяти тысяч прекрасно одетых и вооруженных до зубов польских солдат.

Поляки занимают Киев. Польская буржуазия торжествует. Но под Уманью собирается железный кулак Конной армии. Страшный удар — и поляки катятся назад.

Наше победное наступление и изгнание зарвавшихся интервентов из Украины. Здесь будет показан вандализм фашизма. Уничтожение прекрасных зданий, мостов, бессмысленное варварское истребление всего, что попадает под руку. Поджог деревень, взрывы железнодорожных станций, путей. Кровавый путь озверелых белогвардейцев, «защитников культуры».

Вот на этом фоне будет показана борьба молодых товарищей, руководимых большевиками, за освобождение нашей родины. Все они будут, в той или другой обстановке, показывать, как происходили эти события и как мужала эта героическая группа молодых рабо-

чих-коммунистов, комсомольцев, закалявшихся в этой ожесточенной борьбе. Вот силуэт целой книги. Как видите, я не затрагиваю судеб отдельных действующих лиц.

Если это нужно, я могу рассказать и об этом.

З а к л ю ч и т е л ь н о е с л о в о

Т[оварищ] Феденев прав, что книга должна выйти скорее, но над книгой надо поработать, учтя весь опыт собрания, которое, я буду говорить открыто, дало мне много конкретных, ясных представлений, над чем надо работать. Я с большим вниманием слушал ваши предложения.

Выступление т[оварища] Герасимовой мне понравилось. Она высказала замечательно четко умные мысли.

Теперь о книге.

Вопрос о дополнительной работе над ней решен ясно. Замечания Ставского и остальных товарищей понятны и ясны для меня. Книга не получила разгрома, который я принял бы так же, как и целый ряд разгромов, которые жизнь приносит настоящему бойцу.

Мы знаем, что победа гладко, без препятствий не дается. Таких побед в истории почти не бывало. И победа в нашей стране и победа каждого в отдельности — это преодоление препятствий.

Если бы сегодня было доказано ясно и понятно (а я чуткий парень, и не надо меня долго убеждать в истине), если бы было признано, что книга не удалась, то результатом этого могло бы быть одно: утром завтра я с яростью начал бы работу. Это не фраза, не красивый жест, потому что жизнь без борьбы для меня не существует. На кой черт она мне сдалась, если только жить для того, чтобы существовать! Жизнь — это борьба.

Когда Колосов предлагал мне основательно работать над романом «Как закалялась сталь», я не говорил, что делать этого не буду, хотя для меня это было необычайно тяжело, потому что я был очень слаб физически: я перенес тогда сильное воспаление легких.

Сейчас в основном мне понятны недостатки книги. И еще понятна одна вещь: такие заседания, как сегодня, не проходят бесцельно.

Завтра я отдохну, позволю себе эту роскошь, а послезавтра еще раз прочитаю несколько раз ваши замечания и начну работать над теми местами, которые, как говорит Ставский, требуют переделки. Для этого нужно три месяца, я думаю, серьезной работы. Но, работая в три смены, можно сделать за один месяц. Кстати, у меня бессонница, и это найдет свое полезное применение в работе. Один лечится тем, что отдыхает, другой лечится работой. Через один месяц я думаю представить Центральному Комитету комсомола книгу, на которой, возможно, будет поставлено слово «да».

Большинство замечаний прекрасно могут быть использованы и во втором томе, потому что сейчас мы имеем только треть книги. Сейчас, имея этот сигнал, эти дружеские замечания, я приступлю к работе, и [товарищи], которые хотят быстрее выхода этой книги, будут удовлетворены.

Значит, через месяц ЦК комсомола должен получить первый том романа «Рожденные бурей» уже без тех погрешностей, о которых мы здесь говорили. Но здесь есть одна вещь, и товарищи писатели меня поймут,— выправлять книгу писатель должен собственной рукой. Продумывать неудачные фразы должен сам автор. Ведь каждому понятно, что писатель, который любит свою книгу, не может отдать ее другому писателю, может быть глубоко талантливому, чтобы тот ее «дописывал».

Я вас уверяю, что если бы вы пришли к пятисотникам в середине года и сказали: «Давай я тебе буду копать», они бы вас не пустили. Они бы сказали: «Закончим, но своими руками».

Я этим ни в коем случае не умаляю ценности замечаний, которые здесь сделаны. Они во многом помогут сделать книгу лучше, но писатель должен продумать все это сам.

Да, мне нужен глубоко культурный редактор, чтобы не было таких ошибок, как в книге «Как закалялась

сталь»: там в сорока изданиях повторяется «изумрудная слеза».

Я по простоте своей рабочей упустил, что изумруд зеленый. Это была детская ошибка. Ведь это писалось шесть лет тому назад. ЦК комсомола считает меня в своем активе как хорошего комсомольца. За все время комсомольской жизни я не получал выговора за неряшливость, за невыполнение директив ЦК. Поэтому и это задание выполняю как можно скорее. Я это не в шутку говорю. Надо поднять это произведение на несколько ступеней вверх, чтобы не было стыдно выйти в свет, выпустить с новой книгой.

Ведь существует мнение, что в первую книгу писатель вкладывает весь опыт жизни и она бывает наиболее яркой и глубокой. Вторую книгу делать труднее. Ваши замечания, друзья, я продумаю. Побольше б нам таких дружеских встреч.

Я верю, что товарищ Ставский и вся партгруппа Союза писателей будет идти по этому пути.

Выступления Александра Серафимовича, Фадеева, Асеева, Герасимовой меня глубоко тронули. Я только думаю, что критиковать нужно было еще крепче. Вот т[оварищ] Асеев в этом отношении шагнул вперед.

В отдельности мы каждый можем ошибиться. Как бы талантлив человек ни был, но коллектив всегда умнее и мощнее.

Спасибо, друзья мои, за те хорошие, четкие и правдивые выступления ваши, которые я здесь прослушал. Теперь мы с вами уже знакомы. Теперь для меня т[оварищ] Герасимова живой человек. Фадеев то же самое. Я их чувствовал в борьбе, в стройке, но не сталкивался с ними.

Думаю, что вторая книга тоже будет поставлена на обсуждение, и тогда огонь по мне будет более решительным.

А теперь большое спасибо, дорогие товарищи, за эту полезную беседу.

15 ноября 1936 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РОЖДЕННЫЕ БУРЕЙ

КНИГА ВТОРАЯ

Глава первая

Во дворе, повидимому, совещались. Затем Заремба крикнул:

— Последний раз спрашиваю: сдаетесь? Дом окружен целым эскадроном. Никому не уйти живым. Сдавайтесь, пока я не раздумал. Черт с вами, обещаю отпустить на все четыре стороны, только сдавайтесь и выпустите графиню!

Теперь все в домике переглянулись.

— Кто им поверит? — глухо проговорил Птах.

Тогда с пола поднялась Людвиг.

— Разрешите мне поговорить с этим офицером, и я добьюсь вам свободы! Прошу вас поверить моему честному слову, что я вас не обману! Ведь сопротивление бесполезно. Они вас убьют. Я умоляю вас, пане Раевский! — еще более волнуясь, обратилась она к Раймонду.

Подавленный Раймонд даже не взглянул на нее.

— Пани графине можно верить. Она славная женщина, не в пример пани Стефании, — неожиданно поддержала Людвигу Франциска. — Она среди графов самая честная и добрая!

Птаха несколько мгновений пристально всматривался в Людвигу. Она ответила ему правдивым взглядом.

— Что же, пушай говорит. Увидим, куда оно пойдет,— наконец, согласился он.

Никто не возразил. Безвыходность положения была ясна всем.

— Говорите! — согласился Раймонд.

— Пане Заремба, это говорю я — Людвиг Могельницкая!

— Вы живы, вельможная пани? Не тревожьтесь, мы сейчас вас вызволим! — кричал ей Заремба.

— Я жива и здорова. Вы обещаете, пане поручик, что отпустите всех, здесь находящихся, на волю? Тогда они сдадутся без боя...

— Отпущу. Пусть сдаются.

— Это слово дворянина и офицера? Я за вас поручилась своей честью. Вы меня не опозорите? Скажите прямо!

— Пусть сдаются, отпущу на все четыре стороны.

— Я верю вашей чести, пане Заремба, и буду просить находящихся здесь сдаваться.

Людвига обернулась к Раймонду.

— Я знаю Зарембу — это честный офицер. Он выполнит свое слово. Сложите оружие, и он отпустит вас на свободу, я верю в это! — умоляюще говорила она.

— Что ты скажешь, Сарра? — спросил Раймонд, нагибаясь к сидящей на полу девушке.

— Обманут они нас, Раймонд... Какой позор! Что мы наделали!..

— Нет, они не посмеют этого сделать. Я буду вас защищать,— уверяла ее Людвига.

После короткого совещания решено было сдать. Первым на крыльцо вышел Птаха. Он сразу же наткнулся на труп хромого партизана. И ему впервые стало страшно.

Дом был окружен солдатами. Около крыльца стоял с револьвером в руке Заремба. Птаха взглянул ему в глаза и понял, что дальше этого двора не уйти. И ему стало жаль себя.

Последними вышли женщины, среди них Людвиг. Парней сразу же стали обыскивать. Несколько солдат бросились в дом забирать оружие.

— Поздравляю вас, графиня, со счастливым исходом! — взял под козырек Заремба, щелкая шпорами.

— Добрый день, пане Заремба! — пожала ему руку Людвиг.

— Уберите этих отсюда! — приказал он и повернулся к Людвиге. — Скажите, как эти негодяи с вами обращались?

— Очень хорошо. Вы их сейчас отпустите?

Заремба презрительно усмехнулся.

— Стоит ли говорить об этой швали! Слава богу, что вы живы! Пан полковник всю ночь не спал. Пойдемте, я вас проведу к саням. Пан Владислав тоже здесь. Мы с ним немножко поссорились, он там... — сказал Заремба и подал Людвиге руку.

— Пане Заремба, я хочу, чтобы вы их отпустили при мне. Я, конечно, верю вашему слову, но они поверили только мне, и это меня обязывает, — начиная тревожиться, сказала Людвиг.

— О каком слове может идти речь? Вы помогли нам, за это большое спасибо. А с этим быдлом нечего церемониться.

Как бы иллюстрируя его мысли, один из солдат толкнул Олесю прикладом в спину.

— Пошла, говорят тебе! — шипел он на девушку, не желавшую уходить.

Олеся упала. Птаха кинулся к солдату.

— Не смей бить!

Сержант Кобыльский страшным ударом приклада в лицо свалил Андрия на землю.

— Ах, вот ваша честь, убийцы! — крикнула Сарра.

Один из солдат ударил ее плетью по лицу. Опрокинув стоящего перед ним солдата, Раймонд бросился на защиту. Заремба выстрелил в него, но промахнулся. Град ударов посыпался на Раймонда. Его били прикладами, нагайками...

Безоружный Леон кинулся в эту гущу спасать товарища.

Во время этой свалки жандармский сержант Кобыльский и двое солдат схватили поднявшуюся Олесю и потащили ее, Франциска бросилась за ними.

— Куда вы ее тащите, негодяи! Пани графиня, спасайте же! — кричала Франциска, обезумев.

Она не отпускала Олесю.

— Заремба, остановите эту подлость! Я презираю вас! Вы... негодяй! — вскрикнула Людвиг.

Лицо поручика залилось густой краской.

— Отставить! По местам, пся ваша мать! — заорал он: — Кобыльский, бросьте девчонку, говорю вам!

Солдаты прекратили избиение и медленно отходили в сторону. Жандармы отпустили Олесю. Кровавые полосы от нагаек на лицах Сарры и Раймонда, кровь на лице неподвижно лежавшего на снегу Птахи и все только что происшедшее казалось Людвиге кошмаром. Залитый кровью Птаху шевельнулся. Он пришел в себя. Людвиг нагнулась над ним, рыдая. Она помогла ему подняться. Он встал, пошатываясь, взглянул на нее с дикой ненавистью и, судорожно кашляя, еле шевеля разбитыми губами, выплюнул на ладонь три окровавленных зуба.

— Пойдемте, графиня. Вам здесь не место, — сухо сказал Заремба.

— Я не пойду ни на шаг отсюда, пока вы не отпустите этих людей! — с отвращением отворачиваясь от него, сказала Людвиг.

— Прощу вас, вельможная пани, оставить это место. Вас ожидают сани. А с этими людьми будет поступлено по закону, — еще суше сказал Заремба.

Людвиг резко повернулась к нему. В ее глазах он прочел такое презрение, что ему стало неловко.

— Заремба, вы — негодяй! Но знайте, знайте — если вы кого-нибудь из них убьете, я покончу с собой! Клянусь вам в этом!

— Даю вам слово дворянина, графиня, что никого из них, — ответил он, отступая от нее на несколько шагов, — я не расстреляю. Отпустить же их не могу, не имею права.

Окруженные солдатами, они шли тесной кучкой. Птаха все еще кашлял кровью, оставляя на белом снегу алые пятна. Их больше не били, потому что за их спиной ехали сани, в которых сидела измученная Людвиг. Франциска сидела рядом с солдатом, ожесточенная, замкнутая.

Раймонд крепко прижимал локоть Андрия к своей груди,— они шли под руку. Птаха был очень слаб.

— Проспали мы свою честь, Раймонд! А зубы мне правильно выбили, чтоб знал, с кем плясать!..

[1936 г.]

БЕСЕДА С КОРРЕСПОНДЕНТОМ «ПРАВДЫ»

Интересно проследить рост тиражей романа «Как закалялась сталь»:

1932 — одно издание , 10 000 экз.

1933 — ничего

1934 — пять изданий 80 000 экз.

1935 — семь изданий 417 000 экз.

1936 — тридцать шесть изданий . . . 718 000 экз.

Общий тираж романа на 1 сентября с/г на всех языках — 1 225 000 экз.

За границей роман издан в Чехословакии и Японии. Вскоре выйдет во Франции, Англии, Голландии.

На днях закончен первый том романа «Рожденные бурей» (13 печатных листов).

Весь роман задуман в трех томах.

В ближайшие дни кончается мой «отпуск», и я приступлю к работе над вторым томом.

У меня есть заветное желание — закончить роман к двадцатилетию Октябрьской революции. Я не могу, к сожалению, взять на себя такого обязательства, ибо для большевика обещать — значит сделать. А мое предательское здоровье может нарушить все сроки. Тем радостнее будет, если все же моя мечта осуществится.

До сих пор широко распространено мнение, что писатель и поэт могут работать лишь в минуты вдохнове-

ния. Не потому ли многие писатели годами ждут этого вдохновения и ничего не пишут?

Я убежден лишь в одном: вдохновение приходит во время труда. Писатель должен работать так же честно, как и каждый строитель нашей страны,— во всякую погоду, при хорошем и плохом настроении, ибо труд — это благороднейший исцелитель от всех недугов.

Нет ничего радостнее труда.

Я с нетерпением жду, когда окончится «приказанный» мне отпуск, чтобы снова взяться за перо.

Вы спрашиваете меня, каковы мои планы, помимо «Рожденных бурей»? Не задавайте мне таких волнующих вопросов. Я могу забыться и развернуть перед вами такую фантастику желаний, что вы будете ошеломлены.

Я хочу написать книгу для детей. Затем фантастический роман, а затем дописать последний том «Как закалялась сталь» под названием «Счастье Корчагина». А кроме всего, думаю учиться вглубь и вширь, учиться до последнего дня жизни.

Это не парадокс, а необходимость. Для всех этих планов надо жить минимум десять лет.

Интересно, что на это скажут врачи? Сказать по совести, очень хочется побить рекорд долголетия. Ведь чертовски хороша жизнь в нашей стране!

[1936 г.]

[НИКОГДА НЕ УСПОКОЮСЬ НА ДОСТИГНУТОМ]

Я готов, друзья, принять самую суровую и требовательную критику от вас. Она мне необходима именно сейчас до опубликования книги, чтобы я смог внести все необходимые исправления.

Прежде всего хочу знать общее впечатление от книги. Есть два рода книг. К первому принадлежат такие, в которых есть хорошие увлекательные места, но сами книги в целом плохи. И есть хорошие книги, но имеющие отдельные неудачные слабые места. Итак, каково общее впечатление от моей книги?

Должен сказать, что полученные мной до настоящего времени отзывы о «Р[ожденных] б[урей]» положительные. Это меня несколько успокаивает. Я, откровенно говоря, боялся приезда Семы Трегуба. Вот, думаю, прочел он книгу, приедет и скажет: «Переходи, друг, на другую профессию! Ну, хоть рецепты на мыло выдумывай или бухгалтером куда-нибудь иди!» Нет, даже он не сказал этого, а он злой критик. Это облегчает, — когда книгу не ругают. Ведь она результат двухсполовинолетней работы. Я чувствую и понимаю, что книга далека от совершенства, и я никогда не успокоюсь на достигнутом. Я — самый злостный и придирчивый из всех своих критиков. Мне надо знать, будет ли она служить делу коммунистического воспитания

молодежи, будет ли волновать сердца читателей и звать их к борьбе, к подвигам, даст ли образ молодого человека нашей эпохи? Или ее надо сразу, не доводя до печати, законсервировать в районе вот этого дома и скорее о ней забыть.

Я получил отзыв от Г[ригория] И[вановича], от адъютанта маршала Ворошилова. Это положительные отзывы, и они меня немного успокаивают.

Я решил собрать общественное мнение и уже потом дать право издательствам публиковать ее. Пока она послана только на просмотр. Меня очень интересует мнение «Комсомольской правды», как молодежной газеты. Это моя профессиональная газета, как у железнодорожника или шахтера есть своя. Их интересуют другие газеты, но своя прежде всего...

Сцена в котельной возникла в результате разговора с Лахути. Он передал мне обращение Горького к писателям, в котором А[лексей] М[аксимович] просит писателей перестать копаться в себе, оставить психологически утонченные изыскания, а давать в книгах сильные характеры, большие страсти, давать людей огромного порыва, кипучего действия, которые будут волновать читателей.

Мне известны три исключительные случая безумной храбрости наших бойцов во время гражданской войны. Я обобщил их и дал эпизод в котельной, я, как художник, имел право сделать это.

Во время одного отступления Первой Конной армии отстал от отряда один боец, буденовец. Поляки заняли территорию. Штаб их расположился в поле, началось экстренное совещание. И вот в разгар споров из ржи вылетает конный буденовец, стреляет из нагана, убивает двух генералов, полковника, рубит человек пять штабных офицеров. Эта неожиданность парализовала всех, а пока пришли в себя — буденовец угробил девять человек и скрылся опять во ржи. Исчез бесследно, его так и не нашли. Потом он появлялся еще несколько раз, всегда неожиданно налетал, стрелял, рубил и вихрем уносился. И заметьте — он был в своей форме, в буденовке с алой звездой. Он не разоружился в тылу у врага, не скрывался. Это — человек необычайной от-

ваги, какой-то легендарный герой. Но имя его осталось неизвестным, этот эпизод взят из книги Рыдз-Смиглы, это факт, а не фантазия. Опиши писатель такого бойца, не поверят читатели — надуманно скажут, таких не бывает в жизни. Но мы знаем, что борьба создает такие положения, которые совершенно невозможны в мирной, тихой обстановке.

Второй случай рассказан Пилсудским в его книге «Двадцатый год». Во время отступления поляков состояние их армии было крайне угнетенное, их терроризовала красная конница. А наша разведка из семнадцати человек с четырьмя пулеметами в пылу борьбы вырвалась вперед на шестьдесят — семьдесят километров и оказалась отрезанной. Эти смельчаки ночью налетели на штаб польской дивизии с дикими криками, с гиканьем, стрельбой. Они в красных штанах, в буденовках с алыми звездами (даже летом бойцы Первой Конной не снимали суконных красных брюк и ватных шлемов — в этом было особое щегольство). Они сразу создали невероятную панику. Поляков охватил дикий страх. Судя по шуму, можно было подумать, что напала большая часть. Тем более что Первая [Конная] армия обрушивалась на врага всей массой. И началось дикое непонятное отступление. Семнадцать человек гнали целую дивизию — четыре тысячи пятьсот человек — и за ночь прогнали ее на шестьдесят километров. Дивизия сдала Ковель, а через четыре дня подоспели наши войска и закрепили победу. Надо воспитать в молодежи сознание, что даже один боец, в самом безвыходном как будто положении, найдя в сердце своем мужество, может принести огромный вред врагам. Надо воспитать отвагу и решимость биться до последней возможности. Типом Птахи хочу доказать это положение. Девятьсот человек пассивных рабочих выброшены на улицу, это беспомощная, испуганная толпа. А Птаха один, запершись в котельной, поднимает весь город и защищается, как левенок, от легионеров. Порывы такой отваги, отваги вопреки логике, иногда нужны, они доказывают пассивным массам, что нет безвыходных положений, отвага сопротивления крушит все. Если это удалось показать, то я рад...

Мне говорили, что я не прав, позволяя своим молодым героям потерять бдительность, начать танцевать с врагами и сорвать дело спасения старших товарищей. Но ведь это молодежь, доверчивая, неискушенная, ее так легко обмануть. Будь здесь Сигизмунд Раевский, это было бы невозможно. Эта сцена должна учить бдительности, заронить навсегда в сердца молодежи ненависть к врагу. И нас обманывали. Вспомните, что сделал пролетариат, отпустив генералов Краснова и Корнилова. Сколько это стоило крови. Некоторые не верят, что графиня могла пойти танцевать с рабочими. Но эта хитрая пани, она старается все использовать для своего спасения. И в чем дело? Я сам знаю случай, когда заключенная в ЧК польская аристократка кокетничала с молодым красноармейцем, старалась влюбить его в себя, чтобы при его помощи бежать. Мы знаем цену благородству аристократов. Их гордость продажна. Они свою честь и герб впридачу продадут за деньги.

Некоторые товарищи беспокоятся, не снижается ли образ и честь комсомольцев? Но эта сцена — следствие гуманизма, доверчивости ребят. Как можно воевать с женщинами? Птаха горел жаждой мести и убийства, отправляясь в налет на имение Могельницких, а много он там убивал? «Мы с бабами не воюем», и он прячет карабин за спину, чтобы не пугать женщин. А аристократы в таком положении перебили бы всех. Мы видим, что делается сейчас в Испании. За свою доверчивость, гуманность они страшно и жестоко поплатились, и в другой раз они уже не повторят ошибки. Они получили первый урок предательства врага и выросли на голову, как бойцы. Нельзя делать их кристальными, как хочется некоторым, надо показать формирование их и как бойцов и как комсомольцев.

Да, тогда проводимая мной мысль «Враг не знает пощады», — не была бы так ярка и отчетлива. Они расплачиваются за свое человеческое отношение к аристократам, за свою рабочую простоту. На этом примере показываю, что врага надо уничтожать до конца, ни на минуту не верить его честности. Если бы с молодежью был хоть один старый большевик, такой эпизод бы был немислим...

Еще нападают на меня за Людвигу. В последней главе она на высшем этапе своего беззубого гуманизма. Не надо смущаться ее гуманностью. Среди буржуазии есть такие типы. Это одиночки, которые способны видеть правду и понимать всю низость и падение своего класса. Они, может быть, искренно страдают от этого. Людвига не сможет больше жить с мужем, разведется и сбежит от ужасов войны в Англию, где у нее есть деньги. Бороться активно она не может. Она просто не желает видеть кровь, страдания. Такой тип надо ввести в семью Могельницких, чтобы показать эту семью изнутри, а также, чтобы показать, что все лучшее и честное уходит от них. Мы знаем, что из аристократии вышли одиночки, прекрасные революционеры (например Дзержинский). Обобщать это нельзя. Но надо показать, что все хорошее, не втянутое в жуткую грязь, стоит на стороне пролетариата. Надо показать, что буржуазия и аристократия — гибнущие классы, что раскол, процесс гниения в их среде идут нам на помощь.

Кроме того, на примере Людвиги показан вред, приносимый гуманистами ее типа. Без нее юноши защищались бы до конца. А она, хоть и невольно, предала их. Это суровый урок для ребят.

2 октября 1936 г.

[МЫСЛИ БОЛЬШЕВИКА]

I

«Кто смеет считать большевика неработоспособным, пока у него бьется сердце?»

«Если жизнь ударила тебя в грудь, не ползи назад, а сейчас же наступай на нее».

«Меня всегда поражала и глубоко трогала необычайная простота товарища Сталина, проявляющаяся в его образе жизни, его речах и даже в его костюме».

«Если бы мне сказали, что мое произведение плохо написано, и возвращали бы мне не один раз, двадцать раз, то я начал бы писать его снова двадцать первый раз, хорошенько подумав, как это сделать получше».

«Если бы я разжал кулак, в котором я держу себя, произошло бы несчастье».

«Я пробовал делать над собой опыты: обращать внимание на неудобства, лишения, боли, и тогда я начинал сползать с занятых позиций, готов был скулить. Уверяю вас, это не дело. Занятых позиций большевики не сдают».

«В том-то смысл и красота борьбы. Жизнь тебя лупит, а ты сейчас же даешь ей сдачи. Когда хорошо, каждый дурак будет жить, а ты попробуй жить и бороться при скверных условиях. Да не прячь головы под крыло, как страус, а смотри жизни в лицо».

«Уверяю вас, ЗАГС не дает нам, мужчинам, ман-

датов на вечное обожание нашими женами. Советская женщина — большая умница. Ее уважение надо заслужить. Она зорко наблюдает за тем, не расходится ли у нас слово с делом. Беда споткнуться на этом фронте».

«Я хотел бы, чтобы вы присутствовали при моей смерти и увидели бы, как умирают большевики: без стога, глядя смерти в глаза».

«Есть прекраснейшее существо, у которого мы всегда в долгу, это — мать».

«Когда я работал по десять часов в сутки, я еще чувствовал свою болезнь, но когда я стал работать по восемнадцать часов, у меня не стало времени для болезни. Как жаль, что я не догадался об этом раньше».

«Ни одна смерть после кончины Владимира Ильича не причинила мне такой тяжелой боли, как смерть Алексея Максимовича Горького».

«Давно пора большим писателям взяться за создание киносценариев. Это очень большое и очень важное дело».

II

«Конечно, я страдаю оттого, что не могу быть абсолютно полноценным работником. Однако это чувство лишено трагизма, свойственного человеку буржуазного общества. Мои легкие дышат совершенно другим воздухом. Любовь моей социалистической страны так обильна, нежность ее так велика, заботы так трогательны, что они способны исцелить самого тяжелого больного».

«Товарищи, живите, стройте страну, и, когда загремит гром и надвинется туча, я глубоко знаю, я убежден — на защиту страны встанет огромное количество бойцов. Под вашим напором дрогнет и развалится старый мир».

«Болезнь старалась загнать меня в угол, лишиться счастья бороться в рядах бойцов, но ей не удалось убить большевика. Вместо трагического конца я радостно встречаю улыбку жизни».

«Товарищи, вы помните выступление мракобесов всех мастей, белогвардейцев, попов всего мира, утвер-

ждавших, что большевики — разрушители культуры, а они якобы ее защитники.

И что же?

Все честные люди видят, как в нашей стране поднято на небывалую высоту знамя культуры в то время, когда разлагающийся, умирающий капитализм катится к средневековью».

«С глубочайшим волнением прочел я статью Ромена Роллана «На защиту мира». Как он хорошо и правильно говорит: «Я знаю, что Советский Союз является самой мощной гарантией социального прогресса и что человеческое счастье находится под его защитой...»

Вот почему я говорю «Защита Советского Союза или смерть!» Мысленно крепко жму руку этого честного, мужественного друга моей Родины».

«Если бы меня спросили, какое самое большое счастье для человека, я сказал бы: принадлежность к великой социалистической семье, принадлежать к передовым рядам комсомола, верного помощника партии».

«Самое дорогое в жизни — быть бойцом, а не плестись сзади. Поэтому я пламенно призываю молодежь нашей прекрасной страны всегда быть в передовых рядах наших бойцов».

«Я никогда не думал, что жизнь принесет мне столько огромного счастья. Ужасная личная трагедия уничтожена, и вся жизнь полна ликующей радости творчества».

«Как знать, когда я был счастливее — в юности, при цветущем здоровье, или теперь».

«Я скромный деревенский парень. В нашей стране каждый молодой человек, сообразительный, с характером может добиться большего, чем я».

«Товарищи потемкинцы — большевики, вы подняли знамя восстания в черные годы реакции. Вы знали, что идете на верную смерть, и многие из вас поплатились головами. Но дело, которое вы подняли, победило. Наши крейсера сейчас ходят по всем морям с красным флагом. Честь и хвала вам, старые бойцы! Мы следуем по вашему пути и продолжаем начатое вами дело».

«Вы думаете, что я только сейчас улыбаюсь, когда меня награждают? Нет. Я всегда улыбался. Надо уметь

драться и не сдаваться. Большевика не так легко победить».

«Родина — это волнующее слово! Разве можно еще в какой-нибудь другой стране, кроме нашей, слышать его так, как оно звучит у нас».

«Вперед, молодежь чудеснейшей страны! Будьте достойными сынами великой Родины!»

«Я не знаю ночи, закрывшей мои глаза. Яркими цветами солнца сверкает вокруг меня жизнь. Есть беспредельное желание вложить в страницы будущей книги («Рожденные бурей») всю страсть, все пламя сердца, чтобы книга звала юношей к борьбе, беззаветной преданности нашей великой Партии».

«Настоящие друзья должны говорить правду, как бы ни была она остра, и писать надо больше о недостатках, чем о хорошем,— за хорошее народ ругать не будет».

ПРИМЕЧАНИЯ

РОЖДЕННЫЕ БУРЕЙ

(Книга первая)

Над романом «Рожденные бурей» Н. А. Островский работал с 1934 года и до последних дней своей жизни, но успел написать только первую часть. Мысль об этом произведении возникла у писателя задолго до того, как он начал непосредственную работу над книгой (см. переписку Н. Островского 1932—1933 гг.). Завершив работу над романом «Как закалялась сталь», Н. Островский весь последующий 1934 год посвятил изучению литературы, исторических материалов и документов, относящихся к эпохе гражданской войны. Это дало возможность писателю определить основное назначение и тему своего будущего произведения, которое должно было стать, по его мнению, книгой «для молодежи... о мятеже 1918 года».

Общественный интерес к новой работе Н. Островского был чрезвычайно высок. Дважды, в сентябре и октябре 1934 года, приезжала в Сочи для беседы с писателем о втором его романе ответственный редактор журнала «Молодая гвардия» А. А. Караваева. Не меньший интерес проявляло и издательство «Молодая гвардия», о чем свидетельствует письмо Н. Островского к А. А. Жигиревой: «Молодая гвардия» делает все, чтобы я вернулся и приступил к работе. Позавчера ко мне приезжал редактор из «М. Г.», договорились о новой книге под условным названием «Рожденные бурей» (см. письмо от 13 октября 1934 г.). Многие редакции газет просили писателя прислать для публикации отдельные главы и рассказать о содержании будущей книги.

Писатель откликнулся на запросы редакций: отрывки из первых глав романа публиковались в различных газетах, часто с предисловием автора.

Так, в ответ на просьбу винницкой газеты «Большевистская правда» 14 апреля 1935 года Н. Островский писал:

«В этом письме я расскажу вкратце о сюжете романа, и это может служить предисловием к отрывку.

«Рожденные бурей» — антифашистский роман. Время — конец 1918 года. Место действия — один из городов Западной Украины — Восточная Галиция. Немецкие оккупационные войска бегут с Украины, преследуемые красными партизанами. Польская шляхта — помещики, фабриканты, банкиры — захватывает власть, готовится оказать сопротивление подходящим к городу революционным отрядам. Во главе польских фашистов стоят: граф Могельницкий, князь Замойский, сахарозаводчик Баранкевич, помещик Зайончковский, капитан Врона, поручик Заремба и ксендз Иероним.

Коммунисты также готовятся к борьбе. Создается подпольный областной комитет. Подпольная ячейка комсомола — верный помощник партии. В жестокой борьбе с кровавым польским фашизмом отцы и дети идут плечом к плечу. Такова Олеся, дочь подпольщика, машиниста водокачки. Таков Раймонд, сын члена ЦК польской компартии Раевского. Таков Андрий Птаха, молодой кочегар, которого дисциплинирует и закаляет подполье».

В апреле 1935 года было готово пять первых глав романа. Впервые они были опубликованы в газете «Сочинская правда» за период с 24 апреля по 18 июня 1935 года, затем печатались в журнале «Молодая гвардия», 1935, №№ 7, 8, 9, 10.

Чем дальше шла работа над книгой, тем шире раздвигались рамки романа и усложнялся замысел писателя. «...Прошу помнить, — писал Н. Островский в ЦК ЛКСМ Белоруссии, — что первый том является лишь введением в большой трех- четырехтомный роман, посвященный нашей борьбе с белополяками» (см. письмо от 26 августа 1935 г.).

В конце 1935 года Н. Островский переезжает в Москву. Здесь ему были созданы все условия для продолжения творческой работы. Дружеская критика, творческие советы, встречи со многими общественными деятелями и литераторами, новые материалы, представленные в его распоряжение, — все это способствовало дальнейшей успешной работе писателя над романом «Рожденные бурей».

В январе 1936 года Н. Островский написал еще две главы — седьмую и восьмую — и конец шестой (ее началом стал конец пятой главы).

Эти восемь глав, которые составили первую книгу романа,

были напечатаны в журнале «Молодая гвардия» (1936, № 5, 6) с указанием редакции, что текст заново просмотрен и исправлен автором. Однако работа писателя над первой книгой «Рожденные бурей» не прекращалась. Летом 1936 года, находясь в Сочи, Н. Островский пишет «дополнение к главе шестой» (см. журнал «Молодая гвардия», 1936, № 11), из которого при дальнейшей работе автором было сделано пять глав (6, 7, 8, 9, 10). Таким образом, в рукописи новой редакции первой книги романа стало двенадцать глав.

Сознавая всю ответственность обращения к столь сложной политической теме, писатель стремился получить как можно больше критических замечаний о новой книге, с тем чтобы учесть их при подготовке романа к отдельному изданию. 17 августа 1936 года Н. Островский писал оргсекретарю Союза Советских писателей В. П. Ставскому: «Одновременно с письмом посылаю тебе авиапочтой рукопись первого тома романа «Рожденные бурей» с единственной просьбой — как можно скорее прочти с товарищами и скажи мне свое суровое и беспристрастное мнение». Настойчивое желание писателя услышать правдивое и строгое суждение о своем романе выражено в письме к М. А. Шолохову (28 августа 1936 г.), к А. А. Фадееву (11 октября 1936 г.) и во многих других документах.

Писатель не считал возможным выступить с произведением, которое в окончательной редакции оказалось бы слабее романа «Как закалялась сталь». Об этом он писал А. А. Караваевой 1 сентября 1936 года: «Сейчас рукопись «Рожденные бурей» послана целому ряду руководящих товарищей для оценки. Если они скажут, что книга достойна печати, будем издавать. Если нет, то я положу ее в архив. Мне незачем выходить в свет со скучной и неинтересной книгой».

В ответ на просьбу писателя было организовано несколько общественных обсуждений его нового романа.

В начале октября 1936 года писатель встретился с группой членов ЦК ВЛКСМ и работниками газеты «Комсомольская правда», чтобы выслушать их дружескую критику.

15 ноября того же года на московской квартире Н. Островского состоялось специальное заседание Президиума правления Союза Советских писателей, посвященное обсуждению первой книги романа «Рожденные бурей».

«Прошу вас по-большевистски, может быть очень сурово и не ласково, — заявил Н. Островский в своем вступительном сло-

ве,—показать все недостатки и упущения, которые я сделал в своей работе. Есть целый ряд обстоятельств, которые требуют от меня особого упорства в моих призывах критиковать сурово. Товарищи знают мою жизнь и все особенности ее. И я боюсь, что это может послужить препятствием для этой жестокой критики. Этого не должно быть... Откройте же артиллерийский огонь — это даст мне еще больше сил и желаний немедленно же приняться за работу для того, чтобы закончить первую часть своего романа».

Высказав ряд критических замечаний, касавшихся содержания и стиля произведения, присутствующие дали в целом положительную оценку романа.

А. С. Серафимович говорил о достоинствах книги: «Написано так, что запоминается. Я запоминаю обстановку, я запоминаю то, что стоит за словами, за действиями у этих людей. Стало быть, дано умело» (журнал «Молодая гвардия», 1937, № 2, стр. 164). Вместе с тем А. С. Серафимович считал нужным показать в этом произведении активное сопротивление рабочих legionерам при столкновении на территории завода. А. А. Фадеев отмечал, что в романе есть та мера, которая необходима для реалистического произведения, что «даже эпизодические фигуры ощутимы, и язык стал чище, ярче, гуще» (журнал «Молодая гвардия», 1937, № 2, стр. 166—167).

Справедливая оценка романа «Рожденные бурей», данная на этом заседании, укрепила веру писателя в свои силы.

Для внесения в текст необходимых исправлений Н. Островский обещал трудиться в «три смены», чтобы закончить работу в один, а не в три месяца, как предполагал он вначале. В последнем письме к матери (14 декабря 1936 г.) Н. Островский писал: «Милая матушка! Сегодня я закончил все работы над первым томом «Рожденные бурей». Данное мной Центральному Комитету комсомола слово — закончить книгу к 15 декабря — я выполнил». За месяц напряженного труда была вновь отредактирована первая книга романа «Рожденные бурей» и создан текст, ставший «Окончательной редакцией».

Через неделю, 22 декабря 1936 года, Николая Алексеевича Островского не стало.

В «Окончательной редакции» книга по сравнению с журнальной публикацией («Молодая гвардия», 1936) не только изменилась конструктивно (вместо восьми глав стало двенадцать), но появи-

лись и новые сюжетные линии. Автор точнее обрисовал политическую обстановку, углубил характеристики персонажей, тщательнее отработал язык и стиль произведения.

Для Н. Островского было очень важно раскрыть истоки революционного движения, показать его народный характер.

В главах седьмой, восьмой и десятой автор показал деятельность местного подпольного комитета по организации восстания и его руководство крестьянскими партизанскими отрядами.

Существенной доработке подвергся поэтому и один из центральных образов романа — образ польского коммуниста Сигизмунда Раевского, который выступает теперь не как член ЦК, а как член местного подпольного комитета. Если в первом варианте романа на заседании подпольного комитета решались дела, связанные с восстанием, а также организационные вопросы — выборы областного комитета и прием Ядвиги и Раймонда Раевских в партию, то в новой редакции на этом же заседании ставится только основной вопрос дня — революционное восстание народа и снабжение оружием восставших.

Автор всегда придавал большое значение элементам героической романтики в своих произведениях, поэтому не случайно в шестой главе появился новый по сравнению с первой публикацией эпизод: сцена в котельной — смелый поступок Андрия Птахи. Н. Островский считал, что «надо воспитать в молодежи сознание, что даже один боец в самом безвыходном как будто положении, найдя в сердце своем мужество, может принести огромный вред врагам. Надо воспитать отвагу и решимость биться до последней возможности».

В девятой главе писатель изобразил лагерь контрреволюции, показал реакционную сущность новой шляхетской власти во главе с «начальником государства» Пилсудским, стремившейся отторгнуть Украину от Советской России, раскрыл предательскую роль правых пепезовцев, национал-демократов, дал политическую характеристику предателя украинского народа националиста Петлюры.

В новой редакции главы седьмая и восьмая (см. журнал «Молодая гвардия», 1936, № 5, 6) стали одиннадцатой и двенадцатой. Конец двенадцатой главы в текст «Окончательной редакции» не вошел. Этим отрывком Н. Островский предполагал начать вторую книгу романа «Рожденные бурей».

Первое отдельное издание романа «Рожденные бурей» вышло в свет через несколько дней после смерти писателя (изд-во «Моло-

дая гвардия», 1936). В этом издании текст романа подвергся редакторскому исправлению, не согласованному с автором (см. материалы, хранящиеся в Государственном музее Н. А. Островского в Москве).

В настоящем издании роман «Рожденные бурей» печатается по тексту «Окончательной редакции» с исправлением опечаток и описок автора.

СТАТЬИ И РЕЧИ

В данном томе в раздел публицистики, наряду с широко известными материалами, включены статьи и речи, до сих пор не публиковавшиеся, а также печатавшиеся только в периодической прессе; в томе помещены письма Н. Островского к общественным организациям, в которых писатель высказался по принципиальным вопросам литературной и общественной жизни.

СТАТЬИ

От автора

Статья была послана в редакцию журнала «Молодая гвардия» вместе с рукописью романа «Как закалялась сталь» в январе 1932 года.

Впервые напечатана в журнале «Молодая гвардия», 1932, № 4 как предисловие к роману «Как закалялась сталь» под заголовком «От автора». В посмертных изданиях помещалась в разделе публицистики под заголовком «Автобиография».

Печатается по тексту журнала «Молодая гвардия».

Моя работа над повестью «Как закалялась сталь»

Время написания статьи относится к первой половине 1933 года. При жизни автора не публиковалась.

Впервые напечатана в газете «Комсомольская правда» 22 декабря 1938 года, № 292 (4175).

Печатается по тексту рукописи, хранящейся в Государственном музее Н. А. Островского в Москве.

Стр. 217. ...Истомол — комиссия по изучению истории пролетарского молодежного движения, создана в 1921 году при ЦК ВЛКСМ.

За чистоту языка

Статья написана в апреле 1934 года по просьбе ответственного редактора журнала «Молодая гвардия» А. А. Караваевой как отклик на статьи А. М. Горького по вопросам языка художественной литературы.

Впервые напечатана в журнале «Молодая гвардия», 1934, № 6, под общей рубрикой «Дискуссия о языке». В посмертных изданиях публиковалась в сокращенном варианте.

Печатается по тексту журнала «Молодая гвардия» с сохранением рукописного названия.

Стр. 225. ...*Серафимович*.— Здесь имя писателя Серафимовича автором упомянуто ошибочно (см. письмо Н. Островского к А. С. Серафимовичу от 11 августа 1934 г.).

Комитету и комсомольцам аммиачного завода в г. Березниках

Ответ на просьбу комсомольцев аммиачного завода рассказать о планах творческой работы. Написан 13 марта 1935 года в Сочи. При жизни автора не публиковался.

Впервые напечатан в книге: Н. Островский. «Речи, статьи, письма»; изд-во «Молодая гвардия», 1937. В 1954 году комитет ВЛКСМ завода прислал это письмо на сохранение в Государственный музей Н. А. Островского в Москве.

Печатается по тексту рукописи.

Стр. 227. ...*посылаю вам статью*.— Речь идет о статье А. Александровича «Как закалялась сталь», опубликованной в журнале «Коммунистическая молодежь», 1934, № 22.

[О романе «Рожденные бурей»]

Ответ на запрос газеты «Комсомольская правда». Написан в 1935 году. Впервые в сокращенном варианте напечатан в газете «Комсомольская правда», 28 апреля 1935 г., № 98 (3093), под заголовком: «Николай Островский (автор «Как закалялась сталь»)».

Полностью впервые напечатан в книге: Н. Островский. «Речи, статьи, письма»; изд-во «Молодая гвардия», 1937.

Печатается по тексту рукописи, хранящейся в Государственном музее Н. А. Островского в Москве. Заголовок редакционный, принятый в издании «Молодая гвардия», 1937.

В редакцию «Литературной газеты»

Письмо, посланное в редакцию «Литературной газеты» 11 мая 1935 года в ответ на выступление критика Б. Дайреджиева с рецензией на роман «Как закалялась сталь», напечатанной в этой газете 5 апреля 1935 года. При жизни автора не публиковалось.

Впервые напечатано в книге: Н. Островский. «Речи, статьи, письма»; изд-во «Молодая гвардия», 1937, с редакционным заголовком «О товарищеской критике».

Печатается по тексту рукописи, хранящейся в ЦГАЛИ (фонд № 5200/7. Н. А. Островский, 2 л.), с сохранением авторского названия.

Редакции «Комсомольской правды»

Приветствие газете «Комсомольская правда» в день ее десятилетия — 20 мая 1935 года. При жизни автора не публиковалось.

Впервые напечатано в книге: Н. Островский. «Речи, статьи, письма»; изд-во «Молодая гвардия», 1937.

Печатается по тексту рукописи, хранящейся в Государственном музее Н. А. Островского в Москве.

Молодым читателям комсомольской страницы

Обращение к молодым читателям газеты «Сочинская правда», в связи с организацией литературной страницы в этой газете. Написано в 1935 году. При жизни автора не публиковалось.

Впервые напечатано в книге: Н. Островский. «Речи, статьи, письма»; изд-во «Молодая гвардия», 1937, под редакционным заголовком «Нужно заинтересовать молодежь».

Печатается по тексту рукописи, хранящейся в Государственном музее Н. А. Островского в Москве.

Мой день 27 сентября 1935 года

Статья написана в сентябре 1935 года для сборника «День мира», который готовил и редактировал А. М. Горький. Сборник «День мира», куда была включена статья, вышел в газетно-жур-

нальном объединении (Москва, 1937) в посмертной редакции Горького. При жизни автора не публиковалась.

Впервые напечатана в газете «Комсомольская правда», 27 декабря 1936 г., № 298 (3584).

Печатается по тексту рукописи, хранящейся в Государственном музее Н. А. Островского в Москве.

Стр. 239. *Сценарий принят*.— Киносценарий по роману «Как закалялась сталь», написанный совместно с М. Зацем, не был поставлен.

Счастье жить

Статья написана по случаю награждения Н. А. Островского орденом Ленина.

Впервые напечатана в газете «Комсомольская правда», 2 октября 1935 г., № 227 (3222). Последующей публикации не было.

Печатается по тексту газеты «Комсомольская правда».

Счастье писателя

Статья написана 5 ноября 1935 года в связи с восемнадцатой годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции.

Впервые напечатана в газете «Комуніст», Киев, 7 ноября 1935 г., № 252. Последующей публикации не было.

Печатается по тексту газеты «Комуніст». Перевод с украинского К. Д. Трофимова.

Творческому коллективу Одесской комсомольской кинофабрики

Ответ на поздравительную телеграмму коллектива кинофабрики по случаю награждения писателя орденом Ленина. Написан 1 декабря 1935 года. При жизни автора не публиковался.

Впервые напечатан в книге: Н. Островский. «Речи, статьи, письма»; изд-во «Молодая гвардия», 1937.

Печатается по тексту рукописи, хранящейся в Государственном музее Н. А. Островского в Москве.

Самый счастливый год

Статья написана 31 декабря 1935 года как новогоднее выступление.

Впервые напечатана в газете «Известия», 1 января 1936 г., № 1 (5858).

Печатается по тексту газеты «Известия».

Мы накануне X съезда ВЛКСМ

Статья написана 7 января 1936 года. На рукописи есть пометка «Для журнала МГУ».

Впервые напечатана в журнале «Молодая гвардия», 1936, № 2, под редакционным заголовком «Рапорт съезду молодых победителей».

Печатается по тексту журнала «Молодая гвардия» с сохранением рукописного названия.

Шепетовской окружной конференции Ленинского Коммунистического союза молодежи Украины

Приветствие, посланное 1 февраля 1936 года Шепетовской окружной конференции ЛКСМУ, делегатом которой был писатель. При жизни автора не публиковалось.

Впервые напечатано в книге: Н. Островский. «Речи, статьи, письма»; изд-во «Молодая гвардия», 1937. В некоторых изданиях публиковалось под редакционным заголовком «Комсомольцам родного города».

Печатается по тексту рукописи, хранящейся в Государственном музее Н. А. Островского в Москве.

Тезисы к выступлению на X съезде ВЛКСМ

Тезисы написаны 17 апреля 1936 года. Ввиду болезни писателя выступление не состоялось. При жизни автора не публиковались.

Впервые напечатаны в книге: Н. А. Островский. Собр. соч. в двух томах; изд-во «Советский писатель», 1938, под редакцион-

ным заголовком «X съезд ВЛКСМ». В некоторых изданиях публиковались под заголовком «Оберегать высокое звание писателя».

Печатается по тексту рукописи, хранящейся в Государственном музее Н. А. Островского в Москве.

О своем новом романе

Ответ на запрос редакции журнала «Книга и пролетарская революция». Написан в 1936 году.

Впервые напечатан в журнале «Книга и пролетарская революция», 1936, № 4. Последующей публикации не было.

Печатается по тексту журнала «Книга и пролетарская революция».

РЕЧИ

[Мой творческий отчет]

16 мая 1935 года бюро Сочинского городского комитета ВКП(б) на квартире Н. Островского заслушало отчет о его творческой деятельности.

Впервые речь напечатана в газете «Сочинская правда», 26 мая 1935 г., № 118, под общим заголовком «На квартире писателя-большевика Н. Островского».

Печатается по тексту газеты «Сочинская правда». Заголовок редакционный, принятый в издании: Н. Островский. «Речи, статьи, письма»; изд-во «Молодая гвардия», 1937.

Да здравствует партия, воспитавшая нас!

Речь, произнесенная по радио 12 октября 1935 года во время радиопереклички городов Сочи — Киев — Шепетовка, организованной редакцией «Последних известий» Украинского радиокomiteта в связи с награждением Н. Островского орденом Ленина; записана на пленку редакцией «Последних известий» Украинского радиокomiteта.

Впервые напечатана в газете «Комсомолец Украины», Киев, 14 октября 1935 г., № 237 (3017). Сокращенный вариант был опубликован в газете «Комуніст» 14 октября 1935 г.

На русском языке речь впервые напечатана в книге: Н. Островский, Сочинения, том 2, изд-во «Молодая гвардия», 1952, под редакционным заголовком «Наша задача — укреплять родину». Оригинал речи на русском языке в литературных фондах не обнаружен.

Печатается по тексту газеты «Комсомолец Украины». Перевод с украинского Е. А. Островской и А. П. Лазаревой.

Каким должен быть писатель нашей страны

Речь, произнесенная 23 октября 1935 года на собрании партийного актива города Сочи, посвященном награждению Н. Островского орденом Ленина; транслировалась по радио.

Впервые напечатана в журнале «Молодая гвардия», 1936, № 1, с редакционным подзаголовком «Из речи на собрании партактива Сочи».

Печатается по тексту журнала «Молодая гвардия».

Да здравствует жизнь!

Речь, произнесенная 24 ноября 1935 года на торжественном заседании городских организаций города Сочи при вручении Н. Островскому ордена Ленина председателем Президиума ВУЦИК Г. И. Петровским.

Впервые напечатана в газете «Сочинская правда», 25 ноября 1935 г., № 270.

Печатается по тексту газеты «Сочинская правда».

Выступление на краевой конференции писателей Азово-Черноморья

Выступление Н. Островского на краевой конференции писателей Азово-Черноморья, делегатом которой он был. Выступление транслировалось по радио из квартиры писателя в Сочи 6 декабря 1935 года.

Впервые напечатано в газете «Сочинская правда», 9 декабря 1935 г., № 281. В журнале «Молодняк», 1936, № 2 (на украинском языке) публиковалось под заголовком «За литературу социалистической правды». В книге Н. Островский, «Речи, статьи, письма»;

изд-во «Молодая гвардия», 1937, помещено под редакционным заголовком «Нужна упорная воля, огромная учеба» и ошибочно датировано: 6.VII. 1935 года.

Печатается по тексту газеты «Сочинская правда».

Мужество рождается в борьбе

Выступление на IX съезде ЛКСМУ, делегатом которого от Шепетовской комсомольской организации был Н. Островский. Речь транслировалась по радио из московской квартиры писателя 6 апреля 1936 года.

Впервые в сокращенном варианте напечатано в газете «Комсомольская правда», 8 апреля 1936 г., № 81 (3367):

Печатается по тексту стенограммы выступления, хранящейся в Государственном музее Н. А. Островского в Москве. Заголовок дан по газете «Комсомольская правда».

[Замечания о пьесе по роману «Как закалялась сталь»]

Замечания, высказанные при обсуждении пьесы, написанной Рафаловичем по роману «Как закалялась сталь», которое состоялось в сентябре 1936 года на квартире писателя в Сочи.

Печатаются впервые по тексту рукописи, хранящейся в Государственном музее Н. А. Островского в Москве.

[Речь на заседании Президиума правления Союза Советских писателей]

Речь, произнесенная 15 ноября 1936 года в московской квартире писателя на специальном заседании Президиума правления Союза Советских писателей, посвященном обсуждению первой книги романа «Рожденные бурей». При жизни автора не публиковалась.

Впервые напечатана в журнале «Молодая гвардия», 1937, № 2 под редакционным заголовком «Откройте артиллерийский огонь!»

Печатается по тексту стенограммы заседания Президиума правления ССП.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рожденные бурей. Книга вторая. Глава первая.

Эта глава в первом варианте романа «Рожденные бурей» была концом первой книги. В текст «Окончательной редакции» первой книги романа не вошла. По замыслу писателя вторая книга должна была начинаться с этой главы (см. архив писателя, хранящийся в Государственном музее Н. А. Островского в Москве).

В 1946 году газета «Комсомольская правда» (22 декабря 1946 г., № 299 (6625)) впервые напечатала главу как «Начало второй книги романа «Рожденные бурей».

Печатается по тексту рукописи, хранящейся в Государственном музее Н. А. Островского в Москве.

Беседа с корреспондентом «Правды»

Беседа состоялась в сентябре 1936 года в Сочи (см. информацию об этой беседе в газете «Правда», 25 сентября 1936 г., № 265 (687)). Под заголовком «Нет ничего радостнее труда» напечатана в книге: Н. Островский. «Речи, статьи, письма»; изд-во «Молодая гвардия», 1940.

Печатается по тексту рукописи, хранящейся в Государственном музее Н. А. Островского в Сочи.

[Никогда не успокоюсь на достигнутом]

2 октября 1936 года группа членов ЦК ВЛКСМ и работников газеты «Комсомольская правда» посетила писателя на его квартире в Сочи (см. письмо Н. Островского к К. Д. Трофимову от 7 октября 1936 г.). Выступление Н. Островского во время состоявшейся беседы записала А. П. Лазарева. При жизни автора не публиковалось.

Впервые выступление напечатано в книге: Н. Островский. «Речи, статьи, письма»; изд-во «Молодая гвардия», 1940, под заголовком «Никогда не успокоюсь на достигнутом». В издании 1953 года (Н. Островский, Сочинения, том 2, стр. 237) опубликовано с подзаголовком: «Выступление при обсуждении рукописи романа «Рожденные бурей» с группой работников «Комсомольской правды».

Печатается по тексту рукописи, хранящейся в Государственном музее Н. А. Островского в Москве, с сохранением заголовка первой публикации.

[Мысли большевика]

Высказывания, записанные М. К. Павловским, личным врачом писателя с 1934 по 1936 год. При жизни автора не публиковались.

Первая часть — под заголовком «Мысли большевика» — впервые напечатана в «Курортной газете», Сочи, 22 декабря, 1937 г. Печатается по тексту газеты.

Вторая часть печатается впервые по тексту памятной книжки доктора М. К. Павловского, хранящейся в Государственном музее Н. А. Островского в Москве.

СОДЕРЖАНИЕ

РОЖДЕННЫЕ БУРЕЙ

Роман

Книга первая	7
------------------------	---

СТАТЬИ И РЕЧИ

Статьи

От автора	213
Моя работа над повестью «Как закалялась сталь»	216
За чистоту языка	220
Комитету и комсомольцам аммиачного завода в г. Березниках	227
[О романе «Рожденные бурей»]	230
В редакцию «Литературной газеты»	233
Редакции «Комсомольской правды»	236
Молодым читателям комсомольской страницы	238
Мой день 27 сентября 1935 года	239
Счастье жить	243
Счастье писателя	244
Творческому коллективу Одесской комсомольской кинофабрики	246
Самый счастливый год	248
Мы накануне X съезда ВЛКСМ	250
Шепетовской окружной конференции Ленинского Коммунистического союза молодежи Украины	253
Тезисы к выступлению на X съезде ВЛКСМ	255
О своем новом романе	258

Речи

[Мой творческий отчет]	260
Да здравствует партия, воспитавшая нас! . . .	266
Каким должен быть писатель нашей страны . . .	271
Да здравствует жизнь!	275
Выступление на краевой конференции писателей Азово-Черноморья	277
Мужество рождается в борьбе	280
[Замечания о пьесе по роману «Как закалялась сталь»]	287
[Речь на заседании Президиума правления Союза советских писателей]	296

П Р И Л О Ж Е Н И Е

«Рожденные бурей». Роман. Книга вторая, глава первая	305
Беседа с корреспондентом «Правды»	310
[Никогда не успокоюсь на достигнутом]	312
[Мысли большевика]	317
П р и м е ч а н и я ,	323

Редактор *Л. Красноглядова*
Художник *Н. Шишовский*
Худож. редактор *Г. Кудряцев*
Технич. редактор *М. Позднякова*
Корректор *В. Седова*

*

Сдано в набор 26/III 1955 г.
Подписано к печати 30/VII 1955 г. А 02956.
Бумага 84 X 108¹/₃₂—21,25 печ. л.= 17,43 усл. печ. л.
15,03 уч.-изд. л. Тираж 150 000 экз. Заказ № 236.
Цена 8 руб.

Гослитиздат
Москва, Б-66. Ново-Басманная, 19.

*

3-я типография «Красный пролетарий»
Главполиграфпрома Министерства культуры СССР.
Москва, Краснопролетарская, 16.